А. И.
КУПРИН

2

А. Куприн

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

ТОМ ВТОРОЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1896—1901

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Подготовка текста — П. Вячеславова

Примечания — И. Питляр

Оформление художника
Н. Шишловского

МОЛОХ

I

Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы.

Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный.

Причиной этому, без сомнения, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия, — привычка, с которой Бобров на днях начал упорную борьбу.

Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбегали капли. Лужи на дворе морщило и рябило от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми ство-

лами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера вздувались и бежали, будто торопясь, мелкие, короткие волны, а листья ветел вдруг подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно приникала под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатах — все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане.

Было семь часов, когда, надев на себя клеенчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи, во рту — неприятный вкус. Но всего больнее действовал на него тот внутренний, душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверно, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе на заводе.

По складу его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и, если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на третьем курсе.

Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения.

Наружность у Боброва была скромная, неяркая... Он был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо

серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным.

Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб, — город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха, — восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и так далее.

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных

пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщичьих зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей — инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов — собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса.

Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко — раза три или четыре в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам, во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд в то время, когда

их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за три тысячи своего годового жалованья...

II

Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами.

Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев — Свежевского.

Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, — не то крадущейся, не то кланяющейся, — с его вечным хихиканьем и потираньем холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны; в разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника.

— Что это вас, батенька, так давно не видно? — спросил Свежевский; он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. — Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все?

— Здравствуйте, — отозвался нехотя Бобров, отымая руку. — Просто мне нездоровилось это время.

— У Зиненко за вами все соскучились, — продолжал многозначительно Свежевский. — Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас

справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой.

— Весьма польщен, — насмешливо поклонился Бобров.

— Нет, серьезно... Говорил, что правление вас очень ценит, как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам вырабатывать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только...

«Сейчас что-нибудь неприятное скажет», — подумал Бобров.

— Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. Ах, да! — вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. — Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать... Директор просил всех быть непременно завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале.

— Опять будем встречать кого-нибудь?

— Совершенно верно. Угадайте, кого?

Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-видимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость.

— Право, не знаю, кого... Да я и не мастер вовсе угадывать, — сказал Бобров.

— Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть так, наугад, кого-нибудь назовите...

Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего.

— Ни за что не скажете... Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина.

Фамилию он произнес с таким откровенным подобострастием, что Боброву даже сделалось противно.

— Что же вы тут находите особенно важного? — спросил небрежно Андрей Ильич.

— Как «что же особенного»? Помилуйте. Ведь он в правлении, что захочет, то и делает: его, как оракула, слушают. Вот и теперь: правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал — это, кажется, до вас еще было?.. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. У вас задувка[1] скоро окончится?

— Да, уже почти готова.

— Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь?

— Ни разу. Фамилию, конечно, слышал...

— А я так имел удовольствие. Это ж, я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой!.. Во всех акционерных обществах состоит членом правления... получает двести тысяч всего только за семь заседаний в год! Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию, — лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное: он никогда и с делом-то вовсе незнаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверно, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке..

— На-ра-ра-рам! — фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь.

---

[1] Задувкой доменной печи называется разогревание ее перед началом работы до температуры плавления руды, приблизительно до 1600°С. Самое действие печи называется «кампанией». Задувка продолжается иногда несколько месяцев. *(Прим. автора.)*

— Да вот... на что лучше... Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водою сияет, — и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает... Обжора он ужасный... и действительно умеет поесть; во всех лучших ресторанах известны битки à la Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. Три года тому назад с ним прекомичный случай вышел...

И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал:

— Позвольте... это так смешно... позвольте, я сейчас... в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад, в Петербург один бедный молодой человек — чиновник, что ли, какой-то... я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве и каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в Летний сад, посидеть четверть часа на скамеечке... Ну-с, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины... Они знакомятся. Рыжий, который оказывается Квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет... Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором — сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться?» А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. «Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед». Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо... Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и чуть свет везет куда-то за город, в церковь. Народу никого; невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом: «Вы, кажется, против

своей охоты сюда приехали?» А она говорит: «Да и вы, кажется, тоже?» Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменьке все-таки мешала совесть... Ну-с, хорошо... Стоят они, стоят... молодой человек-то и говорит: «А давайте-ка удерем такую штуку: оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах». Девица решительная и с быстрым соображением. «Хорошо, говорит, давайте». Окончилось венчанье, выходят все из церкви, Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил, да и немалые деньги, потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят, посаженым папенькой называют, и вдруг оба — прыг в коляску. «Что такое? Куда?» — «Как куда? На вокзал, свадебную поездку совершать. Кучер, пошел!..» Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом... А то вот однажды... Что это? Вы уже уходите, Андрей Ильич? — прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто.

— Извините, мне некогда,— сухо ответил Бобров.— А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал... Мое почтение.

И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.

III

Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. Кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать Фарватера, гнедую донскую лошадь, с усилием затягивал подпругу английского седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда Митрофан кричал на него серди-

тым и ненатуральным басом: «Но-о! Балуй, идол!» — и прибавлял, кряхтя от напряжения: «Ишь ты, животная».

Фарватер — жеребец среднего роста, с массивною грудью, длинным туловищем и поджарым, немного вислым задом — легко и стройно держался на крепких мохнатых ногах, с надежными копытами и тонкой бабкой. Знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей с острым, выдающимся кадыком. Но Бобров находил, что эти особенности, характерные для всякой донской лошади, составляют красоту Фарватера так же, как кривые ноги у таксы и длинные уши у сеттера. Зато во всем заводе не было лошади, которая могла бы обскакать Фарватера.

Хотя Митрофан и считал необходимым, как и всякий хороший русский кучер, обращаться с лошадью сурово, отнюдь не позволяя ни себе, ни ей никаких проявлений нежности, и поэтому называл ее и «каторжной», и «падалью», и «убивцею», и даже «хамлетом», тем не менее он в глубине души страстно любил Фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской жеребчик был и вычищен лучше и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва: Ласточка и Черноморец.

— Поил ты его, Митрофан? — спросил Бобров.

Митрофан ответил не сразу. У него была и еще одна повадка хорошего кучера — медлительность и степенность в разговоре.

— Попоил, Андрей Ильич, как же не попоимши-то. Но, ты, озирайся, леший! Я тебе поверчу морду-то! — крикнул он сердито на лошадь. — Страсть, барин, как ему охота нынче под седлом идти. Не терпится.

Едва только Бобров подошел к Фарватеру и, взяв в левую руку поводья, обмотал вокруг пальцев гривку, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватер, уже давно косившийся большим сердитым глазом на подходившего Боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобров прыгал около него на одной ноге, стараясь вдеть ногу в стремя.

Пусти, пусти поводья, Митрофан! — крикнул он, поймав, наконец, стремя, и в тот же момент, перебросив ногу через круп, очутился в седле.

Почувствовав шенкеля всадника, Фарватер тотчас же смирился и, переменив несколько раз ногу, фыркая и мотая головой, взял от ворот широким, упругим галопом...

Быстрая езда, холодный ветер, свистевший в уши, свежий запах осеннего, слегка мокрого поля очень скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кроме того, каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа.

Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятерых дочерей. Отец служил на заводе и заведовал складом. Этот ленивый и добродушный с виду гигант был в сущности очень пронырливым и каверзным господином. Он принадлежал к числу тех людей, которые под видом высказывания всякому в глаза «истинной правды» грубо, но приятно льстят начальству, откровенно ябедничают на сослуживцев, а с подчиненными обращаются самым безобразно-деспотическим образом. Он спорил из-за всякого пустяка, не слушая возражений и хрипло крича; любил поесть и питал слабость к хоровому малорусскому пению, причем неизменно фальшивил. Он, незаметно для самого себя, находился под башмаком у своей жены — женщины маленького роста, болезненной и жеманной, с крошечными серыми глазками, до смешного близко поставленными к переносью.

Дочерей звали: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася.

Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера. «Уж эта Мака — сама простота», — говорили про нее родители, когда она во время прогулок и вечеров стушевывалась на задний план в интересах младших сестер (Маке уже перевалило за тридцать).

Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову склоненной набок и вниз, как старая пристяжная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям

она приставала со спорами о том, что женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила: «Вы такой проницательный... ну вот, определите мой характер». Когда разговор переходил на одну из классических домашних тем: «Кто выше: Лермонтов или Пушкин?» или: «Способствует ли природа смягчению нравов?» — Бету выдвигали вперед, как боевого слона.

Третья дочь, Шурочка, избрала специальностью игру в дурачки со всеми холостыми инженерами по очереди. Как только узнавала она, что ее старый партнер собирается жениться, она, подавляя огорчение и досаду, избирала себе нового. Конечно, игра велась с милыми шутками и маленьким пленительным плутовством, причем партнера называли «противным» и били по рукам картами.

Нина считалась в семье общей любимицей, избалованным, но прелестным ребенком. Она была выродком среди своих сестер с их массивными фигурами и грубоватыми, вульгарными лицами. Может быть, одна только madame Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить, откуда у Ниночки взялась эта нежная, хрупкая фигурка, эти почти аристократические руки, хорошенькое смугловатое личико, все в родинках, маленькие розовые уши и пышные, тонкие, слегка вьющиеся волосы. На нее родители возлагали большие надежды, и ей поэтому разрешалось все: и объедаться конфетами, и мило картавить, и даже одеваться лучше сестер.

Самой младшей, Касе, исполнилось недавно четырнадцать лет, но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя старших сестер могучей рельефностью форм. Ее фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной, по отдаленности от города, женского общества, и Кася принимала эти взоры с наивным бесстыдством рано созревшей девочки.

Это разделение семейных прелестей было хорошо известно на заводе, и один шутник сказал как-то, что если уж жениться на Зиненках, то непременно на всех пятерых сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядели на дом Зиненко, как на гостиницу, толклись там

с утра до ночи, много ели, еще больше пили, но с удивительной ловкостью избегали брачных сетей.

В этой семье Боброва недолюбливали. Мещанские вкусы madame Зиненко, стремившейся все подвести под линию пошлого и благополучно скучного провинциального приличия, оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в духе, встречались с широко раскрытыми глазами, и, наоборот, когда он молчал целыми вечерами, вследствие усталости и раздражения, его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, даже — о! это было всего ужаснее! — даже подозревали, что он «пишет в журналы повести и собирает для них типы».

Бобров чувствовал эту глухую вражду, выражавшуюся в небрежности за столом, в удивленном пожимании плечей матери семейства, но все-таки продолжал бывать у Зиненок. Любил ли он Нину? На это он сам не мог бы ответить. Когда он трое или четверо суток не бывал в их доме, воспоминание о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Он представлял себе ее стройную, грациозную фигурку, улыбку ее томных, окруженных тенью глаз и запах ее тела, напоминавший ему почему-то запах молодых клейких почек тополя.

Но стоило ему побывать у Зиненок три вечера подряд, как его начинало томить их общество, их фразы, — всегда одни и те же в одинаковых случаях, — шаблонные и неестественные выражения их лиц. Между пятью «барышнями» и «ухаживавшими» за ними «кавалерами» (слова зиненковского обихода) раз навсегда установились пошло-игривые отношения. И те и другие делали вид, будто они составляют два враждующих лагеря. То и дело один из кавалеров, шутя, похищал у барышни какую-нибудь вещь и уверял, что не отдаст ее; барышни дулись, шептались между собой, называли шутника «противным» и все время хохотали деревянным, громким, неприятным хохотом. И это повторялось ежедневно, сегодня совершенно в тех же словах и с теми же жестами, как вчера. Бобров возвращался от Зиненок с головной болью и с нервами, утомленными их провинциальным ломаньем.

Таким образом, в душе Боброва чередовалась тоска по Нине, по нервному пожатию ее всегда горячих рук, с отвращением к скуке и манерности ее семьи. Бывали минуты, когда он уже совершенно готовился сделать ей предложение. Тогда его не остановило бы даже сознание, что она, с ее кокетством дурного тона и душевной пустотой, устроит из семейной жизни ад, что он и она думают и говорят на разных языках. Но он не решался и молчал.

Теперь, подъезжая к Шепетовке, он уже заранее знал, что́ и как там будут говорить в том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании «приятных кавалеров», подымется длинный спор о том, кто это едет. Когда же он приблизится, то угадавшая начнет подпрыгивать, бить в ладоши, прищелкивать языком и задорно выкрикивать: «А что? А что? Я угадала, я угадала!» Вслед за тем она побежит к Анне Афанасьевне: «Мама, Бобров едет, я первая угадала!» А мама, лениво перетирая чайные чашки, обратится к Нине — непременно к Нине — таким тоном, как будто бы она передает что-то смешное и неожиданное: «Ниночка, знаешь, Бобров едет». И уже после этого все они вместе чрезвычайно и очень громко изумятся, увидя входящего Андрея Ильича.

IV

Фарватер шел, звучно фыркая и попрашивая поводьев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени сиреней и акаций едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов.

На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув Фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремена.

— Вы опять на своем сокровище приехали? Ну вот, просто видеть не могу этого урода! — крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадью, к которой он был так привязан. Вообще в доме Зиненок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили.

Бросив поводья подбежавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую, потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва.

— А-а-а! Андрей Ильич! Наконец-то вы к нам пожаловали!.. — воскликнула она нараспев.

И ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила:

— Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите.

— Merci, Анна Афанасьевна.

— Merci — oui, ou merci — non? [1]

Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего.

— Ну, так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли, — милостиво разрешила madame Зиненко.

Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули:

— А-а-а! Андрей Ильич! Вот уж кого давно-то не было видно! Чего вам принести? Чаю? Яблоков? Молока? Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие.

Играли в «барыня прислала сто рублей», в «мнения» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «играть в пошуду». Из гостей были: три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив

---

[1] Спасибо — да, или спасибо — нет? *(франц.)*

вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука; был техник Миллер, отличавшийся красотою, глупостью и чудесным баритоном, и, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничьего внимания.

Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом; девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали.

Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна.

— Дети, идите в комнаты! — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. — Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь.

Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах.

— Нам было очень весело, — щебетали они вокруг матери, — мы так смеялись, так смеялись...

На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка.

— Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич, — нетерпеливо приказала Нина.

— Право, я не знаю, что бы вам рассказать, — возразил Бобров. — Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю: нет ли такого разговорного сборника, на разные темы...

— Фу-у! Какой вы ску-учный, — протянула Нина. — Скажите, когда вы бываете в духе?

— А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе... А разве дурно разговаривать молча?

— «Мы будем с тобой молчали-ивы...» — пропела насмешливо Нина.

— Конечно, будем молчаливы. Посмотрите: небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо... Чего же еще?..

— «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», — продекламировала Нина. — Argoros[1], вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова? Выходит-таки! Удивительный человек этот Протопопов. — Она пожала плечами. — Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться, сделал в четвертый раз предложение. И пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить — никогда!

Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий, мещанский словарь Зиненок, с выражениями вроде: «Она его любит, но не уважает», «Она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной, точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности у них существовало только два выражения: «брюнет» и «блондин».

И Бобров, из смутного желания разбередить свою злобу, спросил:

— Что же такое представляет собою этот Протопопов?

— Протопопов? — задумалась на секунду Нина. — Он... как бы вам сказать... довольно высокого роста... шатен!..

— И больше ничего?

— Чего же еще? Ах, да: служит в акцизе...

— И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе! Подумайте: сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только «шатены» и «акцизные чиновники»? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десяток шаблонных, комнатных фраз. Я знаю, если кто-нибудь упомянет в раз-

---

[1] Кстати *(франц.)*.

говоре про луну, вы сейчас же вставите: «Как эта глупая луна», и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случай, я наперед знаю, что вы заметите: «Свежо предание, а верится с трудом». И так во всем, во всем... Поверьте мне, ради бога, что все самобытное, своеобразное...

— Я вас прошу не читать мне нравоучений! — отозвалась резко Нина.

Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. «Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости? — думал он. — Ведь она, как птичка: щебечет первое, что ей приходит в голову, и, почем знать, может быть, это щебетанье даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации, и о Ницше, и о декадентах?»

— Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей, — сказал он вполголоса.

Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал:

— Нина Григорьевна... Пожалуйста...

Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым, нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрека:

— Злючка! Всегда вы меня обижаете... пользуетесь тем, что я на вас не умею сердиться!..

И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях.

...И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю... —

пел со страстным и тоскливым выражением Миллер.

«Но кажется мне, что люблю!» — повторил взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу.

«Зачем же, — растроганно думал он, — утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном счастье, когда здесь, около меня, — простое, но глубокое счастье? Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей, мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении... Тихая ночь, близость любимой девушки, милые, незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка — господи! Разве не в этом вся прелесть существования?»

Он вошел в гостиную повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моей женой», — подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость.

Разговор шел о Квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повести «своих девочек» на вокзал.

— Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры — Лиза Белоконская...

— Это, кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой? — покорно вставил заученную реплику господин Зиненко.

— Ну да, та самая, — снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. — Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь. И вот Лиза Белоконская писала мне, что встретилась в одном обществе с Василием

Терентьевичем и рекомендовала ему побывать у нас, если ему вообще вздумается ехать когда-нибудь на завод.

— Сумеем ли мы принять, Нюся? — спросил озабоченно Зиненко.

— Как ты смешно говоришь! Мы сделаем, что можем. Ведь уж во всяком случае мы не удивим ничем человека, который имеет триста тысяч годового дохода.

— Господи! Триста тысяч! — простонал Зиненко. — Просто страшно подумать.

— Триста тысяч! — вздохнула, точно эхо, Нина.

— Триста тысяч! — воскликнули восторженно хором девицы.

— Да, и все это он проживает до копеечки, — сказала Анна Афанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила: — Женатый человек. Только, говорят, очень неудачно женился. Его жена какая-то бесцветная личность и совсем не представительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывеской в делах мужа.

— Триста тысяч! — повторила еще раз, точно в бреду, Нина. — Чего только на эти деньги не сделаешь!..

Анна Афанасьевна провела рукой по ее пышным волосам.

— Вот бы тебе такого мужа, деточка. А?

Эти триста тысяч чужого годового дохода точно наэлектризовали все общество. С блестящими глазами и разгоревшимися лицами рассказывались и слушались анекдоты о жизни миллионеров, рассказы о баснословных меню обедов, о великолепных лошадях, о балах и исторически безумных тратах денег.

Сердце Боброва похолодело и до боли сжалось. Он тихонько отыскал свою шляпу и осторожно вышел на крыльцо. Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил.

И когда он крупною рысью ехал домой и представил себе томные, мечтательные глаза Нины, шептавшей почти в забытьи: «Триста тысяч!» — ему вдруг припомнился утренний анекдот Свежевского.

— Эта... тоже сумеет себя продать! — прошептал он, судорожно стиснув зубы и с бешенством ударив Фарватера хлыстом по шее.

V

Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор и теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», — подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог перенести без болезненного раздражения.

Он любил искренно этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрогивал Бобров, доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они скучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно.

Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа ее вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал «Учебный курс металлургии» Мевиуса и улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением, и непременно из середины, все, что только попадалось ему под руку.

— А я без вас распорядился чайком, — сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва. — Ну, как попрыгиваете, государь мой Андрей Ильич? У-у, да какой же вы сердитый. Что? Опять веселая меланхолия?

— Ах, доктор, скверно на свете жить, — сказал устало Бобров.

— Отчего же так, голубчик?

— Да так... вообще... все скверно. Ну как, доктор, ваша больница?

— Наша больница ничего... живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень, из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все, как на

подбор, богатыри. «Что тебе?» — спрашиваю. «Да вот, господин дохтур, резал я хлеб для артели, так палец маненечко попортил, руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку: так себе, царапинка, пустяки, но нагноилась немного; я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. «Ну, чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку, и ступай». — «Это верно, говорит, заклеили, дай бог тебе здоровья, а только вот што, этто башка у меня трешшыть, так думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь». — «Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно?» Парень так и обрадовался, загоготал. «Есть, говорит, тот грех. Ономнясь, на Спаса (это, значит, дня три тому назад), загуляли мы артелью да вина выпили ведра полтора, ну, ребята и зачали баловать промеж себя... Ну, и я тоже. А опосля... в драке-то нешто разберешься?.. ка-ак он меня зубилом саданул по балде... починил, стало быть... Сначала-то оно ничего было, не больно, а вот теперь трешшыть башка-то». Стал я осматривать «балду», и что же вы думаете? — прямо в ужас пришел! Череп проломлен насквозь, дыра с пятак медный будет величиною, и обломки кости в мозг врезались... Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец: младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие: «В драке нешто разберешь?..» Черт знает что такое!

Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкал хлыстом по голенищам высоких сапог и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у Зиненок, до сих пор не могла успокоиться.

Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием:

— Знаете что, Андрей Ильич? Попробуемте-ка на минуточку лечь спать да хватим на ночь ложечку-другую брому. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет...

Они оба легли в одной комнате: Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому и другому не спа-

лось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался с боку на бок и вздыхал Бобров, и, наконец, заговорил первый:

— Ну, что вы, голубчик? Ну, что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело? Все легче будет. Чай, все-таки не чужой я вам человек, не из праздного любопытства спрашиваю.

Эти простые слова тронули Боброва. Хотя его и связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух: оба были люди чуткие и боялись колючего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому.

— Все мне тяжело и гадко, Осип Осипович, — отозвался тихо Бобров. — Первое, мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги, а мне это заводское дело противно и противно! Я считаю себя честным человеком и потому прямо себя спрашиваю: «Что ты делаешь? Кому ты приносишь пользу?» Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотня французских лавочников-рантье и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы. А другой цели, другого смысла нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни!..

— Ну, уж это даже смешно, Андрей Ильич, — возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву. — Вы требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности. С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом, иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас не довольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, «колесницу прогресса»? Черт возьми! Акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды, но разве это мешает Фультону считаться благодетелем человечества?

— Ах, доктор, доктор! — Бобров досадливо поморщился. — Вы не были, кажется, сегодня у Зиненок, а

вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражениями, потому что я сейчас разобью вас вашей же возлюбленной теорией.

— То есть какой это теорией?.. Позвольте... я что-то не помню никакой теории... право, голубчик, не помню... забыл что-то...

— Забыли? А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей двадцатого века, неврастеников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, стодвадцативерстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до minimum'a [1], — уничтожили его... Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению... Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст!.. А между тем всего пятьдесят лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции... И мы несемся сломя голову вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки, с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней... Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса!

Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва.

— Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил, — заторопился он не совсем, однако, уверенно. — Я и теперь

---

[1] *Минимума (лат.).*

это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспособляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов... Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы дальше хирургии ничего ровнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух, хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственности и черт знает чем еще! Мы удалились от единого верного терапевтического пути — от медицины зверей и знахарок, мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем в девяноста случаях из ста в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач, и в то же время умный и честный человек, признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство — серный цвет, — вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки и помогает... Не правда ли, голубчик, приятная картинка? А, однако, и мы делаем, что можем... Нельзя, мой дорогой, иначе: жизнь требует компромиссов... Иной раз хоть своим видом всезнающего авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо.

— Да, компромиссы — компромиссами, — возразил мрачным тоном Бобров, — а, однако, вы у масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли...

— Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что «царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий». Что-то в этом роде... Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При последних словах Боброва точно подбросило на

кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.

— Пользы?! — закричал он исступленно. — Вы мне говорите о пользе? В таком случае уж если подводить итоги пользе и вреду, то, позвольте, я вам приведу маленькую страничку из статистики. — И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры: — Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках... Постойте, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее сорока — сорока пяти лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю — в месяц или, короче, *шесть* часов в день... Теперь слушайте дальше... У нас, при шести домнах, будет занято до тридцати тысяч человек, — царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки сто восемьдесят тысяч часов своей собственной жизни, то есть семь с половиной тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет?

— Около двадцати лет, — подсказал после небольшого молчания доктор.

— Около двадцати лет в сутки! — закричал Бобров. — Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми! Вы помните из библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел...

Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву (он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора). Тем не менее и его самого и Гольдберга поразила оригинальность вычисления.

— Черт возьми, вы меня ошеломили, — отозвался с дивана доктор. — Хотя цифры могут быть и не совсем точными...

— А известна ли вам, — продолжал с еще большей горячностью Бобров, — известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сеялки или рельсопрокатки? Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей — целый ряд человеческих существований!

— Но, послушайте, голубчик вы мой, — возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва, — тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих...

Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по комнате.

— И больница ваша и школа — все это пустяки! Цаца детская для таких гуманистов, как вы, — уступка общественному мнению... Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим... Вы знаете, что такое финиш?

— Финиш? Это что-то лошадиное, кажется? Что-то такое на скачках?

— Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью, — за столбом она может хоть издохнуть. Финиш — это полнейшее, максимальное напряжение сил, и, чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови... Так вот и мы. А когда финиш выжат и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами, — к черту ее, она больше никуда не годится! Вот тогда и извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами... Вы видели ли когда-нибудь, доктор, ли-

тейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста... Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа... И сколько за этот труд рабочий получает, хотите вы знать?

— А все-таки, пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен, — сказал упрямо Гольдберг.

— Доктор, не говорите наивных вещей! — воскликнул Бобров, садясь на подоконник. — Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает трех или четырех покойников-патронов. Вам известно, как создалось наше общество? Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах. Но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели и оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными... Капитальные здания шли, как у нас говорят, «на мясо», то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по десять копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалованье от другой, более богатой и ловкой компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах, но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника восемьсот рабочих не получили двухмесячного жалованья. Вот вам и обеспеченный труд! Да стоит только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции? Для этого нужно мне приехать в Петербург — шепнуть маклеру, что вот, мол, хочу я продать тысяч на триста акций, «только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите...» Потом другому и третьему шепнуть то же самое по сек-

рету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции... Хороша обеспеченность!..

Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух.

— Посмотрите, посмотрите сюда, доктор! — крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода.

Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни... Это горели известковые печи[1]. Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими, длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда, по резкому звону сигнального молотка, опускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных круглых каупе-

---

[1] Известковые печи устраиваются таким образом: складывается из известкового камня холм величиной с человеческий рост и разжигается дровами или каменным углем. Этот холм раскаляется около недели, до тех пор пока из камня не образуется негашеная известь. *(Прим. автора.)*

ров казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался, точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск... Несмолкаемый лязг и грохот железа несся оттуда.

От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок, в глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно,

— Вот он — Молох, требующий теплой человеческой крови! — кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. — О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры... Но подумайте же, ради бога, — двадцать лет! Двадцать лет человеческой жизни в сутки!.. Клянусь вам, — бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!..

«Господи! Да ведь он — сумасшедший», — подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва.

— Голубчик, Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что за охота из-за глупостей расстраиваться. Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость... Ложитесь, да нате-ка вам бромку. «Маниак, совершенный маниак», — думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом.

Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые, успокоительные слова.

VI

На другой день состоялась торжественная встреча Василия Терентьевича Квашнина на станции Иванково. Уж к одиннадцати часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокой-

ным. Директор — Сергей Валерьянович Шелковников — пил стакан за стаканом зельтерскую воду, поминутно вытаскивал часы и, не успев взглянуть на циферблат, тотчас же машинально прятал их в карман. Только это рассеянное движение и выдавало его беспокойство. Лицо же директора — красивое, холеное, самоуверенное лицо светского человека — оставалось неподвижным. Лишь весьма немногие знали, что Шелковников только официально, так сказать на бумаге, числился директором постройки. Всеми делами в сущности ворочал бельгийский инженер Андреа́, полуполяк, полушвед по национальности, роли которого на заводе никак не могли понять непосвященные. Кабинеты обоих директоров были расположены рядом и соединены дверью. Шелковников не смел положить резолюции ни на одной важной бумаге, не справившись сначала с условным знаком, сделанным карандашом где-нибудь на уголке страницы рукою Андреа. В экстренных же случаях, исключавших возможность совещания, Шелковников принимал озабоченный вид и говорил просителю небрежным тоном:

— Извините... положительно не могу уделить вам ни минуты... завален по горло... Будьте добры изъяснить ваше дело господину Андреа, а он мне потом изложит его отдельной запиской.

Заслуги Андреа перед правлением были неисчислимы. Из его головы целиком вышел гениально-мошеннический проект разорения первой компании предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшиеся изумительной простотой и стройностью, считались в то же время последним словом горнозаводской науки. Он владел всеми европейскими языками и — редкое явление среди инженеров — обладал, кроме своей специальности, самыми разнообразными знаниями.

Изо всех собравшихся на станции только один этот человек, с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны, сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил взад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких, обвисших брюк и пожевывая свою вечную

сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста, как и всегда, неподвижно и равнодушно глядели из-под опухших, усталых век.

Приезду семейства Зиненок никто не удивился. Их почему-то все давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Девицы внесли с собой в мрачную залу станции, где было и холодно и скучно, свое натянутое оживление и ненатуральный хохот. Их окружили утомившиеся долгим ожиданием инженеры помоложе. Девицы, тотчас же приняв обычное оборонительное положение, стали сыпать налево и направо милыми, но давно всем наскучившими наивностями. Среди своих суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась беспокойной наседкой.

Бобров, усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с громким щебетанием расселось у круглого стола семейство Зиненок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства, стало стыдно жгучим, удручающим *стыдом за другого*. С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину, разрумяненную быстрой ездой, с возбужденными, блестящими глазами, очень мило одетую и, как всегда это бывает, гораздо красивее, чем ее рисовало ему воображение. В его больной, издерганной душе вдруг зажглось нестерпимое желание нежной, благоухающей девической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки.

Он искал случая подойти к Нине, но она все время была занята болтовней с двумя горными студентами, которые наперерыв старались ее рассмешить. И она смеялась, сверкая мелкими белыми зубами, более кокетливая и веселая, чем когда-либо. Однако два или три раза она встретилась глазами с Бобровым, и ему почудился в ее слегка приподнятых бровях молчаливый, но не враждебный вопрос.

На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль мгновенно овладела этими двадцатью с лишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными, руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам сюртуков, по галстукам и фуражкам, глаза обратились в сторону звонка. Скоро в зале никого не осталось.

Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей, вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный, упорный взгляд Боброва и, точно угадывая его желание поговорить с нею наедине, пошла ему навстречу.

— Здравствуйте. Что вы такой бледный сегодня? Вы больны? — спросила она, крепко и нежно пожимая его руку и заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. — Почему вы вчера так рано уехали и даже не хотели проститься? Рассердились на что-нибудь?

— И да и нет, — ответил Бобров улыбаясь. — Нет, — потому что я ведь не имею никакого права сердиться.

— Положим, всякий человек имеет право сердиться. Особенно, если знает, что его мнением дорожат. А почему же да?

— Потому что... Видите ли, Нина Григорьевна, — сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости. — Вчера, когда мы с вами сидели на балконе, — помните? — я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений. И я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире... Ах, да что же я боюсь и медлю... Ведь вы знаете, вы догадались, ведь вы давно знаете, что я...

Он не договорил... Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла.

— Что вы... что такое? — переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом, внезапно, против ее воли, задрожавшим, и опуская глаза в землю.

Она ждала признания в любви, которое всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек, все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет. Ее щеки слегка побледнели.

— Не теперь... потом, когда-нибудь, — замялся Бобров. — Когда-нибудь, при другой обстановке я вам это скажу... Ради бога, не теперь, — добавил он умоляюще.

— Ну, хорошо. Все-таки почему же вы рассердились?

— Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, — ну, как бы это сказать, — в самом растроганном состоянии... И когда я вошел...

— То вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина? — догадалась Нина с той внезапной, инстинктивной проницательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. — Да? Я угадала? — Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким, ласкающим взором. — Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать от своего друга.

Когда-то, месяца три или четыре тому назад, во время катанья по реке большим обществом, Нина, возбужденная и разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу на веки вечные, — он принял этот вызов очень серьезно и в продолжение целой недели называл ее своим другом, так же как и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно, со своим обычным томным видом: *«мой друг»,* то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом:

— Хорошо, «мой друг», я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым!.. Ах, разве можно передать такие ощущения словами?.. Скажите только, замечали ли вы это?

— Замечала, — отозвалась она почти шепотом и низко, с лукавой дрожью в ресницах, опустила глаза.

— А потом... потом вдруг, тотчас же, на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню, с шаблонным обиходом фраз и с какою-то заученной манерностью во всех поступках... Не сердитесь на меня за откровенность... Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы...

— Я и это тоже заметила...

— Ну, вот видите... Я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь?

Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы.

— Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич, — сказала она с упреком. — Вы нервны и нетерпеливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно, это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слаба и, надо правду сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности... Я иду туда, куда идут все, гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности... Но я с другими не чувствую ее тяжести, а с вами... С вами я всякую меру теряю, потому что... — она запнулась, — ну, да все равно... потому что вы совсем другой, потому что такого, как вы, человека я никогда еще в жизни не встречала.

Ей казалось, что она говорит искренно. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва — все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением любуясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное.

— Я знаю, что вы меня считаете кокеткой... Пожалуйста, не оправдывайтесь... И я согласна, я даю повод так думать... Например, я смеюсь и болтаю часто с

Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим! Или эти два студента... Красивый мужчина уже по тому одному неприятен, что вечно собой любуется... Поверите ли, хотя это, может быть, и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины.

При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы! Он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам.

— Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию? — спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой.

Нина быстро спохватилась.

— Ну вот, какой вы, право. С вами нельзя разговаривать... Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!..

Она сама немного сконфузилась своей неловкости и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью:

— Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать!

— Я не знаю... не помню, — замялся расхоложенный Бобров.

— Я вам напомню, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверно, давно уже заметила... но что? Вы этого не докончили... Извольте же говорить теперь. Я требую этого, слышите!..

Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка — лукавая, и обещающая, и нежная в одно и то же время... Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. «Она знает, она сама хочет, чтобы я говорил», — подумал он, собираясь с духом.

Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы. Нина

ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры, Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха.

— Так слышите же... Я жду, — шепнула Нина, быстро отходя от Боброва. — Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете...

Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, громыхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы... На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона; из нее тотчас же выскочила, с шумом развертываясь, складная лестница. Начальник станции, красный от волнения и беготни, с перепуганным лицом торопил рабочих с отцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров N-ской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, как не всегда удостоивалось даже самое высшее железнодорожное начальство.

В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы; бритое, как у актера, лицо с обвисшими щеками и тройным подбородком, испещренное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным; губы складывались в презрительную, кислую гримасу.

При виде инженеров он с усилием приподнялся.

— Здравствуйте, господа, — сказал он сиплым басом, протягивая им поочередно для почтительных прикосновений свою огромную пухлую руку. — Ну-с, как у вас на заводе?

Шелковников начал докладывать языком служебной бумаги. На заводе все благополучно. Ждут только приезда Василия Терентьевича, чтобы в его присутствии пустить доменную печь и сделать закладку новых зда-

ний... Рабочие и мастера наняты по хорошим ценам. Наплыв заказов так велик, что побуждает как можно скорее приступить к работам.

Квашнин слушал, отворотясь лицом к окну, и рассеянно разглядывал собравшуюся у служебного вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кроме брезгливого утомления.

Вдруг он прервал директора неожиданным вопросом:

— Э... па... послушайте... Кто эта девочка?

Шелковников заглянул в окно.

— Ну, вот эта.., с желтым пером на шляпе, — нетерпеливо показал пальцем Квашнин.

— Ах, эта? — встрепенулся директор и, наклонившись к уху Квашнина, прошептал таинственно по-французски: — Это дочь нашего заведующего складом. Его фамилия Зиненко.

Квашнин грузно кивнул головой. Шелковников продолжал свой доклад, но принципал опять перебил его:

— Зиненко... Зиненко... — протянул он задумчиво и не отрываясь от окна. — Зиненко... кто же такой этот Зиненко?.. Где я эту фамилию слышал?.. Зиненко?

— Он у нас заведует складом, — почтительно и умышленно бесстрастно повторил Шелковников.

— Ах, вспомнил! — догадался вдруг Василий Терентьевич. — Мне о нем в Петербурге говорили... Ну-с, продолжайте, пожалуйста.

Нина безошибочным женским чутьем поняла, что именно на нее смотрит Квашнин и о ней говорит в настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ее, разрумянившееся от кокетливого удовольствия, все-таки было, со всеми своими хорошенькими родинками, видно Василию Терентьевичу.

Наконец доклад окончился, и Квашнин вышел на площадку, устроенную в виде просторного стеклянного павильона сзади вагона.

Это был момент, для увековечения которого, как подумал Бобров, не хватало только хорошего фотографического аппарата. Квашнин почему-то медлил сходить вниз и стоял за стеклянной стеной, возвышаясь своей

массивной фигурой над теснящейся около вагона группой, с широко расставленными ногами и брезгливой миной на лице, похожий на японского идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встречающих: на их губах застыли, сморщив их, заранее приготовленные улыбки, между тем как глаза, устремленные вверх, смотрели на Квашнина с подобострастием, почти с испугом. По сторонам дверцы застыли в солдатских позах молодцеватые кондуктора. Заглянув случайно в лицо опередившей его Нины, Бобров с горечью заметил и на ее лице ту же улыбку и тот же тревожный страх дикаря, взирающего на своего идола.

«Неужели же здесь только бескорыстное, почтительное изумление перед тремястами тысячами годового дохода? — подумал Андрей Ильич. — Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда внимательно? Или здесь есть какой-нибудь не доступный пониманию психологический закон подобострастия?»

Постояв немного, Квашнин решился двинуться и, предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу.

На почтительные поклоны быстро расступившейся перед ним вправо и влево толпы он небрежно кивнул головой, выпятив вперед толстую нижнюю губу, и сказал гнусаво:

— Господа, вы свободны до завтрашнего дня.

Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора.

— Так вы, Сергей Валерьянович, представьте мне его, — сказал он вполголоса.

— Зиненку? — предупредительно догадался Шелковников.

— Ну да, черт возьми! — внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. — Только не здесь, не здесь, — остановил он за рукав устремившегося было директора. — Когда я буду на заводе...

VII

Закладка каменных работ и открытие кампании новой домны произошли через четыре дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с возможно бо́льшим торжеством, почему на соседние металлургические заводы: Крутогорский, Воронинский и Львовский, были заранее разосланы печатные приглашения.

Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще два члена правления, четверо бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около двух тысяч рублей, однако эти слухи пока ничем еще не оправдались, вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков.

День выдался очень удачный для торжества, — один из тех ярких, прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким, крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессемеровой печи, были окружены в виде «покоя» густой толпою рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашеный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали крест и евангелие рядом с жестяной чашей для святой воды и кропилом. Священник, уже облаченный в зеленую, затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди пятнадцати рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики — пестрая, оживленная группа из двухсот с лишком человек. На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком и себя и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку.

Через десять минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что, при всем желании, никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще пять или шесть экипажей.

Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем «набольшего» и тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику.

— Благословен бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веко-ов, — раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий и гнусавый тенорок священника.

— Аминь, — подхватил довольно стройно импровизированный хор.

Рабочие — их было до трех тысяч человек — так же дружно, как кланялись Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами... Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли двумя рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все со льняными волосами и рыжими бородами, сзади них — литейщики и кузнецы в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти, — между ними виднелись и горбоносые профили иноземных увриеров;[1] сзади, из-за литейщиков, выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густо мукою, и по воспаленным, распухшим, красным глазам...

Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, богородице», все эти три тысячи человек с однообразным тихим шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью: сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают

[1] Рабочих (от *франц.* ouvrier).

они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями, в то время когда хор просит богородицу — спасти от бед рабы своя... И на кого, как не на одну только богородицу, надеяться этим большим детям, с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги?

Так, или почти так, думал Бобров, всегда склонный к широким, поэтическим картинам; и хотя он давно уже отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий, далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся бог весть откуда, из далеких губерний, оторванных от родного, привычного угла для тяжелой и опасной работы...

Молебен кончился. Квашнин с небрежным видом бросил в яму золотой, но нагнуться с лопаточкой никак не мог — это сделал за него Шелковников. Потом вся группа двинулась к доменным печам, возвышавшимся на каменных фундаментах своими круглыми черными массивными башнями.

Пятая, вновь выстроенная домна шла, как говорится на техническом жаргоне, «спелым ходом». Из проделанного внизу ее, на аршинной высоте, отверстия бил широким огненно-белым клокочущим потоком расплавленный шлак, от которого прыгали во все стороны голубые серные огоньки. Шлак стекал по наклонному желобу в котлы, подставленные к отвесному краю фундамента, и застывал в них зеленоватой густой массой, похожей на леденец. Рабочие, находившиеся на самой верхушке печи, продолжали без отдыха забрасывать в нее руду и каменный уголь, которые то и дело подымались наверх в железных вагонетках.

Священник окропил домну со всех сторон святою водой и, боязливо торопясь, спотыкающейся, старческой походкой отошел в сторону. Горновой мастер, жилистый чернолицый старик, перекрестился и поплевал на руки. То же сделали четверо его подручных. Потом они под-

няли с земли очень длинный стальной лом, долго раскачивали его и, одновременно крякнув, ударили им в самый низ печи. Лом звонко стукнулся в глиняную втулку. Зрители в боязливо-нервном ожидании зажмурили глаза; некоторые подались назад. Рабочие ударили в другой раз, потом в третий, в четвертый... и вдруг из-под острия лома брызнул фонтан нестерпимо яркого жидкого металла. Тогда горновой мастер кругообразными движениями лома расширил отверстие, и чугун медленно полился по песчаной бороздке, принимая оттенок огненной охры. Целые снопы блестящих крупных звезд летели во все стороны из отверстия печи, громко треща и исчезая в воздухе. От этого тихо, как будто лениво текущего металла шел такой страшный жар, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками.

От доменных печей инженеры двинулись в отдел воздуходувных машин. Квашнин заранее распорядился так, чтобы приехавшие с ним акционеры увидели завод во всей его колоссальной величине и сутолоке. Он совершенно верно рассчитал, что эти господа, пораженные массою сильных и совершенно новых для них впечатлений, будут потом рассказывать чудеса уполномочившему их общему собранию. И, глубоко зная психологию деловых людей, Василий Терентьевич уже считал делом решенным новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на который до сих пор не соглашалось общее собрание.

И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах... В помещении воздуходувных машин они слышали, бледные от волнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями в трубы, устремлялся по ним с ревом, заставляющим трястись каменные стены здания. По этим чугунным, массивным, в два обхвата шириною трубам воздух проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до шестисот градусов и оттуда уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведывающий воздуходувным отделением, давал объяснения. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам

акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно, а казалось только, что он беззвучно и напряженно шевелит губами.

Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей — высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось двадцать пудлинговых печей, формой напоминавших снятые с колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штамбы — нечто вроде футляров без дна, но с ручками наверху — и застывала в них сплошными кусками, пудов по сорока весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали, пыхтя, шипя и стуча, паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штамбу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска ослепительно красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. Второй кран, ухватив крючком эту цепь, плавно нес «штуку» в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий — влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал «штуки» с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под полом. Наконец пятый кран вытаскивал их из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшееся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная «штука» в течение пяти секунд разрезалась на две половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под семисотпудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили

дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа.

Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстие, образуемое двумя стальными, вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее и, несколько раз перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму десятисаженного красного рельса. Сложным движением пятнадцати станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной, на возвышении вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону; двигал ее назад — и цилиндры и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на три части.

Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни две или три станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной, запутанной и дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались с быстротой двадцати оборотов в секунду, движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки, в виде красивых длинных спиралей, густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым, тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая

гайки, — нечто вроде двух огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. Двое рабочих всовывали в эту пасть конец накаленного длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек.

Когда, выйдя из токарного цеха, Шелковников предложил акционерам (он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями) осмотреть гордость завода, девятисотсильный «Компаунд», то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрепя сердце, чтобы только не уронить достоинства уполномочившего их собрания.

Девятисотсильный «Компаунд» помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука... Два поршня, в четыре сажени каждый, мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. Двадцатифутовое колесо, со скользящими по нем двенадцатью канатами, вращалось также беззвучно и быстро; от его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными, равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха.

Осмотрев «Компаунд», акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились, но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением:

— Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь.

Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного «сердце завода» — двенадцать цилиндрических котлов пятисаженной длины и полутора сажен высоты каждый — не произвело на уставших акционеров особенно внуши-

тельного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренно, с нескрываемым удовольствием принялись жать ему руку.

Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно, и днем и ночью, подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые, цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым, ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище...

— Что, коллега, смотрите, как вашего Молоха упитывают? — услышал Бобров за своей спиной веселый, добродушный голос.

Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собою, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадоч-

ными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом.

— Я вас, кажется, напугал, дорогой мой? — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. — Прошу прощения.

— Да, немножко... вы так неслышно подошли... я совсем не ожидал.

— Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся... Послушайтесь моего совета: берите отпуск да махните куда-нибудь за границу... Ну, что вам себя здесь растравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие: пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура [1] пройдитесь...

Доктор подошел к краю кочегарки.

— Вот так преисподняя! — воскликнул он, заглянув вниз. — Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?..

— Нет, побольше. Тысячи полторы.

— Ой, ой, ой... А ну как такая штучка вздумает того... лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А?

— Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне...

Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул.

— Отчего же это может случиться?

— Причины разные бывают... но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается.

— Так что это можно сделать нарочно?

— Сколько угодно... Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль... видите, маленький круглый рычажок... И все тут.

---

[1] Любви (от *франц.* l'amour).

Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает, — подумал доктор, — милый он человек, а все-таки... психопат...»

— Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич? — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. — Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка, — так прямо на удивление.

— А ну их! Терпеть не могу инженерных обедов, — поморщился Бобров. — Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей... Отвращение!..

— Да, да, совершенно верно, — рассмеялся доктор. — Я захватил начало. Квашнин — одно великолепие: «Милостивые государи, призвание инженера — высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет в глубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и...» какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько... Но ведь каков обер-жулик!.. «Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства!..» Ну, конечно, бешеные рукоплескания.

Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе:

— Да! Благодетельное искусство! А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься... дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения! То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове.

— Да что вы, доктор? Разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте.

Доктор остановился, тяжело переводя дух.

— Да как же не быть? — сказал он с горечью. — Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой если еще не умер, то вечером умрет непременно... А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных... Подождите, доиграются они!.. — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.

VIII

Злые языки начали звонить. Про Квашнина еще до его приезда ходило на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Дамы говорили об этом с двусмысленными улыбками, мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала.

В сплетне была доля правды. Сделав визит семейству Зиненок, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам, около одиннадцати часов, в Шепетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых, и кучер неизменно докладывал, что «барин просит барыню и барышень пожаловать к ним на завтрак». К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Терентьевич всюду возил за собою в своих частых разъездах, даже и за границу.

Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества — Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую, Касю, часто брал за пухлый, с ямочкой, подбородок и дразнил «младенцем» и «цыпленочком», отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась.

Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек! Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей триста... Бете он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков, пуд конфет, а Касе — брошку, в которой последовательно чередовались

камни — коралл, аметист, сапфир и яшма, — обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через два дня ей привели кровную английскую кобылу, в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять это Квашнину. На ее льстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым, решительным басом:

— Ну вот еще, дорогая моя... пустяки какие выдумали...

Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем им одинаково угождая и над всеми бесцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего раза два или три. Его никто не звал; он явился сам, точно по чьему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи.

Впрочем, появлению его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то, месяцев пять тому назад, Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни — сделаться со временем миллионером и что он к сорока годам непременно будет им.

— Как же вы этого добьетесь, Станислав Ксаверьевич? — спросили его.

Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил:

— Все дороги ведут в Рим.

Чутье ему подсказывало, что теперь в Шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок со свирепым меделянским псом, выра-

жая и лицом и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьевича.

Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, — этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского... Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента.

Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился: на семейство Зиненок у него сложился свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не преминет задеть грязным хвостом и Нину... После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали — думалось ему — только ее костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва.

Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он был слишком застенчив и неуверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Не удивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому, сильному чувству.

Все эти дни Бобров находился под обаянием разговора на вокзале. Сотни раз он вспоминал его в мельчайших подробностях и с каждым разом прозревал в словах Нины более глубокое значение. По утрам он просыпался со смутным сознанием чего-то большого и светлого, что посетило его душу и обещает ему в будущем много блаженства.

Его неудержимо тянуло к Зиненкам: хотелось еще раз убедиться в своем счастье, еще раз слышать от Нины то робкие, то наивно смелые полупризнания. Но его стесняло присутствие Квашнина, и он утешал себя только тем, что патрон ни в каком случае не мог пробыть в Иванкове более двух недель.

Однако случай помог ему увидеться с Ниной до отъезда Квашнина. Это произошло в воскресенье, через три дня после торжественного открытия кампании доменной печи. Бобров ехал верхом на Фарватере по широкой, хорошо набитой дороге, ведущей с завода на станцию. Было часа два прохладного, безоблачного дня. Фарватер шел бойкой ходой, прядая ушами и мотая косматой головой. На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею — всадника на маленьком белом киргизе. Скоро он убедился, что это была Нина в темно-зеленой длинной развевающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким блестящим цилиндром на голове. Она уверенно и красиво сидела в седле. Стройная английская кобыла шла под нею эластической широкой рысью, круто собрав шею и высоко подымая тонкие, сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевский далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбясь, поймать носком потерянное стремя.

Заметив Боброва, Нина пустила лошадь галопом. Встречный ветер заставлял ее придерживать правой рукой перед шляпы и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Ильичом, она сразу осадила лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами, раздувая широкие, породистые ноздри и звучно перебирая зубами удила, с которых комьями падала пена. От езды у Нины раскраснелось лицо, и волосы, выбившиеся на висках из-под шляпы, откинулись назад длинными тонкими завитками.

— Откуда у вас такая прелесть? — спросил Бобров, когда ему, наконец, удалось осадить танцевавшего Фарватера и, перегнувшись на седле, пожать кончики пальцев Нины.

— А правда, красавица? Это — подарок Квашнина.

— Я бы отказался от такого подарка, — грубо сказал Андрей Ильич, внезапно рассерженный беспечным ответом Нины.

Нина вспыхнула.

— На каком основании?

— Да на том, что... кто же для вас в самом деле Квашнин?.. Родственник?.. Жених?..

— Ах, боже мой, как вы щепетильны за других! — воскликнула Нина язвительно.

Но, увидев его страдающее лицо, она тотчас же смягчилась.

— Ведь ему это ничего не стоит... Он так богат...

Свежевский был уже в десяти шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала вполголоса, тоном маленькой девочки, сознающейся в своей вине:

— Ну, будет... будет, не сердитесь... Я ему возвращу лошадь назад, злючка вы этакий!.. Видите, что значит для меня ваше мнение.

Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал, а только глубоко, всей грудью, вздохнул. Свежевский подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку.

— Вы, конечно, знаете о нашем пикнике? — крикнул еще издали Свежевский.

— В первый раз слышу, — ответил Андрей Ильич.

— Пикник по инициативе Василия Терентьевича? В Бешеной балке?..

— Не слыхал.

— Да, да. Пожалуйста, приезжайте же, Андрей Ильич, — вмешалась Нина. — В среду, в пять часов вечера... сборный пункт — станция...

— Пикник по подписке?

— Кажется. Наверно не знаю.

Нина вопросительно и растерянно взглянула на Свежевского.

— По подписке, — подтвердил Свежевский. — Василий Терентьевич поручил мне исполнить некоторые его распоряжения. И я вам скажу, пикник будет колоссальный. Нечто сверхшикарное... Только все это покамест секрет. Вы будете поражены неожиданностью...

Нина не утерпела и прибавила кокетливо:

— Все это ведь из-за меня вышло. Третьего дня я говорила, что хорошо бы компанией куда-нибудь в лес проехаться, а Василий Терентьевич...

— Я не поеду, — сказал Бобров резко.

— Нет, поедете! — сверкнула глазами Нина. — Господа, марш, марш! — крикнула она, подымая лошадь с места галопом. — Андрей Ильич! Слушайте, что я вам скажу.

Свежевский остался сзади. Нина и Бобров скакали рядом, она — улыбаясь и заглядывая ему в глаза, он — хмурый и недовольный.

— Ведь это я для вас выдумала пикник, мой нехороший, подозрительный друг, — сказала она с глубокой нежностью в голосе. — Я хочу непременно узнать то, что вы не договорили тогда, на вокзале... Нам никто не помешает на пикнике.

И опять мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чуствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно:

— О Нина! Как я люблю вас!

Но Нина как будто бы не слыхала этого внезапного признания. Она потянула поводья, заставила лошадь перейти в шаг и спросила:

— Так будете? Да?

— Непременно. Непременно буду!

— Смотрите же... А теперь подождем моего кавалера и — до свиданья. Я тороплюсь домой...

Прощаясь с ней, он чувствовал через перчатку теплоту ее руки, ответившей ему долгим и крепким пожатием. Темные глаза Нины смотрели влюбленно.

IX

В среду, уже с четырех часов, станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринужденно. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни громов, ни молний не последовало, никого не попросили оставить службу, и даже, наоборот, носились слухи о прибавке в недалеком будущем жалованья большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До Бешеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более десяти верст очень кра-

сивой дороги... Ясная и теплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке.

Приглашенных было до девяноста человек; они толпились оживленными группами на платформе, со смехом и громкими восклицаниями. Русская речь перемешивалась с французскими, немецкими и польскими фразами. Трое бельгийцев захватили с собой фотографические аппараты, рассчитывая делать при свете магния моментальные снимки... Всех интересовала полнейшая неизвестность относительно подробностей пикника. Свежевский с таинственным и важным видом намекал о каких-то «сюрпризах», но от объяснений всячески уклонялся.

Первым сюрпризом оказался экстренный поезд. Ровно в пять часов из паровозного депо вышел новый американский десятиколесный паровоз. Дамы не могли удержаться от криков удивления и восторга: вся громадная машина была украшена флагами и живыми цветами. Зеленые гирлянды дубовых листьев, перемешанные с букетами астр, георгин, левкоев и гвоздики, обвивали спиралью ее стальной корпус, вились вверх по трубе, свешивались оттуда вниз, к свистку, и вновь подымались вверх, покрывая цветущей стеной будку машиниста. Из-под зелени и цветов стальные и медные части машины эффектно сверкали в золотых лучах осеннего заходящего солнца. Шесть вагонов первого класса, вытянувшиеся вдоль платформы, должны были отвезти участников пикника на 303-ю версту, откуда до Бешеной балки оставалось пройти не более пятисот шагов.

— Господа, Василий Терентьевич просил меня сообщить вам, что он берет все расходы по пикнику на себя, — говорил Свежевский, торопливо переходя от одной группы к другой. — Господа, Василий Терентьевич просил меня передать всем приглашенным...

Около него составилась большая кучка, он объяснил, в чем дело:

— Василий Терентьевич остался чрезвычайно доволен тем приемом, который ему сделало общество, и ему очень приятно отплатить любезностью за любезность. Он берет все расходы на себя...

И, не утерпев, движимый тем чувством, которое заставляет лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско:

— Мы истратили на этот пикник три тысячи пятьсот девяносто рублей!

— Пополам с господином Квашниным? — послышался сзади насмешливый голос. Свежевский быстро обернулся и убедился, что этот ядовитый вопрос задал Андреа, глядевший на него со своим обычным невозмутимым видом, заложив руки глубоко в карманы брюк.

— Что вы изволили сказать? — переспросил Свежевский, густо краснея.

— Нет, это *вы* изволили сказать: «*Мы* истратили три тысячи», и я имею полное основание думать, что вы подразумеваете себя и господина Квашнина под этим «мы»... в таком случае я считаю приятным долгом заявить вам, что если я принимаю эту любезность от господина Квашнина, то ведь от господина Свежевского я ее могу и не принять...

— Ах, нет, нет... Вы не так меня поняли, — залепетал переконфуженный Свежевский. — Это все Василий Терентьевич. Я просто только... как доверенное лицо... Ну, вроде как приказчик, что ли, — добавил он с кислой усмешкой.

Почти одновременно с подачей экстренного поезда приехали Зиненки в сопровождении Квашнина и Шелковникова. Но не успел еще Василий Терентьевич вылезть из коляски, как случилось никем не предвиденное происшествие трагикомического свойства. Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале; многие принесли с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых, изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального крыльца и на земле, вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более двухсот. На расспросы станционного начальства они отвечали, что им нужно «рыжего и толстого начальника». Сторож пробовал их устранить, но они подняли такой оглушительный гвалт, что он только махнул рукой и оставил баб в покое.

Каждый подъезжавший экипаж вызывал между ними минутный переполох, но так как «рыжего и толстого начальника» до сих пор еще не было, то они тотчас же успокаивались.

Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы, молодые, горячие лошади захрапели и стали метаться; кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала Квашнин ничего не мог разобрать: бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы...

Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон.

— Стой, бабы! Не галдеть! — крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. — Орете все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна: в чем дело?

Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнее потекли по лицам.

— Кормилец... родной... рассмотри ты нас... Никак не можно терпеть... Отощшали!.. Помираем... с ребятами помираем... От холода, можно сказать, прямо дохнем!

— Что же вам нужно? От чего вы помираете? — крикнул опять Квашнин. — Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай, — ткнул он пальцем в рослую и, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. — Остальные молчи!

Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами...

Все-таки зараз говорило не менее двадцати баб.

— Помираем от холоду, кормилец... Уж ты сделай милость, обдумай нас как-нибудь... Никакой нам возможности нету больше... Загнали нас на зиму в бараки, а в них нешто можно жить-то? Одна только слава, что

бараки, а то как есть из лучины выстроены. И теперь-то по ночам невтерпеж от холоду... зуб на зуб не попадает... А зимой что будем делать? Ты хоть наших робяток-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи поставить... Пишшу варить негде... На дворе пишшу варим... Мужики наши цельный день на работе... Иззябши... намокши... Придут домой — обсушиться негде.

Квашнин попал в засаду. В какую сторону он ни оборачивался, везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и, когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски, с гневным выражением в голосе:

— Вы слышали? Что все это значит?

Шелковников беспомощно развел руками и забормотал:

— Я писал в правление, докладывал... Очень ограниченное число рабочих рук... летнее время... косовица... высокие цены... правление не разрешило... ничего не поделаешь...

— Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? — строго спросил Квашнин.

— Положительно неизвестно... Пусть потерпят как-нибудь... Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих.

— Черт знает что за безобразия творятся под вашим руководством, — проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко: — Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали?

— Слышали, родной... Спасибо тебе... Как не слышать, — раздались обрадованные голоса. — Так-то лучше небось, когда сам начальник приказал... спасибо тебе... ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки.

— Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать.

— А то поставили везде черкесов [1], чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит полоснуть.

— Ладно, ладно... Приходите смело за щепками, никто вас не тронет, — успокаивал их Квашнин. — А теперь, бабье, марш по домам, щи варить! Да смотрите у меня, живо! — крикнул он подбодряющим, молодцеватым голосом. — Вы распорядитесь, — сказал он вполголоса Шелковникову, — чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича... Это их надолго утешит. Пусть любуются.

Бабы расходились совсем осчастливленные.

— Ты смотри, коли нам печей не поставят, так мы анжинеров позовем, чтобы нас греть приходили, — крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех.

— А то как же, — отозвалась бойко другая, — пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь какой толстой да гладкой... С ним теплей будет, чем на печке.

Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть.

— Видите ли, дорогой мой, — говорил он директору, тяжело подымаясь вместе с ним на ступеньки станции, — нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все что угодно — алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак, — но делайте это очень уверенно. Клянусь вам: я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену...

Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через три минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на Бешеную балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях, с факелами.

---

[1] В южном крае на заводах и в экономиях сторожами охотнее всего нанимают черкесов, отличающихся верностью и внушающих страх населению. *(Прим. автора.)*

Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души; он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные и красноречивые фразы и потом сам смеялся над собою... Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами и будут еще красивее, еще теплее. И Боброву вспоминались читанные им в каком-то журнале стихи, в которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь.

Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина две коляски Зиненок. Нина сидела в первой. В легком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьезнее, чем обыкновенно. Она издали заметила Боброва, стоявшего на крыльце, но не послала ему, как он ожидал, долгого, многозначительного взгляда. Наоборот, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась от него. Когда же Андрей Ильич подбежал к ее коляске, чтобы помочь ей из нее выйти, Нина, точно предупреждая его, быстро и легко выскочила из экипажа на другую сторону. Нехорошее, зловещее чувство кольнуло сердце Андрея Ильича, но он тотчас же поспешил себя успокоить. «Бедная, она стыдится своего решения и своей любви. Ей кажется, что теперь всякий может свободно читать в ее глазах самые сокровенные мысли... О, святая, прелестная наивность!»

Андрей Ильич был уверен, что Нина, как и в прошлый раз на вокзале, сама найдет случай подойти к нему, чтобы с глазу на глаз перекинуться несколькими фразами. Однако она, по-видимому, вся поглощенная объяснением Квашнина с бабами, не торопилась этого сделать... Она ни разу, даже украдкой, не обернулась

назад, чтобы увидеть Боброва. Сердце Андрея Ильича забилось вдруг тревожно и тоскливо. Он решил подойти к семейству Зиненок, державшемуся тесной кучкой, — остальные дамы их, видимо, избегали, — и под шум, привлекавший общее внимание, спросить Нину, если не словами, то хоть взглядом, о причине ее невнимания.

Кланяясь Анне Афанасьевне и целуя ее руку, он заглядывал ей в лицо и старался прочесть в нем, знает ли она что-нибудь. Да, она несомненно знала: ее надломленные углом тонкие брови — признак лживого характера, как думал нередко Бобров, — недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выражение. Должно быть, Нина рассказала все матери и получила от нее выговор, — догадался Бобров и подошел к Нине.

Но Нина даже не взглянула на него. Ее рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тотчас же повернула голову к Бете и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями... В этом поспешном маневре Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее пред прямым ответом... Он почувствовал, что у него сразу ослабели ноги, а во рту стало холодно... Он не знал, что подумать. Если бы Нина даже и проболталась матери, разве не могла она одним из тех быстрых, говорящих взглядов, которыми всегда инстинктивно располагают женщины, сказать ему: «Да, ты угадал, наш разговор известен... но я все та же, милый, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно, я во что бы то ни стало на пикнике дождусь ее ответа, — подумал Бобров, в смутной тоске предчувствуя что-то тяжелое и грязное. — Так или иначе, она должна будет ответить».

X

На 303-й версте общество вышло из вагонов и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки, по узкой дорожке, спускающейся в Бешеную балку... Еще издали на разгоряченные лица пахнуло свежестью и запахом осеннего леса... Дорожка, стано-

вясь все круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимолости, которые сплелись над ней сплошным темным сводом. Под ногами уже шелестели желтые, сухие, скоробившиеся листья. Вдали сквозь густую сеть чащи алела вечерняя заря.

Кусты окончились. Перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелким песком. На одном ее конце стоял восьмигранный павильон, весь разукрашенный флагами и зеленью, на другом — крытая эстрада для музыкантов. Едва только первые пары показались из чащи, как военный оркестр грянул с эстрады веселый марш. Резвые, красивые медные звуки игриво понеслись по лесу, звонко отражаясь от деревьев и сливаясь где-то далеко в другой оркестр, который, казалось, то перегонял первый, то отставал от него. В восьмигранном павильоне вокруг столов, расставленных покоем и уже покрытых новыми белыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой...

Как только музыканты кончили марш, все приглашенные на пикник разразились дружными аплодисментами. Они были в самом деле изумлены, потому что не далее как две недели тому назад эта площадка представляла собою косогор, усеянный редкими кустами...

Оркестр заиграл вальс.

Бобров видел, как Свежевский, стоявший рядом с Ниной, тотчас же, без приглашения, обхватил ее талию, и они понеслись, быстро вертясь, по площадке.

Едва Нину оставил Свежевский, как к ней подбежал горный студент, за ним еще кто-то. Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать. Однако ему пришло в голову пригласить Нину на кадриль. «Может быть, — думал он, — мне удастся улучить минуту для объяснения». Он подошел к ней, когда она, только что сделав два тура, сидела и торопливо обмахивала веером пылавшее лицо.

— Надеюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили для меня одну кадриль?

— Ах, боже мой... Такая досада! У меня все кадрили разобраны, — ответила она, не глядя на него.

— Неужели? Так скоро? — спросил глухим голосом Бобров.

— Ну да, — Нина нетерпеливо и насмешливо приподняла плечи. — Зачем же вы опоздали? Я еще в вагоне обещала все кадрили...

— Вы, значит, совсем позабыли обо мне! — сказал он печально.

Звук его голоса тронул Нину. Она нервно сложила и опять развернула веер, но не подняла глаз.

— Вы сами виноваты. Почему вы не подошли?..

— Но ведь я только для того и приехал на пикник, чтобы вас видеть... Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна?

Она молчала, в замешательстве теребя веер. Ее выручил подлетевший к ней молодой инженер. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку в длинной белой перчатке на плечо инженера. Андрей Ильич следил за нею глазами... Сделав тур, она села, — конечно, умышленно, подумал Андрей Ильич, — на другом конце площадки. Она почти боялась его или стыдилась перед ним.

Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладела Бобровым. Все лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размеренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались в его голове, причиняя раздражающую боль. Но он еще не потерял надежды и старался утешить себя разными предположениями: «Не сердится ли она за то, что я не прислал ей букета? Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я? — догадался он. — Ну, что же, она, пожалуй, и права. Ведь для девушек эти пустяки так много значат... Разве не они составляют их радости и огорчения, всю поэзию их жизни?»

Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало: площадка оставалась почти не освещенною. Вдруг с обоих ее концов вспыхнули ослепительным голубоватым светом два электрические солнца, до сих пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие пло-

щадку, сразу выдвинулись вперед. Их неподвижные кудрявые ветви, ярко и фальшиво освещенные, стали похожи на театральную декорацию первого плана. За ними, окутанные в серо-зеленую мглу, слабо вырисовывались на совершенно черном небе круглые и зубчатые деревья чащи. Кузнечики в степи, не заглушаемые музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду: и справа, и слева, и сверху.

Бал длился, становясь все оживленнее и шумнее. Один танец следовал за другим. Оркестр почти не отдыхал... Женщины, как от вина, опьянели от музыки и от сказочной обстановки вечера.

Аромат их духов и разгоряченных тел странно смешивался с запахом степной полыни, увядающего листа, лесной сырости и с отдаленным тонким запахом скошенной отавы. Повсюду — то медленно, то быстро колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь... Громкий говор, смех, шарканье ног о песок площадки сплетались в один монотонный и веселый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперед, когда музыка переставала играть.

Бобров все время неотступно следил за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задела его своим платьем. На него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красиво и как будто беспомощно изгибала левую руку на плече своего кавалера и так склоняла голову, как будто бы хотела к этому плечу прислониться... Иногда мелькал край ее нижней белой кружевной юбки, развеваемой быстрым движением, и маленькая ножка в черном чулке с тонкой щиколоткой и крутым подъемом икры. Тогда Боброву становилось почему-то стыдно, и он чувствовал в душе злобу на всех, кто мог видеть Нину в эти моменты.

Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцевавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда ее кавалер, дирижировавший мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру, и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыке и придерживая обеими руками распустившиеся

волосы. Бобров, видевший это с другого конца площадки, тотчас же поспешил за нею следом и стал у дверей... Здесь было почти темно; вся уборная — маленькая дощатая комнатка, пристроенная сзади павильона, — находилась в густой тени. Бобров решился дождаться Нины и во что бы то ни стало заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно билось, пальцы, которые он судорожно стискивал, сделались влажными и холодными.

Через пять минут Нина вышла. Бобров выдвинулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась.

— Нина Григорьевна, за что вы меня так мучите? — сказал Андрей Ильич, незаметно для себя складывая руки умоляющим жестом. — Разве вы не видите, как мне больно. О! Вы забавляетесь моим горем... Вы смеетесь надо мной...

— Я не понимаю, что вам нужно. Я и не думала смеяться над вами, — ответила Нина упрямо и заносчиво.

В ней проснулся дух ее семейства.

— Нет? — уныло спросил Бобров. — Что же значит ваше сегодняшнее обращение со мной?

— Какое обращение?

— Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь от меня... Вам даже самое присутствие мое на вечере неприятно...

— Мне решительно все равно...

— Это еще хуже... Я чувствую в вас какую-то непостижимую для меня и ужасную перемену... Ну, будьте же откровенны, Нина, будьте такой правдивой, какой я вас еще сегодня считал... Как бы ни была страшна истина, скажите ее. Лучше уж для вас и для меня сразу кончить...

— Что кончить? Я не понимаю вас...

Бобров сжал руками виски, в которые лихорадочно билась кровь.

— Нет, вы понимаете. Не притворяйтесь. Нам есть что кончить. У нас были нежные слова, почти граничившие с признанием, у нас были прекрасные минуты, соткавшие между нами какие-то нежные, тонкие узы...

Я знаю, — вы хотите сказать, что я заблуждаюсь... Может быть, может быть... Но разве не вы велели мне приехать на пикник, чтобы иметь возможность поговорить без посторонних?

Нине вдруг стало жаль его.

— Да... Я просила вас приехать... — произнесла она, низко опустив голову. — Я хотела вам сказать... Я хотела... что нам надо проститься навсегда.

Бобров покачнулся, точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело.

— Проститься... — проговорил он задыхаясь. — Нина Григорьевна!.. Слово прощальное — тяжелое, горькое слово... Не говорите его...

— Я его должна сказать.

— Должны?

— Да, должна. Это не моя воля.

— Чья же?

Кто-то подходил к ним. Нина вгляделась в темноту и прошептала:

— Вот чья.

Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку.

— Зачем ты, Нина, убежала от танцев? — сказала она тоном выговора. — Стала где-то в темноте и болтаешь... Хорошее, нечего сказать, занятие... А я тебя ищи по всем закоулкам. Вы, сударь, — обратилась она вдруг бранчиво и громко к Боброву, — вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их беседой tête-à-tête... [1] в темных углах...

Она отошла и увлекла за собою Нину.

— О! Не беспокойтесь, сударыня: вашу барышню ничто не скомпрометирует! — закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать и дочь невольно обернулись.

— Ну! Не говорила я тебе, что это дурак и нахал? — дернула Анна Афанасьевна Нину за руку. — Ему хоть в глаза наплюй, а он хохочет... утешается...

---

[1] Наедине *(франц.)*.

Сейчас будут дамы выбирать кавалеров, — прибавила она другим, более спокойным тоном. — Ступай и пригласи Квашнина. Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки.

— Мама! Да куда же ему танцевать? Он и поворачивается-то насилу-насилу.

— А я тебе говорю: ступай. Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве... Во всяком случае, ему будет приятно.

Точно в далеком, сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку и, улыбающаяся, кокетливая, легкая, остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив набок голову. Василий Терентьевич слушал ее, слегка над ней нагнувшись; вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась, и замотал отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе не свойственной ему живостью догнал ее и, пожав плечами с таким видом, как будто бы хотел сказать: «Ну, уж ничего не поделаешь... надо баловать детей...» — протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. Зрелище Квашнина, танцующего мазурку, обещало быть чрезвычайно комичным.

Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразно величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое pas, что все сразу в нем почуяли бывшего отличного танцора. Глядя на Нину сверху вниз, с гордым, вызывающим и веселым поворотом головы, он сначала не танцевал, а шел под музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой. И огромный рост и толщина, казалось, не только не мешали, но, наоборот, увеличивали в эту минуту тяжеловесную грацию его фигуры. Дойдя до поворота, он остановился на одну секунду, стукнул вдруг каблуком о каблук, быстро завертел Нину на месте и плавно, с улыбающимся снисходительно лицом, пронесся по самой середине площадки на толстых упругих ногах. Пе-

ред тем местом, откуда Квашнин взял Нину, он опять завертел свою даму в быстром, красивом движении и, неожиданно посадив на стул, сам остановился перед ней с низко опущенной головой.

Его тотчас же окружили со всех сторон дамы, упрашивая пройтись еще один тур. Но он, утомленный непривычным движением, тяжело дышал и обмахивался платком.

— Довольно, mesdames... пощадите старика... — говорил он, смеясь и насилу переводя дух. — Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдемте лучше ужинать...

Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями... Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувства унижения, обиды и безнадежной, отчаянной тоски попеременно терзали его. Слез не было, но что-то жгучее щипало глаза, и в горле стоял сухой и колючий клубок... Музыка продолжала болезненно и однообразно отзываться в его голове.

— Батюшка мой! А я-то вас ищу-ищу и никак не найду. Что это вы куда запропастились? — услышал Андрей Ильич рядом с собой веселый голос доктора. — Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили, насилу вырвался... Идем ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе...

— Ах, доктор! Идите один. Я не пойду, не хочется, — через силу отозвался Бобров.

— Не пойдете? Вот так история! — Доктор пристально поглядел в лицо Боброву. — Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскисли, — заговорил он серьезно и с участием. — Ну, уж как хотите, а я вас не оставлю одного. Идем, идем, без всяких разговоров.

— Тяжело мне, доктор. Гадко мне, — ответил тихо Бобров, машинально, однако, следуя за увлекавшим его Гольдбергом.

— Пустяки, пустяки, идем! Будьте мужчиной, плюньте... «Или есть недуг сердечный? Иль на совести гроза?» — неожиданно продекламировал Гольдберг, нежно и крепко обвивая рукой талию Боброва и ласково заглядывая ему в лицо. — Я вам сейчас пропишу универсальное средство· «Выпьем, что ли, Ваня, с

холода да с горя?..» Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьячились... Ах, и пьет же, курицын сын! Точно в пустую бочку льет... Ну, будьте мужчиной, милочка... Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идем, идем!..

Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в павильон. Они уселись рядом. Соседом Андрея Ильича с другой стороны оказался Андреа.

Андреа, еще издали улыбавшийся Боброву, потеснился, чтобы дать ему место, и ласково погладил его по спине.

— Очень рад, очень рад, садитесь к нам поближе, — сказал он дружелюбно. — Симпатичный человек... люблю таких... хороший человек... Коньяк пьете?

Андреа был пьян. Его стеклянные глаза странно оживились и блестели на побледневшем лице (только полгода спустя стало известно, что этот безупречно сдержанный, трудолюбивый, талантливый человек каждый вечер напивался в совершенном одиночестве до потери сознания)...

«А и в самом деле, может быть, станет легче, если выпить, — подумал Бобров, — надо попробовать, черт возьми!»

Андреа дожидался с наклоненной бутылкой в руке. Бобров подставил стакан.

— Та-ак? — протянул Андреа, высоко подымая брови.

— Так, — ответил Бобров с печальной и кроткой улыбкой.

— Ладно! До которых пор?

— Стакан сам скажет.

— Прекрасно. Можно подумать, что вы служили в шведском флоте. Довольно?

— Лейте, лейте.

— Друг мой, но вы, вероятно, выпустили из виду, что это Martel под маркой VSOP — настоящий, строгий, старый коньяк.

— Лейте, не беспокойтесь...

И Бобров подумал с злорадством: «Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется...»

Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки.

— Дитя мое, у вас червяк? — спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва.

— Да, червяк, — уныло покачал головою Андрей Ильич.

— В сердце?

— Да.

— Гм!.. Значит, вы хотите еще?

— Лейте, — сказал Бобров покорно и печально.

Он с жадностью и с отвращением пил коньяк, стараясь забыться. Но странно, — вино не оказывало на него никакого действия. Наоборот, ему становилось еще тоскливее, и слезы еще больше жгли глаза.

Между тем лакеи разнесли шампанское, Квашнин встал со стула, держа двумя пальцами свой бокал и разглядывая через него огонь высокого канделябра. Все затихли. Слышно было только, как шипел уголь в электрических фонарях и звонко стрекотал неугомонный кузнечик.

Квашнин откашлялся.

— Милостивые государыни и милостивые государи! — начал он и сделал внушительную паузу. — Я думаю, никто из вас не усомнится в том искреннем чувстве признательности, с которым я подымаю этот бокал! Я никогда не забуду сделанного мне в Иванкове радушного приема, и сегодняшний маленький пикник благодаря очаровательной любезности посетивших его дам останется для меня навсегда приятнейшим воспоминанием. Пью за ваше здоровье, mesdames!

Он поднял кверху свой бокал, сделал им в воздухе широкий полукруг, отпил из него немного и продолжал:

— К вам, мои ближайшие сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будет носить характер поучения: по летам я старик, сравнительно с большинством присутствующих, а на старика за поучение можно и не обижаться.

Андреа нагнулся к уху Боброва и прошептал:

— Посмотрите, какие рожи делает этот каналья Свежевский.

Свежевский действительно выражал своим лицом самое подобострастное и преувеличенное внимание. Когда Василий Терентьевич упомянул о своей старости, он и головой и руками начал делать протестующие жесты.

— Я все-таки повторю старое, избитое выражение газетных передовых статей, — продолжал Квашнин. — Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы соль земли, что нам принадлежит будущее... Не мы ли опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разверзаем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальные машины? Не мы ли, исполняя силой нашего гения почти невероятные предприятия, приводим в движение тысячемиллионные капиталы?.. Знайте, господа, что премудрая природа тратит свои творческие силы на создание целой нации только для того, чтобы из нее вылепить два или три десятка избранников. Имейте же смелость и силу быть этими избранниками, господа! Ура!

— Ура! Ура! — закричали гости, и громче всех выделился голос Свежевского.

Все встали со своих мест и пошли чокаться с Василием Терентьевичем.

— Гнусная речь, — сказал доктор вполголоса.

После Квашнина поднялся Шелковников и закричал:

— Господа! За здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя и в настоящее время нашего амфитриона: за здоровье Василия Терентьевича Квашнина! Ура!

— Ура-а! — подхватили единодушно все гости и опять пошли чокаться с Квашниным.

Потом началась какая-то оргия красноречия. Произносили тосты и за успех предприятия, и за отсутствующих акционеров, и за дам, участвующих на пикнике, и за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленны и игриво неприличны.

Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое действие: сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде

чем начать говорить, долго и тщетно стучать ножом по стакану. В стороне, на отдельном маленьком столике, красавец Миллер приготовлял в большой серебряной чаше жженку... Вдруг опять поднялся Квашнин, на лице его играла добродушно-лукавая улыбка.

— Мне очень приятно, господа, что наш праздник как раз совпал с одним торжеством семейного характера, — сказал он с обворожительной любезностью. — Поздравимте от всей души и пожелаем счастья нареченным жениху и невесте: за здоровье Нины Григорьевны Зиненко и... — он замялся, потому что позабыл имя и отчество Свежевского... — и нашего товарища, господина Свежевского...

Крики, встретившие слова Квашнина, были тем громче, что сообщаемая им новость оказалась совсем неожиданной. Андреа, услышавший рядом с собою восклицание, более похожее на мучительный стон, обернулся и увидел, что бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием.

— Коллега, вы еще не все знаете, — шепнул Андреа. — Послушайте-ка, я сейчас скажу пару теплых слов.

Он уверенно поднялся, уронив при этом свой стул и расплескав половину бокала, и воскликнул:

— Милостивые государи! Наш многоуважаемый хозяин из весьма понятной, великодушной скромности не докончил своего тоста... Мы должны поздравить нашего дорогого товарища, Станислава Ксаверьевича Свежевского, с новым назначением: с будущего месяца он займет ответственный пост управляющего делами правления общества... Это назначение будет, так сказать, свадебным подарком для молодых от глубокоуважаемого Василия Терентьевича...Я вижу на лице нашего высокочтимого патрона неудовольствие... Вероятно, я нечаянно выдал приготовленный им сюрприз и потому прошу прощения. Но, движимый чувством дружбы и уважения, я не могу не пожелать, чтобы наш дорогой товарищ, Станислав Ксаверьевич Свежевский, и на новом своем поприще в Петербурге оставался таким же деятельным работником и таким же любимым товарищем, как и здесь... Но я знаю, господа, никто из нас не

позавидует Станиславу Ксаверьевичу (он остановился и с едкой насмешкой посмотрел на Свежевского)... и потому что все мы так дружно желаем ему всего хорошего, что...

Речь его была внезапно прервана громким лошадиным топотом. Из чащи точно вынырнул верхом на взмыленной лошади какой-то человек без шапки, с лицом, на котором застыло, перекосив его, выражение ужаса. Это был десятник, служивший у подрядчика Дехтерева. Бросив на средине площадки лошадь, дрожавшую от усталости, он подбежал к Василию Терентьевичу и, фамильярно нагнувшись к его уху, стал что-то шептать... В павильоне сделалось вдруг страшно тихо, и, как раньше, слышно было только шипение угля и назойливый крик кузнечика.

Красное от вина лицо Квашнина побледнело. Он нервно поставил на стол бокал, который держал в руке, и вино из бокала расплескалось по скатерти.

— А бельгийцы? — спросил он отрывисто и хрипло.

Десятник отрицательно замотал головой и опять зашептал что-то под самым ухом Квашнина.

— А, черт! — воскликнул вдруг Квашнин, вставая с места и комкая в руках салфетку. — Надо же было... Подожди, ты сейчас же отвезешь на станцию телеграмму к губернатору. Господа, — громко и взволнованно обратился он к присутствующим, — на заводе — беспорядки... Надо принимать меры, и... и, кажется, нам лучше всего будет немедленно уехать отсюда...

— Так я и знал, — презрительно, со спокойной злобой сказал Андреа.

И в то время, когда все засуетились, он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил себе в стакан коньяку.

XI

Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это

еще больше усилило общее смятение... В темноте послышались истерические женские крики.

Было около пяти часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело, предвещая своим серым, однообразным тоном начало ненастного дня. Бледный, тусклый, однообразный полусвет занимающегося утра, так быстро и неожиданно сменивший яркое сияние электричества, придавал картине общего смятения страшный, удручающий, почти фантастический характер. Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью, взволнованные лица были страшны. Обеденный стол, залитый вином и беспорядочно загроможденный посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве.

Около экипажей суматоха была еще безобразнее: испуганные лошади храпели, взвивались на дыбы и не давались зануздывать; колеса сцеплялись с колесами, и слышался треск ломающихся осей; инженеры выкрикивали по именам своих кучеров, озлобленно ругавшихся между собою. В общем, получалось впечатление того оглушительного хаоса, который бывает только на больших ночных пожарах. Кого-то переехали или, может быть, раздавили. Был слышен вопль.

Бобров никак не мог отыскать Митрофана. Раза два или три ему послышалось, будто его кучер отзывается на крик откуда-то из самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее.

Вдруг в темноте вспыхнул высоко над толпой красным пламенем огромный керосиновый факел. Послышались крики: «С дороги! С дороги! Посторонитесь, господа! С дороги!» Стремительная человеческая волна, гонимая сильным напором, подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросив с ног, и плотно прижала между задком одной пролетки и дышлом другой. Отсюда Бобров увидел, как между экипажами быстро образовалась широкая дорога и как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей Квашнин. Факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную

фигуру Василия Терентьевича зловещим, точно кровавым, дрожащим светом.

Вокруг его коляски выла от боли, страха и озлобления стиснутая со всех сторон обезумевшая толпа... У Боброва что-то стукнуло в висках. На мгновение ему показалось, что это едет вовсе не Квашнин, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество, вроде тех идолов восточных культов, под колесницы которых бросаются во время религиозных шествий опьяневшие от экстаза фанатики. И он задрожал от бессильного бешенства.

Когда проехал Квашнин, сразу стало немного свободнее, и Бобров, обернувшись назад, увидел, что дышло, давившее ему спину, принадлежало его же собственной пролетке. Митрофан стоял около козел и зажигал факел.

— Скорей на завод, Митрофан! — крикнул Андрей Ильич, садясь. — Чтоб через десять минут поспеть, слышишь!

— Слушаю-с, — ответил мрачно Митрофан.

Он обошел пролетку кругом, чтобы влезть на козлы, как подобает всякому хорошему кучеру, справа, разобрал вожжи и прибавил, полуобернувшись назад:

— Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не серчайте.

— Ах, все равно...

Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей и выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил вожжи. Застоявшиеся, возбужденные лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинных, протянувшихся поперек дороги корнях, раскатывалась на ухабах и сильно накренялась то на левый, то на правый бок, заставляя и кучера и седока балансировать.

Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним метались вокруг пролетки длинные, причудливые тени деревьев... Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролеткой в какой-то нелепой пляске. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинских размеров, то вдруг падали на землю и, бы-

стро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва, то забегали на несколько секунд в чащу и опять внезапно появлялись около самой пролетки, то сдвигались тесными рядами и покачивались и вздрагивали, точно перешептываясь о чем-то между собою... Несколько раз ветви частого кустарника, окаймлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперед руки.

Лес кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то луже, в которой запрыгало и зарябилось багровое блестящее пламя факела, и вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстилалось черное, однообразное поле.

— Да погоняй же, Митрофан, мы с тобой никогда не доедем! — крикнул Бобров нетерпеливо, хотя пролетка и без того неслась так, что дыхание захватывало. Митрофан проворчал что-то недовольным басом и ударил кнутом Фарватера, скакавшего, изогнувшись кольцом, на пристяжке. Кучер недоумевал, что сделалось с его барином, всегда любившим и жалевшим своих лошадей.

На горизонте огромное зарево отражалось неровным трепетанием в ползущих по небу тучах. Бобров глядел на вспыхивающее небо, и торжествующее, нехорошее злорадство шевелилось в нем. Дерзкий, жестокий тост Андреа сразу открыл ему глаза на все: и на холодную сдержанность Нины в продолжение нынешнего вечера, и на негодование ее мамаши во время мазурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьевичу, и на все слухи и сплетни, ходившие по заводу об ухаживании самого Квашнина за Ниной... «Так и надо ему, так и надо, рыжему чудовищу, — шептал Бобров, ощущая такой прилив злобы и такое глубокое сознание своего унижения, что даже во рту у него пересохло. — О, если бы мне теперь встретиться с ним лицом к лицу, я бы надолго смутил самодовольный покой этого покупателя свежего мяса, этого грязного, жирного мешка, битком набитого золотом. Я бы оставил хорошую печать на его медном лбу!..»

Чрезмерное количество выпитого сегодня вина не опьянило Андрея Ильича, но действие его выразилось в

необычайном подъеме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движения... Сильный озноб потрясал его тело, зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискивать челюсти, мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как в горячке. Андрей Ильич, незаметно для самого себя, то разговаривал вслух, то стонал, то громко и отрывисто смеялся, между тем как пальцы его сами собой крепко сжимались в кулаки.

— Барин, да вы никак больны? Нам бы домой ехать, — сказал несмело Митрофан.

Эти слова вдруг привели Боброва в неистовство, и он закричал хрипло:

— Не разговаривай, дурак!.. Гони!..

Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный молочно-розовым дымом. Сзади, точно исполинский костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур. Еще издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доменных печей то резко и отчетливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нем. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурной воде большого четырехугольного пруда. Высокая плотина этого пруда вся сплошь, без просветов, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно подвигалась вперед и, казалось, кипела. И необычайный — смутный и зловещий — гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы.

— Куда тебя несет, дьявол! Не видишь разве, что едешь на людей, сволочь! — услыхал Бобров впереди грубый окрик, и на дороге, точно вынырнув из-под лошадей, показался рослый бородатый мужик, без шапки, с головой, сплошь забинтованной белыми тряпками.

— Погоняй, Митрофан! — крикнул Бобров.

— Барин! Подожгли, — услышал он дрожащий голос Митрофана.

Но тотчас же он услышал свист брошенного сзади камня и почувствовал острую боль удара немного выше правого виска. На руке, которую он поднес к ушибленному месту, оказалась теплая, липкая кровь.

Пролетка опять понеслась с прежней быстротой. Зарево становилось все сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому косогору и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит с отвесной кручи в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать места, по которому проезжал. Вдруг лошади стали.

— Ну, чего же ты остановился, Митрофан? — раздражительно закричал Бобров.

— А куда ж я поеду, коли впереди люди? — отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе.

Бобров, как ни всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то черной неровной стены, над которою пламенело небо.

— Каких ты там еще людей видишь, черт возьми! — выругался он, слезая с пролетки и обходя лошадей, покрытых белыми комьями пены.

Но едва он отошел пять шагов от лошадей, как убедился, что то, что он принимал за черную стену, была большая, тесная толпа рабочих, запружавшая дорогу и медленно, в молчании подвигавшаяся вперед. Пройдя машинально вслед за рабочими шагов пятьдесят, Андрей Ильич повернул назад, чтобы найти Митрофана и объехать завод с другой стороны. Но ни Митрофана, ни лошадей на дороге не было. Митрофан ли поехал в другую сторону отыскивать барина, или сам Бобров заблудился — понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера — никто ему не откликался. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих и с этой целью опять повернулся и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но, странно, рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор.

Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному, крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева; в груди при каждом вздохе ощущалась острая боль; кровь

сильными, частыми ударами била в темя; ушибленный висок нестерпимо ныл...

Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он продолжал карабкаться наверх, ежеминутно падая, ссаживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных болезненных снов. И панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабканье по насыпи — все было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары.

Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне, во время молебна, группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный, он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное: ноги его вдруг болезненно ослабли, в груди и в брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение, лоб и щеки сразу похолодели. Потом все повернулось перед его глазами и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину.

Андрей Ильич очнулся от обморока по крайней мере через полчаса. Внизу, у подножия насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная, жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доменным печам. Голова его была так тяжела, что с трудом держалась на плечах, больной висок при каждом движении причинял невыносимую боль. Ощупывая рану, он опять почувствовал пальцами липкое и теплое прикосновение крови. Кровь была также у него во рту и на губах: он слышал ее соленый, металлический вкус. Сознание еще не вполне вернулось к нему, и усилие вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная, беспредметная злоба переполняли его душу...

Утро заметно уже близилось. Все было серо, холодно и мокро: и земля, и небо, и тощая желтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий и, как это случается иногда при осо-

бенно сильных душевных потрясениях, говорил сам с собою вслух. Ему хотелось удержать, привести в порядок разбегавшиеся мысли.

— Ну, скажи же, скажи, что мне делать? Скажи ради бога, — страстно шептал он, обращаясь к кому-то другому, *постороннему,* как будто сидевшему внутри его. — Ах, как мне тяжело! Ах, как мне больно!.. Невыносимо больно!.. Мне кажется, я убью себя... Я не выдержу этой муки...

А другой, *посторонний,* возражал из глубины его души, также *вслух,* но насмешливо-грубо:

— Нет, ты не убьешь себя. Зачем перед собой притворяться?.. Ты слишком любишь ощущение жизни, для того чтобы убить себя. Ты слишком немощен духом для этого. Ты слишком боишься физической боли. Ты слишком много размышляешь.

— Что же мне делать? Что же мне делать? — шептал опять Андрей Ильич, ломая руки. — Она такая нежная, такая чистая — моя Нина! Она была у меня одна во всем мире. И вдруг — о, какая гадость! — продать свою молодость, свое девственное тело!..

— Не ломайся, не ломайся; к чему эти пышные слова старых мелодрам, — иронически говорил *другой.* — Если ты так ненавидишь Квашнина, поди и убей его.

— И убью! — закричал Бобров, останавливаясь и бешено подымая кверху кулаки. — И убью! Пусть он не заражает больше честных людей своим мерзким дыханием. И убью!

Но *другой* заметил с ядовитой насмешкой:

— И не убьешь... И отлично знаешь это. У тебя нет на это ни решимости, ни силы... Завтра же опять будешь благоразумен и слаб...

Среди этого ужасного состояния внутреннего раздвоения наступали минутные проблески, когда Бобров с недоумением спрашивал себя: что с ним, и как он попал сюда, и что ему надо делать? А сделать что-то нужно было непременно, сделать что-то большое и важное, но что именно, — Бобров забыл и морщился от боли, стараясь вспомнить. В один из таких светлых промежутков он увидел себя стоящим над кочегарной ямой. Ему тотчас же с необычайной яркостью вспом-

нился недавний разговор с доктором на этом самом месте.

Внизу никого из кочегаров не было: все они разбежались. Котлы давно успели охладеть. Только в двух крайних топках еще рдел еле-еле каменный уголь... Безумная мысль вдруг, как молния, мелькнула в мозгу Андрея Ильича. Он быстро нагнулся, свесил ноги вниз, потом повис на руках и спрыгнул в кочегарку.

В куче угля была воткнута лопата. Бобров схватил ее и торопливыми движениями принялся совать уголь в оба топочные отверстия. Через две минуты белое бурное пламя уже гудело в топках, а в котле глухо забурлила вода. Бобров все бросал и бросал, лопату за лопатой, уголь; в то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые, бессмысленные восклицания. Болезненная, мстительная и страшная мысль, мелькнувшая еще там, на дороге, овладевала им все более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему все более живым и ненавистным.

Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Клокотание котла и гудение топок становилось все грознее и громче.

Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряженностью, кровь из раны потекла по щеке теплой струей. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний, *посторонний,* голос заговорил громко и насмешливо:

— Ну, что же, остается сделать одно еще движение! Но ты его не сделаешь... Basta...[1] Ведь все это смешно, и завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы.

Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей Ильич пришел в заводскую больницу.

---

[1] Хватит, довольно (*итал.*).

Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным рукомойником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления.

— Что с вами, Андрей Ильич, на вас лица нет? — проговорил он с испугом.

Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих местах угольною пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях; волосы падали беспорядочными прядями на лоб.

— Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось? — повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки и подходя к Боброву.

— Ах, это все пустяки... — простонал Бобров. — Ради бога, доктор, дайте морфия... Скорее морфия, или я сойду с ума!.. Я невыразимо страдаю!..

Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно притворив дверь, сказал:

— Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает... Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам... Но... голубушка моя, — в голосе доктора послышались слезы, — милый мой Андрей Ильич... не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов стоило побороть эту поганую привычку! Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию... вы уже больше никогда... понимаете, никогда не отстанете.

Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба:

— Все равно... мне все равно, доктор... Я не могу больше выносить.

Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с правацовским шприцем. Через пять минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном, исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмывал его голову.

ЧАРЫ

— Неужели вам до сих пор не наскучило приставать ко мне с одним и тем же вопросом?.. А еще называете себя моим верным другом... Разве верные друзья бывают так нескромны, чтобы спрашивать у женщины, кого она в своей жизни любила? Что вы говорите? Ревность? Ай, ай, ай! Как не стыдно! Разве вы не помните нашего уговора, что после первого намека с вашей стороны на нежные чувства я отзываю послов и объявляю между нами войну?

А впрочем... возьмите щипцы и помешайте уголья в камине... Впрочем, если уж на то пошло, я расскажу вам трагикомическую историю моего первого увлечения. Только я заранее беру с вас слово не смеяться... Это было бы мне очень грустно.

Начало истории очень романтично. Представьте себе великосветский бал, салон, залитый огнями, ряды декольтированных дам вперемежку с расшитыми мундирами и безупречными фраками мужчин. И вот на эстраде, сплошь загороженной зеленью, высоко над морем человеческих голов появляется «он». Черные кудри падают на плечи, черные, бархатные, сверхъестественные глаза смотрят вперед с холодным величием, рука — длинная, выхоленная, прекрасная рука артиста небрежно обтирает платком деку скрипки и потом также небрежно бросает этот платок на рояль. Тишина... робкие аккорды прелюдии... сердце замирает в каком-то слад-

ком ужасе, когда первые звуки вторгаются в него с нежной настойчивостью. Нет больше ни сияющей залы, ни наставлений «maman», ни чопорных соседей, остаются только звуки и вдохновенные, то страстные, то горящие мрачным огнем, то ликующие глаза.

Дальше представьте себе наивную, только что начавшую выезжать девушку-институтку, с головой, набитой романтическим вздором, жаждой необычайного и возвышенного... Одним словом, завязка для вас выяснилась. Не правда ли?

Мой скрипач был très répandu [1] в высшем свете, который так жадно бросается на все новое, выдающееся и наделавшее шума. Ему давали прозвания «второго Паганини» и «второго Сарасате», его нарасхват приглашали на вечера, перед ним заискивали. Дамы находили в нем что-то демоническое.

Сойдя с эстрады, он держался в обществе безукоризненно-импонирующим образом. Сколько раз, глядя на его задумчивый и гордый профиль, я с мучительным любопытством думала о его интимной жизни, о людях, которые его окружают, о его многочисленных победах женских сердец. Я уже знала из книжек, что великие люди осуждены на вечное одиночество в шумном мире. И я мечтала... впрочем, мало ли о каких глупостях может мечтать взбалмошная девичья голова.

Однажды я решилась написать ему письмо (конечно, с вымышленною подписью и с просьбой ответить в почтамт «до востребования»), дикое, восторженное письмо. Он ответил, и между нами завязалась переписка, из которой я еще раз убедилась в справедливости книжного афоризма. Мой артист глядел на жизнь с усталостью и презрением, не примиряясь с людской пошлостью, мелочностью, завистью и непониманием порывов творческой души. При этом он изливался в благодарностях чуткому женскому сердцу, оценившему его. Нечего и говорить, что это чуткое женское сердце принадлежало мне.

Летом переписка прекратилась, потому что мы уехали на дачу. Maman нарочно выбрала очень

[1] Широко известен *(франц.)*.

отдаленную от города местность. Она находила, что после утомительного зимнего сезона мне необходимо подкрепить свои силы свежим воздухом деревни. Впрочем, я думаю, тут имели значение и экономические интересы.

Нашим ежедневным гостем сделался кавалерийский генерал с прекрасным будущим, представительный и свежий сорокалетний холостяк. Он был очень занимателен и любезен; и я находила только, что его волосы и брови могли бы менее отливать фиолетовой краской.

Генерал возил мне цветы и конфеты. Maman не раз с очень прозрачной хитростью заводила разговор о том, какую хорошую он представляет партию для девушки с неособенно большим приданым. Когда же генерал в разговоре называл себя с раскатистым смехом стариком, она энергично и досадливо протестовала.

Но мое сердце было переполнено демоническим артистом. «Если не он, то никто!» — решила я с той бесповоротностью, которая составляет преимущество семнадцатилетних романтических героинь. И, наверно, я осталась бы при своем решении, если бы не случилось маленького неприятного обстоятельства.

Однажды мы возвращались домой, сделав прогулку по роще и напившись там молока: я, maman и наш генерал. Я отстала. Они не заметили этого, потому что были всецело заняты соображениями: в какой степени родства находилась кузина генерала с зятем maman.

Когда я проходила мимо маленькой, затонувшей в густой зелени акаций дачи, до слуха моего донесся знакомый, сразу взволновавший меня голос. Любопытство было так сильно, что я (хотя моя совесть и возмутилась против этого) остановилась и, скрытая кустами зелени, стала прислушиваться и наблюдать.

Боже мой! Прежде всего я увидела «его», моего кумира, мою демоническую натуру, моего гордого гения, моего «Сарасате и Паганини» вместе. Он сидел перед террасой, около круглого зеленого стола. На коленях у него держался ребенок месяцев трех-четырех, с бессмысленным, сморщенным лицом и головой, качающейся во все стороны. Против него толстая женщина без корсета, в сером платье, засаленном на груди, ва-

рила на переносной печке варенье. Четверо других детей — трое мальчиков и девочка — толпились около дымящегося таза, время от времени украдкой облизывая ложки с настывавшим на них сиропом. Картину дополняли еще две женщины, сидевшие около того же круглого зеленого стола: старушка лет восьмидесяти, вязавшая чулок, и горбатая женщина, скорее девушка, с птичьим лицом, но очень похожая на моего «Паганини», которая, то приближая, то удаляя от глаз младенца блестящий стакан, заставляла его вскрикивать, пускать ртом пузыри и тянуться вперед руками. Глядя на эту невинную забаву, и толстая женщина, и старушка с чулком, и сам «Паганини» улыбались блаженными улыбками, улыбками счастливого отца, довольной матери и бабушки, пользующейся в доме заслуженным почетом. При этом мой демонический музыкант с любовной заботливостью вытирал какой-то грязной тряпкой мокрые губы и нос своего ребенка.

Вдруг, повинуясь притягательной силе моего пристального взгляда, музыкант повернул голову. Я видела только, как его лицо покрылось густой краской, как его руки инстинктивно протянулись, чтобы дать дитя горбатой девушке. Что было дальше, я не знаю, не помню... я бросилась бежать, бежать и бежать, унося в сердце нестерпимую боль стыда, жалости и злобы...

Ну, а развязку вы, конечно, знаете. Через полгода я стала женой представительного кавалерийского генерала.

ПЕРВЕНЕЦ[1]

Это случилось в Москве. Мне только что минуло семнадцать лет — возраст, в котором жизнь литератора представляется торжественным путем к славе, усыпанным розами и лаврами. Вступить на этот путь казалось мне верхом счастья, доступного смертному.

Я теперь не помню ясно содержания моего первого рассказа. Если не ошибаюсь, в нем говорилось о том, что было прекрасное майское утро, что молодой и красивый человек, по имени Вольдемар, влюбился в это утро в девицу Людмилу, исполненную необыкновенных достоинств, и что девица Людмила изменила самым коварным образом Вольдемару ради кавалерийского офицера. Рассказ назывался «Ранние слезы».

Переписав «Ранние слезы» по крайней мере раз восемь, я отнес их поэту Венкову, который часто бывал у нас в доме и благоволил ко мне. Поэт Венков писал одновременно почти во всех русских газетах и журналах и обладал изумительной способностью повсюду втискивать гражданскую идею. Если он описывал грозу, то непременно в конце стихотворения выражал надежду, что и над дорогой родиной когда-нибудь «разойдутся нависшие тучи». Вид водопада напоминает ему плененную мысль, разбившую насильственные оковы.

Я и теперь совершенно точно припоминаю его характерную физиономию: яйцевидное лицо, все изрытое оспой и постоянно склоненное набок, жиденькая, бес-

порядочная, трясущаяся бороденка песочного цвета, длинный нос, подслеповатые глаза и высокий конический лоб, по обе стороны которого падали на плечи прямые редкие волосы. Он никогда не присаживался и постоянно ходил по комнате из угла в угол, причем так широко и смешно расставлял свои кривые ноги, как будто бы находился на палубе корабля во время бури. Если же это бывало дома, то, сделав три-четыре конца от одного угла до другого, он каждый раз подходил к небольшому шкафчику, отворял его, доставал оттуда графинчик с настойкой и две рюмки (одну для себя, другую для собеседника), пил со страшными гримасами на лице и, спрятав настойку обратно в шкаф, продолжал ходить своей морской походкой по комнате.

Иван Лиодорович принял мой рассказ очень снисходительно и обещал куда-нибудь пристроить, хотя наверно не ручался за успех. Но и этого туманного обещания было для меня гораздо более чем достаточно.

Однако прошел месяц, и другой, и третий, рассказ давно уже находился в редакции «Московского иллюстрированного листка», а между тем судьба его была покрыта мраком неизвестности. Вероятно, за это время я порядком-таки надоел бедному Ивану Лиодоровичу. Каждую среду и субботу — нас по этим дням отпускали из училища домой — я неизменно являлся к нему. В моих глазах он всегда читал один и тот же жадный вопрос и ничем не мог меня успокоить, кроме неопределенных увещаний, что «надо подождать, потерпеть... нельзя же сразу... Редакция прямо завалена рассказами». Ужасные слова: редакция завалена рассказами! Но ведь то другие, посторонние, неинтересные рассказы, а не мои «Ранние слезы»...

Счастье пришло, как и всегда оно приходит, в то время, когда я всего менее ожидал. Однажды в воскресенье я был оставлен без отпуска за единицу, полученную мною *по предмету военной фортификации* (наука, одно название которой и теперь еще заставляет меня вздрагивать). В девять часов вечера стали один за другим являться отпускные юнкера. Кто-то сказал мне — я в то время был в курилке: «Калинин пришел из отпуска и ищет вас». Меня это сообщение немного

удивило: с Калининым, хлыщеватым и глупым малым, мы до сих пор почти ни разу не разговаривали. Зачем я мог ему понадобиться?

Мы встретились на лестнице, ведущей из курилки в роту. В руках у Калинина был длинный бумажный сверток.

— Пэслюшайте, — сказал Калинин, коверкая, по обыкновению, фатовским манером свою речь, — кэкой-то «шпак» (на нашем языке это означало штатский) просил меня передать вам вот эту штуку.

Он сунул мне в руки бумажный сверток.

— Какой шпак? — спросил я, сконфузившись за «шпака».

— Не знаю... Дэвольно гнусного вида... Остановил меня на улице и спрашивает, не знэком ли я с вами. Я говорю — знэком. Так передайте, говорит, п'жэлста.

Сверток издавал сильный запах типографской краски. Сердце замерло у меня в груди от какого-то сладкого предчувствия. Я нетерпеливо развернул бумагу и увидел два номера «Иллюстрированного листка».

Впоследствии нередко были в моей жизни моменты очень большого счастия. Но еще ни разу до сих пор не испытывал я такого сильного наплыва восторга, как в ту минуту, когда мои глаза увидели эти правильные строчки черных букв, отчетливо напечатанных на белой глянцевитой бумаге. Припадок обуявшей меня радости носил даже несколько дикий характер, и я не сумел ее выразить не чем иным, как безумными скачками через пять ступенек сразу. Прибежав в спальню, я продолжал бесноваться, прыгая через кровати и табуретки. Наконец, успокоившись немного, я опустил вниз висячую лампу с контрабажуром и развернул «Листок»... Но строчки прыгали перед моими глазами, и буквы сливались в черные полосы.

Нужно было во что бы то ни стало поделиться с кем-нибудь моей радостью. Увидав кого-то из более мне близких товарищей, я бросился к нему:

— Посмотри... вот здесь... в журнале... мой рассказ напечатан.

Я задыхался от волнения. Что же касается до него, он изумился и обрадовался гораздо менее, чем я ожидал.

— Ну? Неужели? — спросил он довольно равнодушным тоном и протянул руку за номером.

Он стал читать, а я, обняв его сзади, заглядывал через его плечо в дорогие строки. Он читал довольно медленно. Какое-то ревнивое чувство вдруг овладело мною.

— Подожди, я тебе дам потом, я еще сам не прочел, — сказал я, вырывая от него «Листок».

Но едва я отошел от него, как потребность сообщить еще кому-нибудь о моем блаженстве опять неудержимо заговорила во мне. Я показал «Листок» по крайней мере десяти товарищам. Все они старались казаться заинтересованными, но, к моему великому огорчению, их участие не удовлетворяло меня.

Наконец вокруг меня собралась порядочная кучка оповещенных. Кто-то попросил прочесть вслух, и я начал голосом, прерывающимся от волнения и недавней беготни, с давно знакомой красивой фразы:

«Было прекрасное майское утро...»

Когда я кончил, слушатели выразили снисходительное одобрение.

— Интересно будет прочитать критику, — заметил чей-то уверенный голос.

Тем временем моя аудитория привлекла новых любопытных. Узнав, в чем дело, они тоже выразили желание послушать, и я во второй раз с тем же удовольствием прочел свое произведение.

И каждый раз, когда я снова начинал его читать, я находил в нем все новые красоты. Но мне и этого было мало. Я заставлял читать вслух других, а сам прислушивался с закрытыми глазами, стараясь вообразить себя посторонним человеком.

На другой день меня подозвал к себе Дрозд — мой ротный командир.

— Дайте мне сейчас то, что вы там намарали, — приказал он суровым тоном.

Я притворился непонимающим.

— Что такое, господин капитан?

— Там вы... чепуху какую-то написали в газетишке, дайте ее сюда... и без разговоров...

Нечего было делать: я принес ему один номер «Листка». Он развернул его и, ткнув пальцем в мои инициалы С. и М., спросил:

— Это?

— Это, господин капитан, — ответил я с гордым достоинством.

— Ступайте в карцер, — произнес ротный командир, разрывая драгоценный номер вдоль страниц. — И если это повторится в следующий раз, вы будете исключены из училища.

Я пошел в карцер. Поступок Дрозда с номером «Листка» хотя и возмущал меня до глубины души, но я уже знал и утешал себя сознанием, что двигатели просвещения всегда терпели и будут терпеть несправедливые нападки невежественной толпы.

Я отсидел двое суток, но мне не было скучно, потому что со мною был оставшийся в живых номер «Листка», и я читал свой рассказ запоем. Я даже прочел его вслух моему тюремному сторожу, сверхсрочному унтер-офицеру, который выразил свое одобрение восклицанием: «Ловко!»

С той поры прошло много, очень много лет. Я уже по опыту знаю, что на литераторском пути гораздо более терний, чем роз, и, получая номер со своим произведением, не радуюсь ему, а спокойно считаю количество строк. Но в моей душе иногда шевелится жгучая зависть к тогдашней наивной радости и светлой вере.

ВИКТОРИЯ

Стемнело. В гостиной, куда все четверо перешли пить кофе, еще не зажигали огня. Маленький уголок, который хозяйка дома, баронесса Эйзендорф, кокетливо называла «своим убежищем», совсем потонул в темноте. Холеные латании, фениксы и филодендроны перепутались над головами сидящих, точно свод какой-то экзотической беседки. От красноватого света уличных фонарей их длинные листья бросали на потолок фантастически красивый, дрожащий узор. Из столовой, где еще горели свечи, бежала по полу, прорвавшись сквозь дверную щель, узкая и длинная светлая полоска, невольно притягивавшая к себе глаза.

Сидевшие в «убежище» — две женщины и двое мужчин — составляли дружескую, тесную компанию на несколько циничном взаимном покровительстве в области флирта. Все они были молоды, красивы, независимы и богаты. Баронесса вдовела уже четвертый год и часто говорила, что никогда больше не выйдет замуж, потому что пользоваться радостями жизни гораздо удобнее и приятнее, будучи вдовою. Ее приятельница Бэтси не имела причин ей в этом завидовать, хотя и была замужем за очень важным, очень старым и очень снисходительным сановником. Обе дамы представляли своими лицами и фигурами интересный контраст. Баронесса — пышная, томная и ленивая брюнетка, чувственная на вид, но в сущности более неж-

ная, чем страстная — кидалась всякому в глаза своей тяжелой красотой. Бэтси с первого взгляда не поражала, но в ней при более близком знакомстве чувствовалось такое очарование прихотливого и острого ума, такая неотразимая прелесть нервной, пылкой и больной натуры, безумно жгущей свою жизнь с обоих концов, что число ее поклонников далеко превосходило число поклонников баронессы. Она была мала ростом, с изящной, тонкой фигуркой, блондинка, с нездоровым ярким румянцем, с громадными серыми глазами и с нервным подергиванием в правом углу рта. Она очень часто меняла свои привязанности. В настоящее время ее «рабом» был гвардейский офицер — князь Чхеидзе, ревнивый, глупый и необыкновенно красивый грузин. За баронессой же ухаживал Санин — молодой присяжный поверенный, «восходящее светило криминальной адвокатуры», как его величали судебные хроникеры газет.

— Ах, кстати, — сказала баронесса, закидывая назад голову и обращаясь к адвокату, — я совсем забыла вас поблагодарить за цветы, которые вы мне вчера прислали... прелестный букет!

Она в это время лежала на кушетке, усталая от шумно проведенного дня и отяжелевшая от шампанского, выпитого за обедом. Санин сидел сзади баронессы, облокотившись на спинку ее кушетки.

— Вы, должно быть, заснули там в уголку, monsieur Georges? — продолжала баронесса. — Вы слышите, что̀ я говорю?

Санин лениво повернул к ней голову.

— Слышу, слышу... прелестный букет?.. Очень рад, если он вам понравился...

— Ах, я обожаю цветы! Что может быть лучше? И вы как будто бы угадали мой вкус: ландыши, фиалки и сирень... Все такие нежные, тонкие ароматы... Бэтси, ты любишь цветы?

— О да, конечно, — ответила Бэтси, тихо покачиваясь в большом вольтеровском кресле. — Но только мне больше нравятся одуряющие, нежные запахи... Например, я люблю цветы магнолии, померанцевые цветы... Они пахнут так сильно, так сладко, что у меня

является желание их есть. Но все-таки любимый мой цветок — тубероза. Он меня опьяняет, точно гашиш... Когда я слишком долго слышу его аромат, мной овладевают какие-то необъяснимые, чудные галлюцинации... Потом, конечно, наступает головная боль.

— А вы, князь? Какой цветок вы любите больше всего? — спросила баронесса.

Князь, который более всего в мире заботился о том, чтобы его считали остряком, и который о каждой своей остроте предупреждал смехом, вдруг резко и отрывисто захохотал.

— Я совсем не люблю цветов. Я больше люблю самые плоды.

— Animal, que vous êtes! [1] — воскликнула Бэтси и ударила Чхеидзе веером по руке. — Говорите серьезно.

В темноте послышался звук, похожий на поцелуй, и князь сказал приторным голосом, каким всегда «восточные человеки» говорят комплименты:

— Самый прекрасный цветок роза. Она похожа на вас, Бэтси.

Баронесса опять закинула голову, чтобы увидать Санина.

— А вы, monsieur Georges, отчего же не скажете, какой ваш любимый цветок? — спросила она.

— Мой цветок?

Санин задумался.

По лицу его вдруг скользнула какая-то не то грустная, не то нежная тень. По-видимому, он вспомнил что-то очень далекое.

— Нарцисс, — ответил он наконец.

— Нарцисс? Фи! Он такой вульгарный цветок.

— Нет, это цветок влюбленных. Знаете, как о нем говорят на Востоке?

И Санин произнес протяжным голосом:

Я шлю тебе нарцисс. По цвету листьев он
Походит на того, кто до смерти влюблен.
В нем аромат, как в деве в час свиданья,
И бледность юноши в минуту расставанья.

---

[1] Ну, что за животное! *(франц.)*

— Это деликатный, наивный, задумчивый цветок. У него такой нежный, еле слышный, пряный запах. Он растет на бледно-зеленом хрупком стебле и, сорванный, вянет, не доживая до утра.

— Ах, боже мой, как чувствительно! — сказала насмешливо баронесса. — Вероятно, у вас с этим задумчивым цветком связаны какие-нибудь деликатные воспоминания?

— Как же. Есть и воспоминания.

— Расскажите, пожалуйста... Это, должно быть, забавно.

— Да, да, расскажите, monsieur Санин, — попросила Бэтси. — Это очень интересно.

— Да тут, собственно, и рассказывать-то нечего, — сказал Санин, подавляя притворную зевоту. — Просто — глупые воспоминания молодости... Я был студентом тогда и, конечно, сильно нуждался. Прочел я как-то в газетных объявлениях, что ищут на лето в отъезд репетитора-студента. Я и поехал в один крошечный уездный городишко, на юг России. Помню, что дорогою я все думал: каковы эти люди, с которыми мне придется провести целое лето? Стану ли я к ним в отношения члена семьи, или меня будут третировать, как «наемника»? О том семействе, куда я ехал, я знал только одно: что там есть гимназист приготовительного класса, которого я должен был подготовить к дальнейшему курсу.

Мой патрон встретил меня на вокзале, и встретил с таким теплым и простым радушием, что все мои опасения мигом рассеялись. Да и одна его наружность успокоила бы всякого. Он был один из тех людей, про которых Сервантес говорит: «Толстый — следовательно, добрый человек». Все в нем дышало неисчерпаемым добродушием, кротостью, здоровым юмором и хорошим аппетитом. Его звали Матвеем Кузьмичом. В городе он занимал место уездного врача. Лет ему было за пятьдесят и, пожалуй, сильно за пятьдесят.

По дороге с вокзала домой Матвей Кузьмич сказал мне:

— Я должен вас, батенька, об одной вещи предупредить (батенька — было его любимое, ласкательное

обращение). Знаете, чтобы не вышло какой-нибудь этакой неприятности... Жена у меня — немая... Как родила второго ребенка — мертвого, так с тех пор и лишилась языка... Но слух у нее остался прекрасный... Так вот я и говорю, батенька, чтобы как-нибудь не этого... Ну, да вы меня сами понимаете.

Приехали мы. Одноэтажный домик, белый, под зеленой крышей, с чистенькими стеклами, самого веселого и приветливого вида. Большая терраса сплошь затянута зеленью дикого винограда. Глядя издали на такие дома, всегда почему-то чувствуется, что в них люди живут тихой и уютной жизнью.

На террасе нас встретила Виктория Ивановна — хозяйка дома. Несмотря на весьма понятное чувство жалости, которое она во мне возбуждала, я невольно остановился перед ней, пораженный ее странной красотой: такими рисуют художники-символисты ангелов. Представьте себе высокую и тонкую — именно воздушную фигуру, необыкновенно белое, почти без теней лицо и длинные, египетского очерка, глаза, полные молчаливой грусти и в то же время загадочные, как у сфинкса. Надет был на Виктории Ивановне белый костюм какого-то фантастического покроя, весь в продольных складках.

— Витя, представляю тебе такого-то, — сказал Матвей Кузьмич, подводя меня к жене. — Это — студент, будущий Колин репетитор.

Она пристально поглядела на меня, молча наклонила голову и медленно протянула мне руку, прикосновение которой заставило меня вздрогнуть, точно от внезапного предчувствия.

Чем дальше я наблюдал Викторию Ивановну, тем загадочнее она для меня становилась. В ней было, повидимому, полное равнодушие к жизни и ко всем ее проявлениям. И утром, и вечером, и за обедом, и во время прогулок я ее видал все с одним и тем же лицом, на котором как будто бы навек застыло тоскливое выражение... Только к своей прекрасной наружности и к своему всегда фантастическому туалету относилась она с особенной, тщательной заботливостью. Она любила,

более чем всякая женщина в мире, смотреть в зеркало и простаивала перед ним чрезвычайно долго.

У нее не было, как это бывает у большинства немых, желания во что бы то ни стало говорить с окружающими. Азбуки немых на пальцах она, по-видимому, не знала, а к жестам прибегала очень редко. Зато она с болезненной страстностью любила музыку и целые вечера проводила за фортепиано. Играла Виктория прекрасно, но, что бы она ни исполняла, — всегда вкладывала в произведение один и тот же отпечаток затаенной, молчаливой тоски.

Интересно и трогательно было видеть отношение Матвея Кузьмича к жене. Этот большой, толстый человек, годившийся ей по годам в отцы, держался с нею точно виноватый и любящий ребенок. Кажется, не было ни одного желания, ни одного каприза, которого бы он тотчас же не исполнил, если бы этот каприз пришел в голову Виктории. Но Виктория принимала его нежное и внимательное ухаживание со своим обычным тоскливым равнодушием, и лишь изредка, при особенно настойчивых расспросах о здоровье, между ее бровей появлялась чуть заметная нетерпеливая морщинка. Этого бывало совершенно достаточно для того, чтобы Матвей Кузьмич мгновенно исчезал с испуганным видом из комнаты.

Прошло недели две или три.

Необыкновенное чувство, испытанное мною при первом знакомстве с немой хозяйкой, не проходило. Наоборот, между мной и ею создалась какая-то таинственная, ненормальная связь. Стоило ей хотя мельком посмотреть на меня сзади, я в ту же секунду чувствовал на себе ее взгляд и оборачивался не инстинктивно, как это бывает обыкновенно, — но с полной уверенностью, что именно она на меня смотрит. Мы с ней никогда ни о чем не говорили (мало ли сколько способов можно было найти для обмена мыслей), но если я читал что-нибудь вслух или рассказывал о чем-нибудь, я всегда знал, что она сидит тут же, рядом, и не отводит от меня своих удивительных глаз. Когда же она в сумерках садилась за фортепиано, я забивался подальше, в темный угол, и слушал ее, и был готов без конца слушать... Эта

странная духовная связь не походила на начинающийся флирт: в ней было что-то неестественное, жуткое...

Однажды в начале июня, как теперь помню, в воскресенье, день выдался особенно жаркий... И люди и животные дышали с трудом. В густом раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза, но гроза не приходила.

Наступил вечер. Отблеск потухающей зари придавал тяжелым сизым тучам кровавый оттенок. Темнело поразительно быстро. Я стоял на террасе, прислонившись к столбу, объятый тем ноющим томлением, которое всегда овладевает мною перед грозой... Вдруг привычная, властная сила заставила меня быстро обернуться назад... Рядом со мной стояла Виктория. Затем произошло нечто непостижимое, ужасное... Я до сих пор не знаю, почему это случилось: виновато ли во всем электрическое напряжение близкой грозы, или я прочел в ее глазах страстный призыв, — наши руки сплелись в диком объятии, и наши губы встретились долго и мучительно-сладко.

Мы ничего не сказали друг другу — ни словом, ни жестом. Очнувшись от этого внезапного поцелуя, Виктория освободилась из моих рук, вынула из-за корсажа свои маленькие часы и показала мне сначала цифру XII, а потом на окно. При этом она знаком показала мне, что если я постучусь, то окно отворится.

Около одиннадцати часов гроза утихла. Я вышел на улицу, взволнованный мыслью о предстоящем свидании и об его необычайности. Небо было ясно, чисто и казалось бездонным. Луна светила с какой-то назойливой яркостью. Посредине улицы лежали резкие черные тени домов. Воздух был насыщен острым запахом послегрозовой свежести и тягучим ароматом белой акации.

Проходя палисадником, я заметил грядку нарциссов, белевших в темноте, нагнулся и, сорвав один, вдел его в петличку сюртука. Потом, тихо скользнув в полуотворенную калитку, я подошел к окну, выходящему из спальни Виктории в палисадник.

Окно было затворено, и, приникнув к нему лицом, я ничего не мог разглядеть, кроме черной мглы. Удерживая дыхание, я постучал еле слышно в стекло. Окно медленно и беззвучно отворилось.

И вдруг я увидел перед собою всего в каком-нибудь полуаршине лицо Матвея Кузьмича, бледное, взволнованное лицо, с глазами, неестественно блестевшими от яркого лунного света.

Я инстинктивно схватился за палку.

— Оставьте. Не делайте глупостей, — сказал он со спокойной горечью в голосе. — У жены теперь нервный припадок. Проходите кругом на террасу. Я сейчас там буду. Нам надо поговорить.

Ошеломленный, уничтоженный, взбирался я по ступеням террасы. Матвей Кузьмич уже ждал меня.

— Садитесь, — указал он на скамейку и сам опустился рядом со мной.

В темноте мы не видели лиц друг друга, но я чувствовал, что с моего лица не сходит горячая краска.

— Видите ли, — сказал Матвей Кузьмич ровным голосом, в котором, однако, слышалось подавленное страдание, — видите ли, я знал, что жена назначила вам сегодня ночью свидание, и я не хотел этому мешать.

— Почему? — спросил я шепотом.

— Почему? Позвольте этого вам не объяснять. Скажу только одно: вот уже четвертый год я — ее муж только по имени. И я не помешал бы вам сделать поступок, недостойный вас, если бы с Викторией Ивановной не случился нервный припадок... Понимаете: она не вынесла этих волнений в продолжение нескольких часов, и теперь с ней истерика.

Я молчал, а Матвей Кузьмич продолжал с тем же деланным спокойствием:

— Я вам и завтра не буду мешать. Я не принадлежу к числу ревнивцев, защищающих свое счастье с револьвером в руках... Да я в силу некоторых обстоятельств и не имею на это нравственного права... Живите у нас на каких угодно основаниях... Делайте что угодно... только... только, прошу вас... не обращайте

меня в сказку города. Мне это было бы слишком тяжело...

— Нет, на это я никогда не соглашусь, — возразил я, тронутый его самоотверженными словами.

— Да? Не согласитесь? — В голосе Матвея Кузьмича послышалось радостное возбуждение. — Не согласитесь?.. Вы не поверите, как мне отрадно это слышать... Ведь вы с первого раза произвели на меня впечатление такого честного человека... Я почти был уверен, что вы не согласитесь.

— Конечно же, не соглашусь.

— Ну, а теперь — самое последнее... Вам остается взять ее с собою. В ее согласии и сомневаться нечего. Она за вами пойдет хоть на край света. Хотите вы этого?

Я не ответил ни звука. Я не знал, что мне сказать.

— Делайте, как вы найдете лучшим. Все зависит от вас. Я не имею права ни советовать, ни отговаривать, хотя должен сказать, что Викторию Ивановну я обожаю, даже больше — я молюсь на нее... Но я позволю себе сказать только одно... Попробуйте вы обратиться к своей совести и к своему уму. Через год, ну, скажем, через два, не станет ли вам в тягость вечная совместная жизнь с немой женщиной, с уродом?.. Я сам за вас отвечу — да. А если так, то одно из двух: или вам жизнь сделается несносным бременем, или, что еще хуже, вы бросите Викторию — и тогда до конца ваших дней вы не избавитесь от сознания сделанного вами жестокого и несправедливого поступка. Я ее знаю. Она никогда не вернулась бы ко мне после этого...

Слезы щипали мои глаза. Я поднялся со скамейки.

— Простите меня, Матвей Кузьмич, — сказал я, ища в темноте его руку. — Я уезжаю завтра.

В темноте я не видел его лица. Но пожатие его руки было так крепко и искренно, что с моей души точно скатился камень.

Санин замолчал.

— И это все? — спросила через минуту баронесса.

— Все, — отвечал Санин.

Баронесса рассмеялась принужденным, нервным смехом, в котором слышалось ревнивое чувство.

— Очень интересный роман. Как это поэтично: немая Пентефрия и целомудренный студент!

Санин нагнулся, взял руку баронессы, поцеловал ее и сказал извиняющимся тоном:

— Ах, баронесса, это ведь было так давно...

ПРАПОРЩИК АРМЕЙСКИЙ

Предисловие

Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожи на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского. Между книгами попадались письма и бумаги, большею частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольно толстая пачка, обернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего приятеля. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной, шершавой бристольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листков стояла подпись: «Кэт», а на некоторых — просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма Кэт писаны приблизительно в одно

и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за двадцать пять до наших дней. Не зная, что сделать со своей находкой, приятель переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателей, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков вроде кавычек, скобок.

5 сентября. Скука, скука и еще раз скука!.. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятия в роте:

— Ефименко, что такое часовой?

— Часовой — есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.

— Почему же он лицо неприкосновенное?

— Потому, что до его нихто не смие доторкнуться, ваше благородие.

— Садись. Ткачук, что такое часовой?

— Часовой — есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.

И так без конца...

Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадается в супе мозговая кость — это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое... Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-льба шеренгою».

Сколько раз начинал я этот самый дневник... Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь и которая теперь так же, как и я, томится от тоски.

Разве я не имею права на счастье? Я не глуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен, хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское. Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте.

В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтоб потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но возможно ярче и полнее... Однако дни проходили за днями, по-прежнему тягучие и однообразные... Необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным сором при переезде на новую квартиру.

7 сентября. Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и роты одна за другой уходят копать бураки у окрестных помещиков; остались только наша да 11-я. Город точно вымер. Эта пыльная и душная жара, это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым ораньем петухов, — раздражают и угнетают меня...

Право, мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо тяжелыми! Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании! Вот и в настоящую минуту я представляю себе: раннее утро... солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двухскатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском... Бивуак ожил и закопошился... Слышится беготня, сдержанные сердитые голоса, лязг

ружей, ржанье обозных лошадей. Сделав над собой усилие, выползаешь из-под мохнатого одеяла, шерсть которого сделалась сверху совсем мокрой от ночной росы, выползаешь прямо на воздух, потому что в низкой палатке стоять нельзя, а можно только лежать или сидеть. Денщик, только что усердно раздувавший своим сапогом жестяной самовар-паучок (что ему, конечно, строжайше запрещено), кидается за водой и приносит ее прямо из ключевого ручья в медном походном котелке. Раздевшись до пояса, умываешься на чистом воздухе и видишь, как от рук, от лица и от тела вьется тонкий розоватый парок... Кое-где, между палатками, офицеры устроили импровизированные костры из той самой соломы, на которой провели ночь, и расселись вокруг, ежась от холода и торопливо глотая горячий чай. Еще несколько минут — и палатки сняты: на том месте, где только что раскидывался «бел город полотняный», валяются лишь в беспорядке пучки соломы и куски бумаги... Гам встревоженного бивуака растет. Все поле кишит солдатскими фигурами в белых рубахах, с серыми скатанными шинелями через плечо. Сначала кажется, что в этой серой муравьиной суете нет никакого порядка, но опытный взгляд заметит, как из нее образуются мало-помалу густые кучки и как постепенно каждая кучка развертывается в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бегут к своим ротам, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с патронными сумками. Еще минута — и роты, брякнув одна за другой ружьями, сходятся на средину поля в правильный огромный четырехугольник.

А потом утомительный тридцати-сорокаверстный переход. Солнце подымается все выше и выше. К восьми часам утра жара уже дает себя заметно чувствовать, солдаты начинают скучать и поют неохотно, стройные ряды разрозниваются. Пыль с каждой минутой становится гуще, она окутывает длинным желтым облаком всю колонну, медленно, на протяжении целой версты, извивающуюся вдоль дороги; она садится коричневым налетом на солдатские рубахи и на солдатские лица, на темном фоне которых особенно ярко, точно у негров,

блестят белки и зубы. В густой запыленной колонне трудно отличить солдата от офицера. Также на время как будто ослабевает между ними иерархическая разница, и тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его метким взглядом на всевозможные явления, — даже на такие сложные, как корпусный маневр, — с его практичностью, с его уменьем всюду и ко всему приспособляться, с его хлестким образным словом, приправленным крупной солью, которую пропускаешь между ушей. Что бы и кто бы ни встретился по дороге: хохол в широких белых шароварах, лениво идущий рядом с парой сивых круторогих волов, придорожная корчма, еврейская «балагула», бархатное поле, распаханное под озими, — все вызывает его пытливые вопросы и замечания, дышащие то глубоким, почти философским пониманием простой обыденной жизни, то резким сарказмом, то неудержимым потоком веселья...

Начинает темнеть, когда полк подходит к месту ночлега. Видны уже кашевары около больших дымящихся ротных котлов, расставленных в поле, в стороне от дороги... Стой!.. Ружья в козлы!.. В один миг поле покрывается стройными рядами белых шалашиков... И вот через час или два опять лежишь под дырявым полотном, сквозь которое видны яркие мерцающие звезды на темном небе, и прислушиваешься, как угомоняется постепенно сонный лагерь. И еще долго-долго слышатся откуда-то издали отдельные звуки, смягчаемые грустной тишиной вечера: то коснется до слуха однообразное пиликанье гармоники, то сердитый, без сомнения фельдфебельский голос, то внезапно вырвавшееся звонкое ржание жеребенка... А сено, лежащее под головой, примешивает в это время свой тонкий аромат к резкому, горьковатому запаху росистой травы.

8 сентября. Сегодня мой «ротный», Василий Акинфиевич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы. Он заключил для роты очень выгодное условие — чуть не по $2^1/_2$ копейки за пуд — с управляющим господина Обольянинова. Работа будет заключаться в копании бураков для местного свекло-сахарного завода. Она неутомительна для

солдат, и исполняют они ее очень охотно. Все эти обстоятельства, должно быть, и привели ротного в такое радужное настроение духа, что он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, буде я соглашусь ехать, уступает в мою пользу полтора рубля из выговоренных им для себя суточных денег. Другие командиры рот никогда еще не проявляли по отношению к субалтерн-офицерам такого великодушия.

Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфиевичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность. Во время ротного учения он, не стесняясь солдатами, кричит на младшего офицера: «Поручик, извольте держать равнение! Идете, точно отец дьякон в похоронной процессии!» Если это и остроумно, то зато безжалостно и нетактично.

С солдатами Василий Акинфиевич изволит иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него господа взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой мере исправления. Солдаты его любят и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфиевич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже и собственных рублей двадцать пять в месяц прибавит, что Василий Акинфиевич своего в обиду не даст, а, наоборот, за него хоть с самим полковым погрызется. Знают все это, и я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфиевичем, не колеблясь, хоть на самую очевидную смерть.

Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему «благородному». В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом франтовстве, манерничанье, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородный» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки и притом отчаянно фатовским тоном, так что у него выходит нечто вроде «бэгэрэдный». Впрочем, надо оговориться, что Василий Акинфиевич тянул служебную лямку с солдатских чинов. А в ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским

бурбонам от завитых и напомаженных армейских моншеров.

С людьми он сходится туго, как и всякий закоренелый холостяк, но, полюбив кого-нибудь, открывает ему, вместе с карманом, свою наивную, добрую и чистую душу. Но, даже и открывая душу, Василий Акинфиевич не перестает ни на минуту сквернословить, — это тоже его дурная черта.

Меня он, кажется, по-своему любит — я все-таки недурной фронтовик. В минуты денежного кризиса я свободно черпаю из его кошелька, и он никогда не торопит отдачей долга. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапором. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки любят его употреблять в ласкательно-игривом смысле, в память дней своей юности.

Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на мелочные заботы об антабках и трынчиках. Жаль мне бедности его мысли, никогда даже не интересовавшейся тем, что делается за этим узеньким кругозором. Жаль мне его, одним словом, той жалостью, что невольно охватывает душу, если долго и пристально глядишь в глаза очень умной собаки...

Я ловлю себя... А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль?.. Нет, Василий Акинфиевич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни, вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые и красные морды, что смотреть весело... А я?..

Я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня? Управляющий... у него жена, две дочки, два-три соседних помещика, может быть, маленький романчик?..

Завтра выступаем.

11 сентября. Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию «Конский брод». Оказалось, что управляющий имения, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за Василием Акинфиевичем

и за мной коляску. Черт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком! Четверня цугом породистых, прекрасных лошадей, резиновые шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе, а на козлах здоровенный детина, одетый не то казачком, не то грумом: в клеенчатом картузе и в красном шарфе вместо пояса. До Ольховатки верст восемь. Дорога чудная: с обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы возов, нагруженных доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфиевич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около ста тысяч пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности если принять во внимание, что Обольянинов — единственный хозяин предприятия.

В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая — Бергер, но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он похож на того Фальстафа, которого я видел где-то на выставке, кажется в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию генерального штаба. Толст он необычайно, жир так и сквозит, так и лоснится у него на отвислых щеках, покрытых сетью мелких красных жилок; волосы на голове — короткие, прямые, с проседью, усы торчат воинственными щетками, короткая эспаньолка под нижней губой; глаза под густыми взъерошенными бровями, быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул; губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого, беззастенчивого и очень наблюдательного человека. При этом он, должно быть, глух, потому что в разговоре отчаянно кричит.

Я думаю, Бергер нам искренно обрадовался. Таким людям, как он, собеседник и собутыльник нужнее воздуха. Он ежеминутно подбегал то ко мне, то к капитану, обнимал нас за талию и все приговаривал: «Милости просим, господа, милости просим». Василию Акинфиевичу он, к моему немалому удивлению, понравился. Мне — тоже.

Бергер проводил нас во флигель, где нам приготовлены четыре комнаты, снабженные всем нужным и ненужным с такой щедрой заботливостью, как будто бы мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на три. Капитан, по-видимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны хозяев. Только один раз, именно, когда Бергер, выдвинув ящик письменного стола, показал поставленную для нас целую коробку длинных ароматных сигар, Василий Акинфиевич пробурчал вполголоса:

— Ну, уж это лишнее... это уж бэгэрэдство и всякая такая вещь. (Я и забыл упомянуть об его привычке прибавлять чуть ли не к каждому слову: «и всякая такая вещь». Вообще он не из красноречивых капитанов.)

Вводя нас, так сказать, во владение, Бергер очень много суетился и кричал. Мы его усиленно благодарили. Наконец он, по-видимому, устал и, обтирая лицо огромным красным платком, спросил: не нужно ли нам еще чего-нибудь? Мы, конечно, поспешили его уверить, что нам и так всего более чем достаточно. Уходя, Бергер сказал:

— Сейчас я вам пришлю казачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам.

Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодной телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер.

— Кушаете? Ну и прекрасно, — сказал он. — А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Еще мой покойный фатер воспитывал его лет двадцать в своем собственном имении... У нас под Гайсином собственное имение было... Вы не думайте, пожалуйста: мы, Бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Собственно, у меня есть даже права на баронский титул, но... к чему?.. Дворянские гербы любят позолоту, а на нашем

она давно стерлась. Милости прошу, господа защитники престола и отечества!

Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности он извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана каламянкового пиджака, я скорее склонен думать, что старое венгерское воспитывалось в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино — действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жесты их обычной выразительности и делает неповоротливым язык, но голова остается все время ясной, а дух — веселым.

Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о его оранжерее и конюшнях, о жалованье, которое он платит служащим. Самого себя Бергер сначала отрекомендовал главноуправляющим всеми делами. Но через полчаса он проболтался: оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстаф занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель Ольховатской усадьбы, попросту — эконом, и получает девятьсот рублей в год на всем готовом, кроме платья.

— И куда столько добра одному человеку! — воскликнул наивно капитан, видимо пораженный теми колоссальными цифрами *наших* доходов и *наших* расходов, которыми так щедро сыпал Фальстаф.

Фальстаф сделал лукавое лицо.

— Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек, — он игриво ткнул меня большим пальцем в бок, — ну-ка, возьмите да женитесь... Тогда и меня, старика, не забудете...

Я спросил с небрежным видом человека, видавшего виды:

— И хорошенькая?

Фальстаф так и побагровел от хохота.

— Ага! Забирает? Прекрасно, воин, прекрасно... Атака с места в карьер. Тра-там-та-та-та. Люблю, когда по-военному. — Потом он вдруг, точно от нажима пружинки, сразу перестал смеяться и прибавил: — Как

вам сказать?.. На чей вкус... Уж очень она того... субтильна. Жидка больно...

— Бэгэрэдство! — вставил капитан, скривив рот.

— Этого сколько угодно. Гордая. Соседей знать не хочет. У! Бедовая. Прислуга ее пуще огня боится... И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побранила бы. И — никогда! Принесите то-то. Сделайте то-то... Ступайте... И все это так холодно, не шевеля губами!

— Бэгэрэдство! — сказал капитан и презрительно шмыгнул носом.

Так мы просидели часов до одиннадцати.

Под конец Фальстаф совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это, по правде сказать, сильно расстраивает мои планы.

Странное дело: как ужасно долго тянется день на новом месте и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. Вот я пишу теперь эти строки, и мне кажется, что я уже давным-давно, по крайней мере месяца два, живу в Ольховатке и что моя уставшая память никак не может зацепиться ни за одно событие.

12 сентября. Сегодня я осмотрел почти всю Ольховатскую экономию... Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, пáлац, — одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя львами на подъезде. Вчера он мне показался не таким большим, как сегодня. Перед домом разбиты клумбы; дорожки между ними посыпаны красным песком; посредине фонтан и блестящие шары на тумбах, вокруг — легкий забор из проволочной колючей решетки. За домом — флигель, службы, скотный и птичий дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на трехчетырех десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди.

Я впервые в моей жизни живу так близко, бок о бок, с людьми, тратящими на себя в год десятки, может быть, даже сотни тысяч, с людьми, почти не знающими, что значит «не мочь» чего-нибудь. Блуждая без всякой цели по саду, я никак не мог оторвать мыслей от этого непонятного, чуждого мне и в то же время такого привлекательного существования. Что это за люди? Так ли они думают и чувствуют, как и мы? Чувствуют ли они преимущество своего положения? Приходят ли им в голову те будничные мелочи, которые гнетут нашу жизнь, знают ли они о том, что мы испытываем, соприкасаясь с их высшим миром? Я склонен думать, что они все-таки ни о чем этом не думают и никаких пытливых вопросов себе не задают, и серое однообразие нашей жизни им кажется таким же неинтересным, таким же естественным и таким же для нас привычным и незаметным, каким кажется мне мировоззрение хотя бы моего денщика Пархоменки. Это все, конечно, в порядке вещей, но моя гордость почему-то бунтуется. Меня возмущает сознание, что в обществе этих людей, отшлифованных и вылощенных вековой привычкой к роскоши и утонченному этикету, «я», именно «я», а не кто другой, буду смешон, дик, даже неприятен моей манерой есть и жестикулировать, моими выражениями и наружностью, может быть, вкусами и знакомствами... Одним словом, во мне ропщет человек, созданный по образу и по подобию божию, но — или потерявший то и другое с течением времени, или обокраденный кем-то...

Воображаю, как фыркнул бы мой Василий Акинфиевич, если бы я ему прочитал вслух эти размышления!

13 сентября. Хотя сегодня и роковое число — чертова дюжина, но день выдался очень интересный.

Я опять бродил сегодня по саду. Не помню, где я вычитал сравнение осенней природы с той изумительной неожиданной прелестью, какую иногда приобретают лица молодых женщин, обреченных на верную и скорую смерть от чахотки. Нынче это странное сравнение не выходит у меня из головы...

В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих кленов. Под

ногами шуршат желтые, мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пестро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зеленые ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпурный. Небо густое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор. И во всем этом ярком празднике смерти чувствуется безотчетная томная грусть, от которой сердце сжимается медленной и сладкой болью.

Я шел вдоль длинной аллеи акаций, сплетающихся над головой сплошным полутемным сводом. Вдруг до моего слуха коснулся женский голос, говоривший что-то с большим оживлением и смехом. На скамейке, в том месте, где густая стена акаций образовывала что-то вроде ниши, сидели две девушки. (Я так сразу и подумал, что это девушки. Потом мое предположение сразу оправдалось.) Их лиц я не успел хорошенько рассмотреть, но заметил, что у старшей, брюнетки, задорный, сочный тип малороссиянки, а младшая выглядывает подростком, на голове у нее небрежно накинут белый шелковый платок, надвинутый углом на лоб и потому скрывающий волосы и всю верхнюю часть лица. Но мне все-таки удалось увидеть ее смеющиеся розовые губы и веселое сверкание белых зубов в то время, когда, не замечая моего приближения, она продолжала рассказывать на английском языке что-то, вероятно, очень забавное своей соседке.

Некоторое время я колебался: идти ли мне дальше, или вернуться? И если идти, то кланяться им или нет? Мною опять овладели вчерашние сомнения плебейской души. С одной стороны, думал я, эти девушки если не здешние хозяйки, то, наверное, — гостьи, я в некотором роде тоже гость и потому с ними равноправен... Но, с другой стороны, позволяет ли Герман Гоппе в своих правилах светского такта кланяться незнакомым дамам? Не покажется ли барышням мой поклон смешным, или, что еще хуже, не сочтут ли они его за знак подчиненности служащего, «наемного человека»? И то и другое представлялось мне одинаково ужасным.

Однако, размышляя таким образом, я продолжал подвигаться вперед. Брюнетка первая услышала шум сухих листьев под моими ногами и что-то быстро шепнула барышне в шелковом платке, указывая на меня глазами.

Поравнявшись с ними, но не глядя на них, я прикоснулся пальцами к фуражке и не увидел, а скорее почувствовал, что обе они медленно и едва заметно наклонили головы. Они следили за мной, когда я удалялся: это я узнал по той сковывавшей движения неловкости, которую я всегда испытываю от устремленных на меня сзади пристальных взглядов. На самом конце аллеи я обернулся. В ту же секунду, как это часто бывает, обернулась в мою сторону и барышня в белом платке. До меня донеслось какое-то английское восклицание и звонкий смех. Я покраснел. И восклицание и смех относились несомненно к моей особе.

Вечером опять приходил Фальстаф, на этот раз с каким-то изумительным коньяком, и опять рассказывал что-то невероятное о своих предках, участвовавших в крестовых походах. Я его спросил как будто бы нечаянно:

— Вы не знаете, кто эти две барышни, которых я встретил сегодня в саду? Одна брюнетка, такая свеженькая, а другая, почти девочка, в светло-сером платье?

Он широко улыбнулся, отчего все лицо его сморщилось, а глаза совершенно исчезли, и лукаво погрозил мне пальцем:

— Ага! Попался на удочку, сын Марса! Ну, ну, ну, не сердись... не буду, не буду... А все-таки интересно?.. А?.. Ну, уж так и быть, удовлетворю ваше любопытство. Которая помоложе — это молодая барышня, Катерина Андреевна, вот, что я вам говорил, наследница-то... Только какая же она девочка? Разве что на вид такая щупленькая, а ей добрых лет двадцать будет...

— Неужели?

— Да-а! Если еще не больше... У! Это такой бесенок... Вот брюнеточка — так она в моем вкусе... этакая сдобненькая, — Фальстаф плотоядно причмокнул губами, — люблю таких пышечек. Ее звать Лидией Ива-

новной... Простая такая, добрая девушка, и замуж ей страсть как хочется выскочить... Она Обольяниновым какой-то дальней родственницей приходится, по матери, но бедная, — вот и гостит теперь на линии подруги... А впрочем, ну их всех в болото! — заключил он неожиданно и махнул рукой. — Давайте коньяк пить.

С последним доводом я не мог внутренно не согласиться. Что мне за дело до этих девушек, с которыми я сегодня увиделся, а завтра мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда даже не услышать друг о друге?

Поздно ночью, по уходе Фальстафа (казачок опять почтительно поддерживал его за талию), когда я уже был в постели, Василий Акинфиевич пришел ко мне в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и со свечой в руке.

— А ну-ка, объясните мне, умный человек, одну штуку, — сказал он, зевая и почесывая волосатую грудь. — Вот нас и кормят здесь всякими деликатесами, и винищем этим самым поят, и казачка приставили, и сигары, и всякая такая вещь... А к столу, к своему-то, нас ведь не приглашают. Отчего бы это? Разрешите-ка...

И, не дожидаясь моего ответа, он продолжал язвительным тоном:

— Оттого, батенька вы мой, что все эти бэгэрэдные люди и всякая такая вещь... претонкие дипломаты... Да-с... У них какая манера? Я ихнего брата хорошо изучил, шатаясь по вольным работам. Он и любезен с тобой и обед тебе сервирует (справедливость требует сказать, что капитан выговорил: «сельвирует»), и сигарка, и всякая такая вещь... а ты все-таки чувствуешь, что он тебя рассматривает, как червяка низменного... И заметьте, поручик, это только настоящие, большие «алистократы» (здесь он уже умышленно, для иронии, исковеркал слово) такое обращение с нашим братом имеют. А какой поплоше да посомнительнее, тот больше форсит и ломается: сейчас стеклышко в глаз, губы распустит и думает, что птица... Ну, а у настоящих — первое дело простота... Потому что им и ломаться нечего, когда у них в крови презрение живет к нашему брату...

И выходит очень естественно и прелестно, и всякая такая вещь...

Окончив эту обличительную речь, Василий Акинфиевич повернулся ко мне спиной и ушел в свою комнату.

Что ж? Ведь он, по-своему, пожалуй, и прав. Но я все-таки нахожу, что хохотать вслед незнакомому человеку — как будто бы немножко нетактично.

14 сентября. Сегодня я опять встретил их обеих и опять — в саду. Они шли обнявшись. Маленькая положила голову на плечо подруги и что-то напевала с полузакрытыми глазами. При виде их у меня тотчас мелькнула мысль, что мои случайные прогулки могут быть истолкованы в дурную сторону. Я быстро свернул по первой боковой дорожке. Не знаю, заметили меня барышни или нет, но очевидно, что мне надо для прогулок выбрать другое время, иначе я рискую показаться назойливым армейским кавалером.

15 сентября. Вечером Лидия Ивановна уехала на станцию. Должно быть, в Ольховатку она больше уже не вернется, потому, во-первых, что следом за ней повезли изрядное количество багажа, а во-вторых, — она и хозяйская барышня очень уж долго и трогательно прощались перед расставанием. Кстати, при этом случае я впервые увидел из своего окна самого Андрея Александровича и его жену. Он — совсем молодчина: стройный, широкоплечий, с осанкой старого гусара; седые волосы на голове острижены под гребенку, подбородок — бритый, усы — длинные, пушистые и серебряные, а глаза — точно у ястреба, только голубого цвета, а то такие же круглые, впалые, неподвижные и холодные. Жена производит впечатление запуганной и скромной особы: она держит голову немного набок, и с губ ее не сходит не то виноватая, не то жалостливая улыбка. Лицо желтое и доброе. Вероятно, она в молодости была очень красива, но зато теперь кажется гораздо старше своих лет. На балконе также появилась какая-то сгорбленная старушенция в черной наколке и зеленых буклях, — вышла, опираясь на палку и еле волоча за собою ноги, хотела, кажется, что-то сказать, но закашлялась, замахала с отчаянным видом палкой и опять скрылась.

16 сентября. Василий Акинфиевич просил меня присмотреть за работами до тех пор, пока он не оправится от внезапных припадков своего балканского ревматизма. «В особенности, — говорил он, — наблюдайте внимательно за приемкой бураков, потому что солдаты и так уж жалуются, что у здешних десятников берковцы чересчур полные. Я, по правде говоря, побаиваюсь, как бы в конце концов не вышло между теми и другими какого-нибудь крупного недоразумения».

Солдаты работали по трое. Они уже практическим путем выработали такую сноровку. Один копачом выковыривает бураки из почвы, двое ножами обрезают их и обчищают от земли. Тройки эти составляются обыкновенно из работников равной силы и ловкости, плохого нет расчета принимать — только другим будет помехой.

Читал я, — не помню где, кажется, что в «Разведчике», — соображения какого-то досужего мыслителя, будто от вольных работ нет никакой пользы: только одежда рвется да солдат распускается... И вовсе это неправда... Нигде нет такого доверчивого, почти родственного согласия между начальником и солдатом, как на вольных работах. И уж если согласиться с тем, что и нижнему чину нужны каникулы среди его тяжелой военной науки, то ведь лучшего отдыха для него, как любимый полевой труд, не сыскать. Только надо, чтобы все заработанные деньги шли солдату без всяких посредников... Где у человека чешется, он сам об этом знает.

А работают наши прекрасно: нанятым крестьянам и вполовину за ними не угнаться. Только Замошников, по обыкновению, ничего не делает. Замошников — это любимец и баловень всей роты, начиная от капитана и кончая последним рядовым — Никифором Спасобом (этот Спасоб — со своей хромой ногой и бельмом на правом глазу — уже четвертый год представляет собою ходячее и вопиющее недоразумение военной службы). Правда, Замошников за всю свою службу никак не мог выучить по азбуке Гребенюка гласных букв, а в «словесности» проявляет редкую, исключительную тупость, но такого лихого запевалы, мастера на все руки, ска-

зочника и балагура не сыщется во всем полку... Он, по-видимому, хорошо сознает свою роль и смотрит на нее, как на некоторого рода служебную обязанность. На походе он поет без передышки, и его хлесткие, забористые слова часто заставляют приставших солдат сочувственно гоготать и нравственно встряхиваться. Василий Акинфиевич хотя и держит Замошникова чаще, чем других, под ружьем, за что тот вовсе не в претензии, но признавался мне как-то, что такой затейщик в военное время да при трудных обстоятельствах — чистая драгоценность.

Однако Замошников вовсе не плоский шут и не лодырь, и за это-то я его особенно люблю. Просто жизнь в нем кипит неудержимым ключом и не дает ему ни минуты посидеть спокойно на месте.

Вот и нынче: пробираясь от партии к партии и дойдя, наконец, до бабьего участка, он затеял с хохлушками длинный разговор, благодаря которому ближние солдаты побросали работу и катаются от хохота по земле. Я еще издали слышу, как он подражает то пискливой и стремительной бабьей ругани, то ленивому говору старого хохла... Увидев меня, он делает озабоченное лицо, шарит по земле и спрашивает: «Ну, а кто из вас, землячки, загубил моего копача?» Я кричу на него, стараясь принять строгий вид. Он вытягивается в струнку, держась, как и всегда пред начальством, с грациозной молодцеватостью, но в его добрых голубых глазах еще дрожит огонек недавнего смешливого задора...

17 сентября. Наше знакомство состоялось, но состоялось при самых исключительно комических условиях. Что скрываться пред собой — я втайне очень желал этого знакомства, но если б я мог предчувствовать, что оно произойдет так, как оно сегодня произошло, я бы от него отказался.

Местом действия опять-таки был сад. Я уже писал, что там есть озеро с круглым островком посредине, заросшим густым кустарником. На ближнем к дому берегу построена небольшая каменная пристань, а около нее привязана на цепи длинная плоскодонная лодка.

В этой-то лодке и сидела Катерина Андреевна, когда я проходил мимо. Держась обеими руками за борта и перегибаясь телом то на одну, то на другую сторону, она старалась раскачать и сдвинуть с места тяжелую лодку, глубоко всосавшуюся в илистое дно. На ней был матросский костюм с широким вырезом на груди, позволявшим видеть белую тонкую шею и худенькие ключицы, резко выступавшие от мускульного напряжения, и тоненькую золотую цепочку, прятавшуюся под платьем... Но я взглянул только мимоходом и, сделав полупоклон, с прежним скромным достоинством отвернулся. В это время женский голос, свежий и веселый, вдруг крикнул:

— Пожалуйста, будьте так добры!

Я сначала подумал, что это восклицание относится к кому-нибудь другому, идущему сзади меня, и даже невольно обернулся назад... Но она смотрела именно на меня, улыбалась и энергично кивала мне головой.

— Да, да, да... вы, вы. Будьте так добры, помогите мне чуть-чуть сдвинуть эту противную лодку. У меня одной не хватает сил.

Я отвешиваю самый галантный поклон, нагнув вперед туловище и слегка приподняв назад левую ногу, стремительно сбегаю к воде и делаю вторичный, такой же светский поклон. Воображаю, хорош я был! Барышня стоит в лодке, продолжает смеяться и говорит:

— Столкните ее немножко... Потом уж я сама справлюсь.

Я берусь обеими руками за нос лодки, широко расставляю для устойчивости ноги и предупреждаю с изысканной вежливостью:

— Потрудитесь присесть, mademoiselle... Толчок может выйти очень сильным.

Она садится и глядит на меня в упор смеющимися глазами и говорит:

— Право, мне так совестно, что я злоупотребляю вашей добротой...

— О, это такие пустяки, mademoiselle!..

Ее внимание придает моим движениям уверенную грацию. Я — хороший гимнаст и от природы обладаю

достаточной физической силой. Но лодка не двигается, несмотря на все мои старания...

— Лучше не трудитесь, — слышу я нежный голосок. — Это, должно быть, слишком тяжело... и может повредить вам... Право, мне так...

Неоконченная фраза виснет в пространстве... Сомнение в моих силах удесятеряет их... Мощное усилие — толчок — бух!.. Лодка летит, как стрела, и я, по всем законам равновесия, шлепаюсь ничком в тину.

Когда я встаю, то чувствую, что у меня и лицо, и руки, и белоснежный китель, только что надетый в это утро, — все покрыто сплошным слоем коричневой, вязкой и вонючей грязи. В то же время я вижу, что лодка быстро скользит по самой середине озера и что со дна ее поднимается упавшая во время толчка со скамейки девица... Первый предмет, кидающийся ей в глаза, — я. Неистовый хохот оглашает весь сад и сто раз повторяется в чаще деревьев... Я вынимаю платок и сконфуженно вожу им сначала по кителю, потом по лицу... Но вовремя соображаю, что от этого только сильней размазывается грязь, и моя фигура приобретает еще более жалкий вид. Тогда я делаю геройскую попытку: самому расхохотаться над комичностью своего положения... и потому испускаю какое-то идиотское ржанье. Катерина Андреевна пуще прежнего заливается смехом и едва может выговорить:

— Уходите... уходите скорей... вы... схватите простуду...

Я кидаюсь сломя голову прочь от этого проклятого места, но всю дорогу, до самого дома, в моих ушах звенит беспощадный несмолкаемый хохот...

Капитан, увидев меня, только руками развел.

— Хоро-ош! Нечего сказать!.. Где это вас угораздило?

Я ему ничего не ответил, захлопнул дверь своей комнаты и с озлоблением поворотил два раза ключ...

Увы! Теперь все и навеки потеряно...

P. S. Хороша она или дурна собой?.. Я так был погружен в свое геройство (казнись, казнись, несчастный!), что даже не успел путем вглядеться в нее... А впрочем, не все ли равно?

Завтра во что бы то ни стало еду в полк, хотя бы для этого пришлось притвориться больным... Здесь я своего позора не переживу.

Кэт — Лидии.

«*18 сентября.* Ольховатка.

Милая и дорогая моя Лида!

Поздравь меня скорей. Лед тронулся... Таинственный незнакомец, оказывается, — самый любезный в мире chevalier sans peur et sans reproche [1]. Честь этого открытия принадлежит мне, потому что ты, гадкая, уехала и некому меня удерживать от моих глупостей, которых я успела наделать без тебя целую тысячу.

Раньше всего признаюсь тебе, что я устроила вчера на таинственного незнакомца облаву. Я села в лодку и, когда он проходил мимо, попросила его оттолкнуть меня от берега. О, я отлично знаю, что ты удержала бы меня от такой выходки! Надо было видеть поспешность, с которой таинственный незнакомец бросился исполнять мою просьбу... Но — бедный — он не рассчитал своих сил, упал в воду и весь перепачкался в грязи... У него был самый плачевный и в то же время самый смешной вид, какой только можно себе вообразить: шапка свалилась на землю, волосы упали на лоб, и с них текла ручьями грязь, руки с растопыренными пальцами точно окаменели... Я тотчас же подумала: «Не надо смеяться... Он обидится». Уж лучше бы мне не думать этого!.. Я принялась хохотать, хохотать, хохотать... Я хохотала до истерики... Напрасно я кусала себе до крови губы и щипала себя больно за руку. Ничто не помогло... Переконфуженный офицер обратился в бегство... Это с его стороны было очень неостроумно, потому что я забыла на берегу весла. Пришлось до тех пор носиться по волнам разъяренной стихии, пока ветром не прибило мой утлый челн в камыш. Там, хватаясь попеременно обеими руками за стебли и подтягивая таким образом лодку, мне удалось кое-как добраться до берега... Однако, выскакивая из лодки, я все-таки умудрилась промочить ноги и платье чуть не до колен.

[1] **Рыцарь без страха и упрека** ***(франц.).***

Знаешь ли, он мне очень нравится, и какое-то странное предчувствие говорило мне, что между нами завяжется интересный флирт, l'amour inachevé[1], — как говорит Прево... В нем есть что-то мужественное, крепкое и в то же время нежное. Над таким человеком приятно властвовать. Кроме того, он, должно быть, очень скромен, то есть не болтлив, кажется не глуп, а главное — в его фигуре и движениях чувствуется прочное здоровье и большая физическая сила. Когда он так неудачно хлопотал около лодки, мною овладела дикая, но очень соблазнительная мысль: мне страшно хотелось, чтобы он взял меня на руки и быстро-быстро нес по саду... Это ведь не составило бы для него большого труда, милая моя Лидочка?..

Какая разница между ним и примелькавшимися петербургскими танцорами и спортсменами, в которых всегда чувствуешь что-то поношенное, что-то привычно и неприятно бесстыдное. Мой офицер свеж, как здоровое яблоко, сложен, как гладиатор, притом стыдлив и, мне кажется, страстен.

Завтра или послезавтра я буду делать ему авансы (кажется, по-русски так выражаются?). Прошу тебя, Лидочка, исправлять без стеснения мои галлицизмы, как ты мне сама обещала... Право, мне стыдно, что я делаю ошибки в своем родном языке. Что он так великолепно упал в озеро — ничего не значит. Никто, кроме меня, не был свидетелем этого трагического происшествия... Дело другого рода, если бы он был так неловок перед глазами большого общества. О, тогда я непременно стыдилась бы его... Это, должно быть, такая наша специально женская психология.

Прощай, мой славный Лидочек. Целую тебя.

Твоя *Кэт*».

19 сентября. Все в мире проходит — боль, горе, любовь, стыд, — и это в сущности чрезвычайно мудрый закон. Третьего дня я был уверен, что если бы перед моим отъездом я столкнулся где-нибудь нечаянно с Катериной Андреевной, то я непременно умер бы от

[1] Незавершенная любовь *(франц.)*.

стыда. А между тем я не только не уехал из Ольховатки, но даже успел заключить дружбу с этим очаровательным существом. Да, да, именно дружбу. Она сегодня сама под конец нашей длинной и очень задушевной беседы сказала слово в слово следующую фразу: «Итак, monsieur Лапшин, будемте друзьями, и пусть никто из нас не вспоминает более об этой несчастной истории». Конечно, под несчастной историей подразумевалось мое приключение с лодкой.

Теперь я знаю ее наружность до самых тончайших подробностей, но описать ее я не могу. Да, по правде сказать, я это вообще считаю невозможным. Часто читаешь в каком-нибудь романе описание наружности героини: «у нее было прекрасное, классически правильное лицо, с глазами, полными огня, прямым очаровательным носиком и с прелестными алыми губками, из-за которых блестели два ряда великолепных жемчужных зубов». Удивительная наивность!.. Разве это пошлое описание даст хотя малейшее понятие о той неуловимой совокупности и взаимной гармонии черт, которые делают каждую физиономию непохожей на миллион других.

Вот и я в настоящую минуту необыкновенно ярко вижу пред собою ее лицо: круглый овал, матовая бледность, брови, почти прямые, очень черные и густые; у переносья они сходятся в виде темного пушка, что придает им несколько суровое выражение; глаза большие, зеленые, с громадными близорукими зрачками; рот маленький, чуть-чуть неправильный, чувственный, насмешливый и гордый, с полными, резко очерченными губами; матовые волосы собраны тяжелым и небрежным узлом на затылке.

Уехать вчера я не мог. Капитан болен не на шутку: с утра до вечера растирается муравьиным спиртом и пьет декокт из какой-то петушиной травы... Бросить его в таком положении было бы не по-товарищески. Тем более что капитанская «петуховка» — не что иное, как замаскированный запой.

Вчера вечером пошел в сад. Я даже не посмел признаться себе, что втайне надеялся застать там Катерину Андреевну. Не знаю, видела ли она, как я входил в

калитку, или все объясняется случайностью, но мы встретились лицом к лицу на главной дорожке в то время, когда я только что вышел на нее из аллеи.

Солнце садилось. Половина неба рдела, обещая на утро ветер. Катерина Андреевна была в белом платье, перехваченном в талии зеленым бархатным кушаком. На огненном фоне заката ее голова прозрачно золотилась тонкими волосами.

Увидев меня, она улыбается, но не зло, а скорее ласково, и протягивает мне руку.

— Я отчасти виновата во вчерашнем... Скажите, вы не простудились?

Тон ее вопроса искренний и участливый... Все мои страхи рассеиваются... Я даже нахожу в себе столько смелости, что рискую сам над собой пошутить:

— Пустяки... Маленькая ванна из грязи... Это, скорее, полезно... Вы слишком добры, mademoiselle...

И мы оба принимаемся хохотать самым откровенным образом. Действительно, что же было такого ужасного или постыдного в моем невольном падении? Я решительно не понимаю!..

— Нет, этого так нельзя оставить, — говорит она, продолжая смеяться. — Вы должны потребовать реванш... Вы умеете грести?

— Умею, mademoiselle.

— Ну, так пойдемте... Да не называйте меня постоянно mademoiselle... Впрочем, вы не знаете моего имени?

— Знаю, Катерина Андреевна?..

— Ах, это страшно длинно: Ка-те-ри-на, да еще вдобавок Андреевна. Дома меня все называют Кэт... Зовите меня просто Кэт...

Я на ходу шаркаю по песку ногой, что должно означать молчаливое согласие.

Я подтягиваю лодку к берегу. Кэт, крепко опираясь на мою протянутую руку, уверенно бежит по дощечкам для гребцов на корму. Мы медленно скользим по озеру. Поверхность так скользка и неподвижна, что кажется густой. Встревоженные тихим движением лодки, за кормой с легким журчаньем лениво расплываются в обе стороны морщинки, розовые от последних лучей

солнца. У берегов в воде отражаются вверх ногами, но еще красивее, чем в действительности, прибрежные косматые ветлы, на которых зелень еще не тронута желтизной. Пара лебедей, легких, как кусочки снега, плывут за нами издали, белея в темной воде.

— Вы постоянно проводите лето в деревне, mademoiselle Кэт? — спрашиваю я.

— Нет. В прошлом году мы ездили в Ниццу, а раньше были в Баден-Бадене... Я не люблю Ниццы — это город умирающих. Кладбище какое-то... Зато я играла в Монте-Карло. Просто как безумная!.. А вы были за границей?

— Как же! И даже с приключениями.

— В самом деле? Это, должно быть, интересно. Расскажите, пожалуйста.

Это случилось два года тому назад, весною. Наш батальон стоял в отделе, в крошечном пограничном местечке — Гусятине. Оно обыкновенно называется русским Гусятином, потому что по ту сторону узенькой речонки, всего в каких-нибудь пятидесяти шагах, находится австрийский Гусятин... И когда я говорю не без гордости: в бытность мою за границей, — я подразумеваю именно этот самый австрийский Гусятин.

Однажды, заручившись благосклонностью станового пристава, мы собрались туда довольно большим обществом, состоявшим исключительно из офицеров и полковых дам. Проводником был местный штатский доктор, он же служил нам и переводчиком... Едва мы вступили, выражаясь высоким штилем, на чуждую территорию, как нас окружила толпа оборванных, грязных ребятишек-русинов. Тут мы, кстати, имели случай убедиться в той глубокой симпатии, которую к нам, русским, питают наши западные братья-славяне. Мальчишки, следуя за нами от плотины и до самых дверей ресторации, ни на секунду не переставали осыпать нас отборнейшею русскою бранью... Австрийские евреи кучками стояли на улице, в хвостатых меховых шапках, с пейсами до плеч, в лапсердаках, из-под которых виднелись белые чулки и пантуфли. При нашем приближении они указывали на нас друг другу пальцами, и в их

быстром гортанном говоре, с характерными завываниями на концах фраз, было что-то угрожающее.

Наконец мы добрались до ресторана и заказали себе гу́ляш и ма́сляш. Первое — какое-то национальное мясное кушанье пополам с красным перцем, а второе — приторное венгерское вино. Пока мы ели, в крошечную залу набралась густая толпа гусятинских обывателей, созерцавших с откровенным любопытством чужеземных гостей. Потом трое человек из этой толпы подошли и поздоровались с доктором — он тотчас же представил их нашим дамам. За этими тремя подошло еще четверо, потом еще человек шесть. Что это были за субъекты, — я до сих пор не могу себе представить, но несомненно, что все они занимали административные должности. Между ними находился какой-то пан-комисарж, и пан-подкомисарж, и пан-довудца, и еще какие-то паны. Все они ели с нами гу́ляш, пили ма́сляш и поминутно говорили дамам: «служу пани» и «падам до ног панских»... В заключение пан-комисарж просил нас остаться до вечера и посетить назначенный на этот день складко́вый бал. Мы согласились.

Все обстояло самым прекрасным образом, и наши дамы с увлечением носились в вихре вальса с своими новыми знакомыми. Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам заказывать для себя танец, платя за него музыкантам двадцать копеек. С этим обычаем мы вскоре примирились, но пассаж не замедлил произойти, и совсем для нас неожиданно.

Кому-то из нас захотелось пива, и он сказал об этом одному из наших новых знакомых — представительному черноусому господину с великолепными манерами, про которого наши дамы решили, что он непременно должен быть одним из окрестных магнатов. Магнат оказался чрезвычайно любезным человеком. Он крикнул: «зараз панове!», исчез на минутку и тотчас же воротился с двумя бутылками пива, штопором и салфеткой под мышкой. Обе бутылки были им открыты с таким удивительным искусством, что наша полковница даже выразила вслух свое одобрение. На ее комплимент магнат возразил со скромным достоинством:

«О, это для меня дело привычное, сударыня!.. Ведь я же служу в этом самом заведении кельнером!» Конечно, после этого неожиданного признания наша компания оставила австрийский бал с поспешностью, даже несколько неприличной.

В то время, когда я рассказываю, Кэт звонко смеется, наша лодка огибает островок и въезжает в узенький канал, над которым свесившиеся с обоих берегов деревья образуют полутемный, прохладный свод. Здесь пахнет сильно болотной травой, вода кажется черной, как чернила, и кипит под веслом.

— У! Как хорошо! — восклицает Кэт и содрогается плечами.

Так как разговор грозит иссякнуть, я спрашиваю:

— Вам, вероятно, очень скучно в деревне?

— Очень скучно, — отвечает, чуть-чуть помолчав, Кэт и небрежно прибавляет, бросая на меня быстрый кокетливый взгляд, — по крайней мере до сих пор. Еще пока летом гостила здесь моя подруга, — вы ее, кажется, видели? — когда хоть было с кем поболтать...

— Разве у вас совсем нет знакомых среди окрестных помещиков?

— Нет. Папа никому не хотел делать визитов... Ужасно скучно... По утрам на мне лежит обязанность читать вслух бабушке «Московские ведомости»... Вы не поверите, какая это тоска!.. В саду так хорошо, а тут изволь читать про какие-то конфликты между просвещенными державами и про сельскохозяйственный кризис... Я иной раз с отчаяния возьму да пропущу строк двадцать или тридцать, так что во всей статье не останется ровно никакого смысла... Бабушка, однако, далека от подозрения и часто удивляется: «Ты замечаешь, Кэт, как нынче непонятно стали писать?» Я, конечно, соглашаюсь. «Действительно, бабушка, очень непонятно». Зато, когда чтение кончается, я чувствую себя как школьница, отпущенная на каникулы...

Разговаривая таким образом, мы катаемся по озеру до тех пор, пока не начинает темнеть... При прощании Кэт фразой, брошенной вскользь, дает мне понять, что ежедневно утром и вечером она имеет обыкновение гулять по саду.

Это все случилось вчера, но я не успел ничего вчера записать в дневник, потому что все остальное время до полуночи лежал на кровати, глядел в потолок и предавался тем несбыточным, невероятным мечтам, которые, несмотря на их невинность, совестно передавать на бумаге.

Сегодня мы опять встретились, но уже без малейшего смущения, как старые знакомые. Кэт необыкновенно добра и мила. Когда я в разговоре выразил, между прочим, сожаление, что прискорбный случай с лодкой сделал меня в ее глазах смешным, она протянула мне откровенным движением руку и произнесла незабвенные слова:

— Будемте друзьями, monsieur Лапшин, и не станем вспоминать об этой истории.

И я знаю, что ласковый тон этих слов никогда не изгладится из моей памяти никакими другими словами. Во веки веков.

20 сентября. О, я не ошибся. Кэт действительно вчера намекала на то, что нам можно ежедневно утром и вечером встречаться в саду. Жаль только, что она сегодня была не в духе по причине сильной головной боли. Вид у нее очень утомленный: глаза очерчены легкой тенью и щеки бледнее обыкновенного.

— Вы не обращайте особенного внимания на мое нездоровье, — сказала она в ответ на мое соболезнование. — Это пройдет... Я приобрела нехорошую привычку читать в постели. Не заметишь, как увлечешься, и читаешь часа три подряд, а потом начинается бессонница.

Потом, полушутя, полусерьезно, она спросила:

— Вы не умеете гипнотизировать?

Я отвечал, что не пробовал, но, вероятно, сумею.

— Возьмите меня за руку, — сказала Кэт, — и глядите мне пристально в глаза. В то же время мысленно приказывайте, чтобы моя голова перестала болеть.

Я так и сделал. Ее маленькая, холодная и узкая ручка легла слабо в мою руку. Глядя в большие черные зрачки Кэт, я старался сосредоточиться и собрать всю силу воли, но глаза мои смущенно перебегали с глаз на губы. Был один момент, когда мои пальцы нечаянно

дрогнули и чуть-чуть сжали руку Кэт. Как будто бы в ответ на мое бессознательное движение, я тоже почувствовал слабое пожатие. Но, конечно, это произошло случайно, потому что тотчас же она выдернула свою руку со словами:

— Нет, вы мне не поможете. Вы совсем о другом думаете...

— Напротив, я думал о вас, mademoiselle Кэт, — возразил я.

— Может быть. Но только доктора никогда не глядят такими глазами. Вы — нехороший...

Я — нехороший! Свидетель бог, что ни одна дурная мысль, даже ни один оттенок дурной мысли не шевельнулся у меня в голове. Или, может быть, мое несчастное лицо имеет способность выражать вовсе не то, что я чувствую?

Однако — странная вещь — замечание Кэт вдруг заставило меня впервые *почувствовать* в ней женщину, и мне стало неловко.

Так мой опыт гипнотизирования и не удался. Мигрень у Кэт не только не прошла, но с минуты на минуту становилась все сильнее. Когда она уходила, ей, вероятно, стало жаль видеть мое разочарованное лицо. Она позволила мне на секунду более, чем следовало, задержать ее руку и сказала:

— Вечером я не буду гулять. Подождите до завтра.

Но как это было хорошо сказано! Какое значение может иногда женщина вложить в самую пустую, самую обыденную фразу. Это «подождите» я перевел таким образом: «Я знаю, что вам очень приятно со мной видеться; мне это тоже не противно, но ведь мы можем встречаться ежедневно, и времени у нас впереди много — не правда ли?» Кэт дает мне право ждать себя! У меня даже голова кружится от восторга при этой мысли.

Что, если простое любопытство, знакомство от скуки, случайные встречи перейдут во что-нибудь более серьезное и нежное? Блуждая после ухода Кэт по дорожкам сада, я невольно мечтал об этом. Ведь ни о чем не запрещено мечтать ни одному человеку? И я представлял себе, как между нами возникает пламенная,

скромная и доверчивая любовь, ее первая любовь, моя, хотя не первая, но зато самая сильная и последняя. Я представлял себе ночное свидание, скамейку, облитую кротким сиянием луны, голову, доверчиво прижавшуюся к моему плечу, и сладкое, еле слышное «люблю», робко произнесенное в ответ на мое пылкое признание. «Да, я люблю тебя, Кэт, — говорю я с подавленным вздохом, — но мы должны расстаться. Ты — богата, я — бедный армейский офицер, у которого нет ничего, кроме безмерной любви к тебе. Неравный брак принесет тебе несчастье. Ты будешь потом упрекать меня». — «Я люблю тебя и не могу без тебя жить! — отвечает она. — Я пойду за тобой на край света». — «Нет, дорогая, нам нужно расстаться... Тебя ждет иная жизнь... Помни только одно, что я никогда, никогда в моей жизни не перестану любить тебя».

Ночь, скамейка, луна, поникшие деревья, сладкие слова любви... Как все это возвышенно, мило, старо и... глупо. Вот и теперь, пока я пишу эти строки, капитан, только что выпивший на ночь «петуховки», кричит мне из своей постели:

— Что это вы все строчите, поручик? Уж не стихи ли часом? Вот бы разодолжили таким «бэгэрэдством».

Капитан, кажется, больше всего на свете ненавидит стихи и природу... Кривя рот в сторону, он говорит иногда:

— Стишки-с? Кому это нужно-с?

И он язвительно декламирует:

Передо мной портрет стоить
Неодушевленный, но в рамке;
Перед ним свеча горить,
Букет торчить
И роза в банке.

— Чепуха-с, ерунда-с и всякая такая вещь...

Но и он не чужд искусству и поэзии. В период усиленных приемов «петуховки» он играет иногда на гитаре и поет старые, диковинные, смешные романсы, каких теперь не поют уже лет тридцать.

Сейчас я лягу в кровать, но знаю, что заснуть мне будет трудно... Но разве мечты, хотя бы самые несбы-

точные, не составляют неотъемлемого и утешительного права каждого смертного?

21 сентября. Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я и капитан будем обедать у самого Андрея Александровича, я бы рассмеялся в лицо этому предсказателю. Я, между прочим, только что вернулся из пáлаца, и даже в зубах у меня дымится еще та самая сигара, которую я закурил в великолепном кабинете. Капитан в своей комнате растирается муравьиным спиртом и ворчит что-то про «бэгэрэдство и всякую такую вещь». Однако он сбит с панталыку и, очевидно, сознает себя смешным в своих сегодняшних лаврах торреадора и бесстрашного спасителя особы прекрасного пола. Увы! Должно быть, сама судьба избрала нас обоих выступать здесь в комических ролях: меня — в приключении на берегу озера, его — в сегодняшнем подвиге.

Впрочем, надо рассказать все по порядку. Было часов одиннадцать утра. Я сидел за письменным столом и писал своим домашним письмо в ожидании капитана, который должен был прийти к завтраку. Он действительно пришел, но в самом неожиданном виде: весь в пыли, красный, переконфуженный и злой.

Я поглядел на него вопросительно. Он начал стаскивать с себя сюртук, продолжая браниться.

— Это вот... такая вышла вот... глупая штука и... всякая такая вещь!.. Представьте себе — иду сейчас с работ... Прохожу двором и вижу, что из палисадника, что перед палацом, выползает эта самая старушка, ну... мать или бабушка, что ли, или кто там? — не знаю. Прекрасно-с. Бредет она себе потихонечку, вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает теленок, знаете, обыкновенный теленок, еще и году ему нет... скачет, знаете, хвост кверху, и всякая такая вещь... ну, просто телячий восторг на него накатил... Увидал старушку и прямо к ней. Та — кричать! Палкой на него машет... А теленок еще пуще — так вокруг нее и танцует, думает, играют с ним. Покатилась моя старушка на землю... ни жива ни мертва и даже кричать больше не может... Вижу я, что нужно помогать, — бегу изо всей мочи... прогоняю этого дурацкого телка... смотрю, а старушка лежит, чуть дышит и даже кричать больше не может.

Я думал, что уже дуба дала со страху. Ну, поднял ее кое-как, отряхнул от пыли, спрашиваю, не ушиблась ли? Та — только глазами ворочает и стонет. Наконец говорит: «Проведите меня в дом». Обнял я ее вокруг спины, поволок, на балкон втащил. На балконе сидит сама хозяйка здешняя, жена самого... Перепугалась ужас как. Охает. «Что такое с вами, маман, что случилось?..» Усадили мы с ней старушку в кресло, натерли какими-то духами. Ничего... отдышалась понемногу. Ну и начала же она потом расписывать. Я уж не знал, куда мне и деваться... «Иду я, говорит, по двору, и вдруг прямо на меня летит бык... огромный бешеный бык... глаза в крови, морда вся в пене... Налетел на меня, ударил в грудь рогами, свалил на землю... Дальше я, говорит, ничего не помню...» Ну, одним словом, оказалось, что я какое-то чудо совершил: кинулся будто бы этому самому быку навстречу, схватил его за рога и, ей-богу, чуть ли не через себя перекинул... Я слушал-слушал и говорю наконец: «Вы ошибаетесь, сударыня, это не бык, это был просто телок...» Куды тебе! И слушать не хочет. «Вы, говорит, это из скромности». В это время приходит барышня ихняя. Тоже разохалась. Старушка ей всю эту комедию рассказала. Черт знает что за идиотская история! Называют меня и героем и спасителем, жмут руки и всякая такая вещь... Слушаю их: и смешно мне и стыдно, право... Ну, думаю, попал в историю, нечего сказать... Насилу-то, насилу от них отделался. Этакая ведь глупая штука вышла! Глупее, кажется, и нарочно не выдумаешь...

Мы сели завтракать. За завтраком, после нескольких рюмок «петуховки», капитан немного успокоился. Он уже собирался опять идти на работы, как вдруг стремглав влетел в комнату наш казачок, с лицом, перекошенным от испуга, и с вытаращенными глазами.

— Пан... сами пан сюды идут!

Мы тоже, бог весть почему, испугались, вскочили, забегали, стали торопливо надевать скинутые сюртуки. В эту самую минуту в дверях показался Обольянинов и остановился с легким полупоклоном.

— Господа, я боюсь, что причинил вам беспокойство моим визитом, — сказал он с самой непринужден-

ной и в то же время холодной любезностью, — пожалуйста, оставайтесь, как были, по-домашнему...

Он был в легкой просторной чесучовой паре, удивительно шедшей к его большому росту и молодившей его лицо. А лицо у него истинно аристократическое: я никогда не видел такого изысканного профиля, такого тонкого, гордого орлиного носа, такого своевольного, круглого подбородка и таких надменных губ.

Затем он обратился к капитану:

— Позвольте мне выразить мою глубокую признательность... Если бы не ваша смелость...

— Помилуйте, что вы-с? — возразил капитан, конфузясь и делая руками несообразные жесты. — Да я же ничего особенного не сделал, за что благодарить? Телок-с! Собственно говоря, просто неловко, и всякая такая вещь.

Обольянинов опять сделал не то насмешливый, не то вежливый поклон.

— Эта скромность делает честь вашему мужеству, капитан. Тем не менее я считаю долгом принести благодарность и от матушки и от себя лично.

Тут капитан совсем застыдился, покраснел, — отчего лицо его сделалось коричневым, — и еще нелепее замахал руками.

— Да помилуйте... ничего тут особенного... просто телок... Да я... сделайте одолжение... всегда... вижу, телок бежит, ну, я сейчас... помилуйте...

Я увидел, что капитан решительно запутался, и поспешил к нему на помощь.

— Присядьте, прошу вас, — сказал я, придвигая ему стул.

Он вскользь окинул меня равнодушным взглядом, бросил небрежное merci, но не сел, а только взялся рукой за спинку стула.

— Мне очень жаль, господа, что мы до сих пор не были знакомы, — сказал помещик, протягивая капитану руку. — Во всяком случае, сделаемте это: лучше поздно, чем никогда...

Растерявшийся капитан ничего не мог ответить и только чрезвычайно низко поклонился, пожимая белую выхоленную руку.

Что касается меня, я довольно бойко отрекомендовался: поручик Лапшин, а потом прибавил, хотя несколько неразборчиво:

— Очень приятно... поверьте... такая честь...

В конце концов я не уверен, кто из нас сделал лучше: я или капитан.

— Я думаю, вы, господа, не откажетесь отобедать у меня, — сказал Обольянинов, беря со стула свою шляпу. — Мы обедаем ровно в семь...

Мы еще раз поклонились, и наш хозяин удалился с той же великолепной непринужденностью, как и вошел.

К семи часам мы явились в палац. Всю дорогу капитан ворчал что-то про «бэгэрэдство», постоянно поправлял нацепленный для чего-то на грудь иконостас и, по-видимому, находился в самом подавленном настроении духа... Впрочем, надо сказать, и я чувствовал себя не особенно развязно.

Когда мы пришли, то попали прямо в столовую — большую, несколько мрачную комнату, всю отделанную массивным резным дубом. Андрея Александровича не было, в столовой находились только его жена да старушка мать, спасенная от смерти капитаном. Произошло легкое замешательство, конечно, больше с нашей стороны. Мы должны были сами представляться... Нас попросили сесть... Разговор неминуемо зашел об утреннем происшествии, но, продержавшись минут пять, истощился без всякой надежды на возобновление, и мы четверо сидели молча и глядели друг на друга, тяготясь нашим молчанием.

К счастью, скоро в столовую вошла Кэт в сопровождении отца. Увидев меня, она удивленно закусила нижнюю губку, и брови ее высоко поднялись. Нас представили. По лицу Кэт я догадался, что о нашем случайном знакомстве в саду никому не должно быть известно... Милая девушка! Конечно, я исполнил твое безмолвное приказание.

После обеда, во время которого Обольянинов тщетно старался вызвать капитана на разговор, — на меня он почему-то мало обращал внимания, — старуха выразила желание сыграть в ералаш. Так как Василий

Акинфиевич никогда не берет карт в руки, то четвертым усадили меня. В продолжение двух часов я мужественно переносил самую томительную скуку. Старая дама два первых робера играла еще туда-сюда. Но потом ее старческое внимание утомилось. Она начала путать ходы и брать чужие взятки... Когда требовались пики, несла бубны.

— Maman, ведь у вас есть еще пики, — замечал ей с несколько насмешливым почтением Андрей Александрович.

— Ну вот, ты меня еще учить вздумал! — обижалась старушка. — Стара я, голубчик, стала, чтобы меня учили... Если не даю пик, стало быть у меня их и нет.

Однако спустя минуту она сама начинала ходить с отыгранных пик.

— Видите, maman, нашлись же у вас пики, — говорил ей сын с тем же оттенком добродушной насмешки, и она совершенно искренно изумлялась.

— Не понимаю, голубчик, откуда они у меня взялись! Просто — не понимаю...

Впрочем, я сам играл рассеянно. Я все время прислушивался, не раздадутся ли сзади меня легкие шаги Кэт... Она, бедная, билась около получаса, стараясь занять капитана, но все ее старания разбивались о капитанское каменное молчание. Он только краснел, вытирал клетчатым платком вспотевший лоб и на каждый вопрос отвечал: «Да-с, сударыня... нет, сударыня». Наконец Кэт принесла ему целую груду альбомов, гравюр, и он всецело погрузился в них.

Несколько раз Кэт нарочно проходила мимо карточного столика. Наши глаза каждый раз встречались, и каждый раз в ее глазах я видел лукавый и нежный огонек... Наше никем не подозреваемое знакомство делало нас чем-то вроде двух заговорщиков, двух людей, посвященных в одну тайну, и эта таинственность притягивала нас друг к другу крепкими задушевными нитями.

Было уже темно, когда, окончив ералаш и покурив в кабинете, мы возвращались домой. Капитан шел впереди. На террасе я вдруг почувствовал, да, именно почувствовал *чье-то* присутствие. Я раскурил сильнее

сигару и в красноватом, вспыхивающем и потухающем свете увидел платье и дорогое улыбающееся лицо.

— Умница, паинька-мальчик, хорошо себя вел, — услышал я тихий шепот.

В темноте моя рука схватила ее руку. Темнота вдруг придала мне необыкновенную смелость. Сжав эти нежные холодные пальчики, я поднес их к губам и стал быстро и жадно целовать. В то же время я твердил радостным шепотом:

— Кэт, моя милая... Кэт!

Она не рассердилась. Она только слабо отдергивала свою руку и говорила с притворным нетерпением:

— Не надо, не надо... Идите... Ах, какой вы непослушный!.. Ступайте, вам говорят.

Но когда я, боясь на самом деле ее рассердить, разжал свои пальцы, она вдруг удержала их и спросила:

— Как ваше имя? Вы мне до сих пор не говорили.

— Алексей, — ответил я.

— Алексей? Как это хорошо!.. Алексей... Алексей... Алеша...

Потрясенный этой неожиданной лаской, я стремительно протянул вперед руки, но... они встретили пустоту. Кэт уже не было на балконе.

О, как безумно я ее люблю!

Кэт — Лидии.

«21 сентября. Ты, конечно, помнишь, милая моя Лидочка, как папа восставал против наших офицеров? Как он называл их насмешливо «армеутами»? Поэтому ты, без сомнения, удивишься, если я тебе скажу, что они сегодня у нас обедали. Сам папа отправился к ним во флигель и пригласил их. Причина этой внезапной перемены — та, что сегодня утром старший из офицеров спас мою grand'mère[1] от неизбежной смерти. В том, что рассказывает бабушка, есть что-то невероятное. Она будто бы шла по двору, на нее внезапно налетел бешеный бык, храбрый офицер кинулся между ней и быком, — вообще целая картина во вкусе Шпильгагена.

---

[1] Бабушку *(франц.)*.

Положив руку на сердце, я тебе скажу, мне не особенно нравится то, что папа притащил их. Во-первых, они оба в обществе так теряются, что на них мучительно смотреть... В особенности старший: он ел рыбу прямо с ножа, все время странно конфузился и имел самый смешной вид. Во-вторых, мне жаль, что наши свидания в саду потеряли почти всю прелесть своей оригинальности. Раньше, когда никто не мог даже и подозревать о нашем случайном знакомстве, в этих свиданиях было что-то запретное, выходящее из ряда. Теперь уже — увы! — никому даже не придет в голову удивиться, увидав нас вместе.

Что Лапшин влюблен в меня по уши, в этом я уже совсем не сомневаюсь — у него очень, даже чересчур красноречивые глаза! Но он так скромен и нерешителен, что мне волей-неволей приходится идти к нему навстречу. Вчера, когда он уходил от нас, я нарочно ждала его на балконе. Было темно, и он стал целовать мои руки. Ах, дорогая Лидочка, в этих поцелуях было что-то обворожительное! Я их чувствовала не только на руках, но на всем моем теле, по которому каждый поцелуй пробегал сладкой нервной дрожью. В эту минуту я очень жалела, зачем я не замужем. Мне так хотелось еще продлить и усилить эти новые, незнакомые для меня ощущения.

Ты, конечно, прочтешь мне нотацию за то, что я кокетничаю с Лапшиным. Но ведь это меня ни к чему не обязывает, а ему, без сомнения, доставляет удовольствие. Кроме того, не больше чем через неделю мы уедем отсюда. У него и у меня останутся воспоминания — и больше ничего.

Прощай, милая Лидочка. Жаль, что ты не будешь зимой в Петербурге. Во всяком случае, не забывай писать мне. Поцелуй от меня твою маленькую сестренку. Твоя навеки *Кэт*».

22 сентября. «Счастье, призрак ли счастья?.. Не все ли равно?»

Я не знаю, какому поэту принадлежит эта строчка, но она сегодня не выходит из моей головы.

Да и правда, не все ли равно? Если я был счастлив хоть час, хоть одно только короткое мгновенье, зачем отравлять его сомнениями, недоверием, вечными вопросами неудовлетворенного самолюбия?..

Перед вечером Кэт вышла в сад. Я дожидался, и мы пошли вдоль по густой аллее, по той самой аллее, где я впервые увидал мою несравненную Кэт, королеву моего сердца. Она была задумчива и часто отвечала невпопад на мои вопросы, которые я без толку предлагал, чтоб только избавиться от неловких, тяготивших и ее и меня молчаливых пауз. Но ее глаза не избегали моих: они смотрели на меня с такой нежностью. Когда мы поравнялись с *той* скамейкой, я сказал:

— Как мне памятно и дорого это место, mademoiselle Кэт!

Она спросила:

— Почему?

— Здесь я впервые увидел вас. Помните, вы сидели с своей подругой и еще рассмеялись, когда я прошел мимо.

— О да, конечно, помню! — воскликнула Кэт, и ее лицо озарилось улыбкой. — С нашей стороны было совсем нетактично так громко смеяться. Вы, может быть, приняли этот смех по своему адресу?

— Признаться — да.

— Видите, какой вы подозрительный! Это нехорошо! А дело просто-напросто было так: когда вы прошли, я сказала Лиде на ухо одну вещь, — действительно про вас, но я не хочу вам ее повторять, чтобы не испортить вашего самолюбия лишним комплиментом. Лида остановила меня, потому что боялась, что вы услышите мои слова. Она очень «prude» [1] и всегда останавливает мои выходки. Тогда я нарочно, чтобы поддразнить ее, сказала голосом моей бывшей гувернантки — очень чопорной старой мисс: «стидно, choking, стидно». Вот и все. И эта буффонада заставила нас громко расхохотаться. Ну что? Вы теперь довольны?

— Совершенно. Но что вы сказали обо мне?

---

[1] Добродетельна *(франц.)*.

Кэт покачала головой с укоризненным, лукавым видом.

— Вы — чересчур любопытны, и я ничего вам не скажу, я и без того слишком добра с вами. Не забывайте, пожалуйста, что вы еще должны быть наказаны за вчерашнее дурное поведение.

Я понял, что она вовсе не думает на меня сердиться, но на всякий случай опустил с виноватым видом голову вниз и сказал с притворным смущением:

— Простите меня, mademoiselle Кэт... Я увлекся и не мог совладать со своим чувством.

И, видя, что она не перебивает меня, я прибавил еще более тихим, но в то же время страстным тоном:

— Вы так прекрасны, mademoiselle Кэт!

Минута была благоприятная. Мне казалось, что Кэт дожидается продолжения моих слов, но внезапная робость овладела мной, и я только спросил, умоляюще заглядывая ей в глаза:

— Ведь вы не совсем рассердились на меня? Скажите... Меня это так мучит.

— Нет, не сержусь, — прошептала Кэт, отворачивая от меня свою голову стыдливым и бессознательно красивым движением.

«Ну, вот, момент готов, — подбодрил я себя внутренно. — Вперед! Вперед! В любви нельзя останавливаться на полдороге! Смелей!»

Но смелость решительно покинула меня, и наше молчание после слов, почти близких к признанию, стало еще тягостнее. Должно быть, потому-то Кэт, дойдя вторично до конца аллеи, и простилась со мной.

Когда она мне протянула свою маленькую, нежную, но решительную ручку, я задержал ее в своей и посмотрел вопросительно в глаза Кэт. Мне показалось, что я читаю в них молчаливое согласие. Я стал опять так же жадно, как тогда на террасе, целовать эту милую ручку. Сначала Кэт сопротивлялась и называла меня непослушным, но потом я вдруг почувствовал на своих волосах глубокое теплое дыхание, и моей щеки быстро коснулись свежие, очаровательные губки. В ту же секунду — я не успел даже выпрямиться — Кэт

выскользнула из моих рук, отбежала на несколько шагов и только там, на безопасной дистанции, остановилась.

— Кэт, подождите, ради бога, мне так много нужно вам сказать! — воскликнул я, подходя к ней.

— Стойте на месте и молчите! — приказала Кэт, сдвигая брови и топая нетерпеливо ногой по шуршащим листьям.

Я остановился. Кэт сделала из ладони вокруг своего рта подобие рупора, наклонилась слегка вперед и тихо, но явственно прошептала:

— Завтра, когда только взойдет луна, ждите меня у пристани. Я уйду потихоньку. Мы будем кататься, и вы мне скажете все, что хотите... Понимаете? Понимаете вы меня?

После этих слов она повернулась и быстрым шагом, ни разу не оглянувшись назад, пошла по направлению к калитке... А я стоял и глядел ей вслед, растерянный, взволнованный и счастливый...

Кэт, дорогая моя Кэт! Если бы твое и мое положение в обществе были одинаковы... Положим, говорят, что любовь выше всяких сословных и иных предрассудков... Но нет, нет! Я останусь твердым и самоотверженным.

О боже мой! Как быстро разлетаются мои бедные, наивные, смешные мечты! Я пишу эти строки, а за стеной капитан, лежа в кровати, играет на гитаре и поет сиплым голосом старинную-старинную песню.

«Жалкий человечишка! — говорю я самому себе. — Для того чтобы ты не набивал себе голову праздным и невыполнимым вздором, сядь и назло самому себе запиши слова:

Юный прапорщик армейский
Стал ухаживать за мной,
Мое сердце встрепенулось
К нему любовью роковой.

*

Моя маменька узнала,
Что от свадьбы я не прочь,
И с улыбкою сказала:
«Слушай, миленькая дочь!

*

Юный прапорщик армейский
Тебя хочет обмануть,
От руки его злодейской
Трудно будет усклизнуть».

*

Юный прапорщик армейский
Проливал потоки слез,
Как-то утром на рассвете
В ближайший городок увез.

*

Там в часовне деревя-янной,
Пред иконою творца,
Поп какой-то полупьяный
Сочетал наши сердца.

*

А потом в простой телеге
Он домой меня отвез.
Ах! Как это не по моде,
Много пролила я слез.

*

Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена...
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена.

Да, да, стыдись, бедный армейский прапорщик. Рви себя за волосы! Плачь, плачь в тишине ночи! Спасибо, Василий Акинфиевич, за мудрый урок».

24 сентября. И ночь, и любовь, и луна, как поет мадам Рябкова, жена командира второй роты, на наших полковых вечерах... Я никогда, даже в самых дерзновенных грезах, не смел воображать себе такого упоительного счастья. Я даже сомневаюсь, не был ли весь сегодняшний вечер сном — милым, волшебным, но обманчивым сном? Я и сам не знаю, откуда взялся в моей душе этот едва заметный, но горький осадок разочарования?..

Я пришел к пристани поздно. Кэт дожидалась меня, сидя на высокой каменной балюстраде, окаймляющей площадку пристани.

— Так что ж, едем? — спросил я.

Кэт еще плотнее укуталась в свою накидку и нервно содрогнулась под ней плечами.

— О нет, слишком холодно... Смотрите, какой туман на воде...

Действительно, темная поверхность озера видна была только на пять шагов. Дальше вставали и двигались неровные, причудливые клочья седого тумана.

— Походимте лучше по саду, — сказала Кэт.

Мы пошли. В этот странный час светлой и туманной осенней ночи запущенный парк казался печальным и таинственным, как заброшенное кладбище. Луна светила бледная. Тени оголенных деревьев лежали на дорожках черными, изменчивыми силуэтами. Шелест листьев под нашими ногами пугал нас.

Когда мы вышли из-под темного и как будто бы сырого свода акаций, я обнял Кэт за талию и тихо, но настойчиво привлек ее к себе. Но она и не сопротивлялась. Ее тонкий, гибкий, теплый стан слегка лишь вздрогнул от прикосновения моей руки, горевшей точно в лихорадке. Еще минута — и ее голова прислонилась к моему плечу, и я услышал нежный аромат ее пушистых, разбившихся волос.

— Кэт... как я счастлив... Как я люблю вас, Кэт... Я обожаю вас...

Мы остановились. Руки Кэт обвились вокруг моей шеи. Мои губы увлажнил и обжег поцелуй, такой долгий, такой страстный, что кровь бросилась мне в голову, и я зашатался... Луна нежно светила прямо в лицо Кэт, в это бледное, почти белое лицо. Ее глаза увеличились, стали громадными и в то же время такими темными и такими глубокими под длинными ресницами, как таинственные пропасти. А ее влажные губы звали все к новым, неутоляющим, мучительным поцелуям.

— Кэт... милая... ты моя?.. совсем моя?..

— Да... совсем... совсем...

— Навсегда?

— Да, да, мой милый...

— Мы с тобой никогда не расстанемся, Кэт?..

По ее лицу промелькнуло неудовольствие.

— Зачем ты об этом спрашиваешь? Разве тебе не хорошо со мной?..

— О, Кэт!

— Так зачем же спрашивать о том, что будет? Живи настоящим, мой дорогой.

Время остановилось... Я не мог дать себе отчета, сколько прошло минут или часов с начала нашего свиданья. Кэт опомнилась первая и сказала, выскользнув из моих объятий:

— Поздно... меня могут хватиться... Проводи меня домой, Алеша...

Когда мы опять шли по темной аллее из акаций, она прижималась ко мне с зябкой и ласковой кошачьей грацией.

— Мне одной было бы здесь страшно, Алеша... Какой ты сильный... Обними меня... Еще... крепче, крепче... Возьми меня на руки, Алеша... понеси меня...

Она была легка, как перышко. Держа ее на руках, я почти бегом пробежал аллею, а Кэт все сильней, все нервней обвивала мою шею, целовала мою щеку и висок и шептала, обдавая мое лицо порывистым горячим дыханием:

— Скорей, еще скорей!.. Ах, как хорошо — как мне хорошо. Алеша! Скорее!..

У калитки мы простились.

— Что вы сейчас будете делать? — спросила Кэт, когда я, поклонившись, целовал попеременно ее руки.

— Я сейчас буду писать свой дневник, — ответил я.

— Дневник?.. — Лицо Кэт выразило удивление и — как мне показалось — *неприятное* удивление. — Вы пишете дневник?

— Да, почти ежедневно.

— Вот как!.. И я тоже фигурирую в вашем дневнике?

— Да. Может быть, это вам неприятно?

Она рассмеялась принужденным смехом.

— Это смотря по тому... Конечно, вы когда-нибудь покажете мне ваш дневник?

Я пробовал отнекиваться, но Кэт так настаивала, что в конце концов пришлось согласиться.

— Смотрите ж, — сказала она, прощаясь со мной и грозя мне пальцем, — если я увижу хоть одну помарку — берегитесь!

Когда я пришел домой и стукнул дверью, капитан проснулся и заворчал на меня:

— Где это вы все шляетесь, поручик? На рандевую небось ходили? Бэгэрэдство и всякая такая вещь...

Сейчас только я перечитал все глупости, которые я писал в этой тетрадке с самого начала сентября. Нет, нет, Кэт не увидит моего дневника, а то мне придется краснеть за себя каждый раз, как только я о нем вспомню. Завтра предаю этот дневник уничтожению.

25 сентября. Опять ночь, опять луна и опять странная, неизъяснимая для меня смесь очарования любви и мучений ущемленного самолюбия. Не игрушка ли... Чьи-то шаги под окном...

Кэт — Лидии.

«28 сентября. Ангел мой, Лидочек!

Мой короткий роман близится к мирному окончанию. Завтра мы уезжаем из Ольховатки. Я нарочно не предупредила Лапшина, а то бы он, чего доброго, вздумал бы явиться на вокзал.

Он очень чувствительный молодой человек и вдобавок совершенно не умеет владеть своей мимикой. Я думаю, он был бы способен расплакаться на вокзале.

Роман наш вышел очень простым и в то же время очень оригинальным романом. Оригинален он потому, что в нем мужчина и женщина поменялись своими постоянными ролями. Я нападала, он защищался. Он требовал от меня клятв в верности чуть ли даже не за гробом. Наконец он мне порядком-таки наскучил. Это — человек не нашего круга, не наших манер и привычек и даже говорит не одним с нами языком. В то же время у него слишком большие требования. Щадя его самолюбие, я ему ни разу даже не намекнула о том, *как* мог бы его принять папа, если бы он явился пред ним в качестве претендента на мою руку.

Глупый! Он сам не хотел продлить эти томительные наслаждения неудовлетворенной любви. В них есть нечто очаровательное. Задыхаться в тесном объятии и медленно сгорать от желания — что может быть лучше этого? Наконец — почем знать? Может быть, есть еще более дерзкие и еще более томительные ласки, о которых я даже и представления не имею. Ах, если бы в нем было хоть немножко той смелости, изобретательности и... и испорченности, которую я раньше с отвращением чувствовала во многих моих петербургских знакомых!

А он, вместо того чтоб становиться с каждым днем смелее и смелее, ныл, вздыхал, говорил с горечью о неравенстве наших положений (как будто бы я согласилась когда-нибудь стать его женой!), намекал чуть ли не на самоубийство. Повторяю тебе, это стало невыносимо. Только одно, одно наше свидание осталось у меня в памяти, — это когда он носил меня на руках по саду и по крайней мере молчал. Ах, да, милая Лидочка, между прочим, он проболтался мне, что пишет дневник. Это меня испугало. Бог знает, куда мог бы потом попасть этот дневник. Я потребовала, чтобы он дал мне его. Он обещал, но обещания своего не исполнил. Тогда (несколько дней тому назад), после долгой ночной прогулки и уже попрощавшись с Лапшиным, я подкралась к его окну. Я застигла его на месте преступления. Он писал, и, когда я его окликнула, он страшно перепугался. Первым движением его было — закрыть бумагу, но, ты понимаешь, я велела ему отдать мне все написанное. Ну, моя дорогая! Это так смешно и так трогательно, и так много жалких слов!.. Я сохраню этот дневник для тебя.

Не упрекай меня. Я не боюсь за него — он не застрелится, и я не боюсь также и за себя — он будет торжественно молчалив во всю свою жизнь. Но, признаюсь, мне отчего-то неопределенно тоскливо... Впрочем, все это пройдет в Петербурге, как впечатление дурного сна.

Обнимаю тебя, моя возлюбленная сестра. Пиши мне в Петербург. Твоя *К.*»

БАРБОС И ЖУЛЬКА

Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нем замечалось отдаленное сходство с белым пуделем, но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал унизан колючими «репяхами», осенью же клоки шерсти на его ногах, животе, извалявшись в грязи и потом высохнув, превращались в сотни коричневых, болтающихся сталактитов. Уши Барбоса вечно носили на себе следы «боевых схваток», а в особенно горячие периоды собачьего флирта прямо-таки превращались в причудливые фестоны. Таких собак, как он, искони и всюду зовут Барбосами. Изредка только, да и то в виде исключения, их называют Дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом.

Жулька также принадлежала к очень распространенной породе маленьких собак, тех тонконогих собачек с гладкой черной шерстью и желтыми подпалинами над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой ее характера была деликатная, почти застенчивая вежливость. Это не значит, чтобы она тотчас же перевертывалась на спину, начинала улыбаться или униженно ползала на

животе, как только с ней заговаривал человек (так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки). Нет, к доброму человеку она подходила с свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапками и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность ее выражалась главным образом в манере есть. Она никогда не попрошайничала, наоборот, ее всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жулька скромно отходила в сторону с таким видом, который как будто бы говорил: «Кушайте, кушайте, пожалуйста... Я уже совершенно сыта...» Право же, в ней в эти моменты было гораздо меньше собачьего, чем в иных почтенных человеческих лицах во время хорошего обеда.

Конечно, Жулька единогласно признавалась комнатной собачкой. Что касается до Барбоса, то нам, детям, очень часто приходилось его отстаивать от справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел весьма смутные понятия о праве собственности (особенно если дело касалось съестных припасов), а во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило стрескать в один присест добрую половину жареного пасхального индюка, воспитанного с особенною любовью и откормленного одними орехами, или улечься, только что выскочив из глубокой и грязной лужи, на праздничное, белое, как снег, покрывало маминой кровати.

Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал: это замечалось по его бровям, все время не перестававшим двигаться. Барбос ждал... Едва только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура, Барбос стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и полным карьером несся на дерзкого нарушителя территориальных законов. Он твердо памятовал великий закон всех единоборств и сражений:

бей первый, если не хочешь быть битым, и поэтому наотрез отказывался от всяких принятых в собачьем мире дипломатических приемов, вроде предварительного взаимного обнюхивания, угрожающего рычания, завивания хвоста кольцом и так далее. Барбос, как молния, настигал соперника, грудью сшибал его с ног и начинал грызню. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком, два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал победу. В то время когда его враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад, Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконник. Правда, что иногда при этом триумфальном шествии он сильно прихрамывал, а уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем слаще казались ему победные лавры.

Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие и самая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйный нрав и дурные манеры, но во всяком случае явно она никогда этого не высказывала. Она даже и тогда сдерживала свое неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно сердитым рычанием делали вид, что ожесточенно грызутся между собой.

Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел ее со своего подоконника, но, вместо того чтобы, по обыкновению, кинуться в бой, он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя одним своим видом панический ужас и на людей и на животных. Люди попрятались за двери и боязливо выглядывали из-за них. Все кричали, распоряжались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешеная собака тем временем уже успела искусать двух свиней и разорвать нескольких уток.

Вдруг все ахнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и во всю прыть своих тоненьких ножек понеслась наперерез бешеной собаке. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой. Потом они столкнулись... Это все произошло так быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернула к воротам и выскочила на улицу.

Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела ее даже укусить. Но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульке... С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости; то лежала по целым часам в каком-нибудь темном углу, то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Она отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда ее звали по имени.

На третий день она так ослабела, что не могла подняться с земли. Глаза ее, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию отца, ее отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. (Ведь известно, что только человек обставляет так торжественно свою смерть. Но все животные, чувствуя приближение этого омерзительного акта, ищут уединения.)

Через час после того, как Жульку заперли, к сараю прибежал Барбос. Он был сильно взволнован и принялся сначала визжать, а потом выть, подняв кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным видом и настороженными ушами щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл.

Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили веревкой; он убегал, но тотчас же упорно возвращался на свое место и продолжал выть.

Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос.

— Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа, — пристали мы к отцу.

Он сначала сказал: «Глупости!» Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить.

И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле, обнюхал ее и с тихим визгом стал лизать ее в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову — ей это не удалось. В прощании собак было что-то трогательное. Даже прислуга, глазевшая на эту сцену, казалась тронутой.

Когда Барбоса позвали, он повиновался и, выйдя из сарая, лег около дверей на земле. Он уже больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае. Часа через два он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала неподвижно на боку. Она издохла...

ДЕТСКИЙ САД

Илья Самойлович Бурмин служил старшим писцом в сиротском суде. Когда он овдовел, ему было около пятидесяти лет, а его дочке — семь. Сашенька была девочкой некрасивой, худенькой и малокровной; она плохо росла и так мало ела, что за обедом каждый раз приходилось ее стращать волком, трубочистом и городовым. Среди шума и кипучего движения большого города она напоминала те чахлые травинки, которые вырастают — бог весть каким образом — в расщелинах старых каменных построек.

Однажды она заболела. Вся ее болезнь заключалась в том, что она по целым дням безмолвно сидела в темном уголку, равнодушная ко всему на свете, тихая и печальная. Когда Бурмин ее спрашивал: «Что с тобой, Сашенька?» — она отвечала жалобным голосом: «Ничего, папа, мне просто скучно»...

Наконец Бурмин решился позвать доктора, жившего напротив. Доктор спустился в подвал, где Бурмин занимал правый задний угол, и долго искал места для своей енотовой шубы. Но так как все места были сыры и грязны, то он остался в шубе. Кругом его, но на почтительном расстоянии, столпились бабы — обитательницы того же подвала — и, подперши подбородки ладонями, глядели на доктора жалостными глазами и вздыхали, слыша слова «апатия», «анемия» и «рахитическое сложение».

— Ей нужно хорошее питание, — сказал строгим тоном доктор, — крепкий бульон, старый портвейн, свежие яйца и фрукты.

— Да, да... так, так, так, — твердил Илья Самойлович, привыкший еще у себя в сиротском суде к подобострастному согласию со всяким начальством.

В то же время он сокрушенно глядел вверх, на зеленые стекла окна и на пыльные герани, медленно умиравшие в промозглой атмосфере подвала.

— Всего важнее свежий воздух... Я бы особенно рекомендовал вашей дочери южный берег Крыма и морские купанья...

— Да, да, да... Так, так...

— И виноградное лечение...

— Так-с, так-с... Виноградное...

— А главное, повторяю, свежий воздух и зелень, зелень, зелень... Затем, извините... Чрезвычайно занят... Что это? Нет, нет... не беру, с бедных не беру... Всегда бесплатно... Бедных всегда бесплатно... До свидания-с.

Если бы у Ильи Самойловича потребовали для благополучия его дочери отдать на отсечение руку (но только — левую, правой он должен был писать), он ни на секунду не задумался бы. Но старый портвейн и — 18 рублей и 33¹/₃ копеек жалованья...

Девочка хирела.

— Ну, скажи мне, Сашурочка, скажи, моя кисинька, чего бы ты хотела? — спрашивал Илья Самойлович, с тоской глядя в большие серьезные глаза дочери.

— Ничего, папа...

— Хочешь куклу, деточка? Большую куклу, которая закрывает глаза?

— Нет, папа. Ску-учно.

— Хочешь конфетку с картинкой? Яблочко? Башмачки желтые?

— Скучно!

Но однажды у нее явилось маленькое желание. Это случилось весной, когда пыльные герани ожили за своим зеленым стеклом, покрытым радужными разводами.

— Папа... в сад хочу... Возьми в сад... Там... листики зелененькие... травка... как у крестной в садике... Поедем к крестной, папочка...

Она только раз и была в саду, года два тому назад, когда провела два дня на даче у крестной матери, жены письмоводителя мирового судьи... Она, конечно, не могла помнить, как сенсационно швыряла «письмоводителька» чуть ли не в лицо своим кумовьям стаканами со спитым чаем и как умышленно громко, тоном сценического à part [1], ворчала она за перегородкой о всякой шушере, перекатной голи, которая и так далее...

— Хочу к крестной в сад, папочка...

— Хорошо, хорошо, деточка, не плачь, кисюринька моя, вот будет хорошая погодка, и в садик тогда пойдешь...

Наступила, наконец, хорошая погодка, и Бурмин отправился с дочкой в общественный сад. Сашенька точно ожила. Она, конечно, не посмела принять участия в делании из песка котлет и вкусных пирожных, но глядела на других детей с нескрываемым удовольствием. Сидя неподвижно на высокой садовой скамеечке, она казалась такой бледной и болезненной среди этих краснощеких, мясистых детей, что одна строгая и полная дама, проходя мимо нее, произнесла, обращаясь, по-видимому, к старой, тенистой липе:

— Удивляюсь, чего это полиция смотрит?.. Пускают в сад больных детей... Какое безобразие! Еще других перезаразят...

Замечание строгой дамы не удержало бы, без сомнения, Илью Самойловича от удовольствия видеть лишний раз радость дочери, но, к сожалению, городской сад находился очень далеко от Разбойной улицы. Девочка не могла пройти пешком и ста саженей, а конка туда и обратно обходилась обоим сорок четыре копейки, то есть гораздо более половины дневного жалованья Ильи Самойловича. Приходилось ездить только по воскресеньям.

---

[1] В сторону, про себя *(франц.)*.

А девочка все хирела. Из ума Бурмина между тем не выходили слова енотового доктора о воздухе и зелени.

«Ах, если бы нам воздуху, воздуху, воздуху!» — сотни и тысячи раз твердил про себя Илья Самойлович.

Эта мысль обратилась у него чуть ли не в пункт помешательства. Почти напротив его подвала простирался огромный пустырь городской земли, где попеременно то в пыли, то в грязи купались обывательские свиньи. Мимо этого пустыря Илья Самойлович никогда не мог пройти без глубокого вздоха.

— Ну, что стоит здесь развести хоть самый маленький скверик? — шептал он, покачивая головой. — Детишкам-то, детишкам-то как хорошо будет, господа!

С планом превращения этого пустыря он как истый фанатик идеи носился всюду. Его на службе даже прозвали «пустырем». Однажды кто-то посоветовал Илье Самойловичу:

— А вы бы написали проектец и подали бы в городскую думу...

— Ну? — обрадовался и испугался Илья Самойлович. — В думу, вы говорите?

— В думу. Самое простое дело. Так и так, мол, состоя в звании обывателя... в виду общей пользы, украшения, так сказать, города... ну, и все такое.

Проект был написан через месяц, проект безграмотный, бессвязный и наивный до трогательности. Но если бы каждый штрих его каллиграфических букв сумел вдруг заговорить с той страстной надеждой, с какой его выводила на министерской бумаге рука Ильи Самойловича, тогда, без сомнения, и городской голова, и управа, и гласные побросали бы все текущие дела, чтобы немедленно осуществить этот необычайно важный проект.

Секретарь велел прийти через месяц, потом через неделю, потом опять через неделю. Наконец он ткнул бумагой чуть ли не в самый нос Бурмина и закричал:

— Ну, чего вы лезете? Чего? Чего? Чего? Это дело не ваше, а городского самоуправления!

Илья Самойлович поник головой. «Самоуправления, — скорбно шептали его губы... — Да, вот оно, штука-то, само-упра-вления!»

Потом секретарь вдруг спросил строгим тоном, где служит Илья Самойлович. Бурмин испугался и стал просить извинения. Секретарь извинил, и Бурмин, скомкав бумагу, поспешно выбежал из думы.

Но неудача не убила его деятельности пропагандиста. Только теперь в его уме к образу Сашеньки, продолжавшей хиреть без солнца и воздуха, присоединились бледные личики многих сотен других детей, задыхавшихся, подобно его дочери, в подвалах и на чердаках. Поэтому он настойчиво являлся со своим проектом и в полицию, и в военное ведомство, и к мировым судьям, и к частным благотворителям. Конечно, отовсюду его прогоняли.

Один из его сослуживцев, копиист Цытронов, считался очень светским человеком, потому что посещал трактир «Юг» и читал единственную городскую газету — «Непогрешимый». Он как-то, не то шутя, не то серьезно, сказал Илье Самойловичу:

— Вот если бы про этот пустырь продернуть в фельетоне, тогда было бы дело другого рода... Вы не читали никогда фельетонов «Скорпиона»?.. Какое перо! Так прямо и катает: у Николай Николаича, мол, гордая походка и левое плечо выше правого. Ядовитый господин!

Скрепя сердце переступил Илья Самойлович порог редакции (в думу он шел гораздо смелее). В большой комнате, пахнущей резиной и типографской краской, сидело за столом пять косматых мужчин. Все они выстригали из огромных куч газет какие-то четырехугольные кусочки и зачем-то наклеивали их на бумагу.

Как ни добивался Илья Самойлович, чтобы ему показали «Скорпиона», он не успел в этом.

— Скажите сначала, зачем вам его надо, — говорили ему косматые мужчины, — разве вы не знаете, что псевдоним сотрудника есть редакционная тайна?

Однако, когда Илья Самойлович рассказал им свой заветный проект, косматые мужчины сделались

откровенны и обещали Бурмину свое покровительство.

А Сашенька уже не вставала с кровати и лежала в ней бледная, вытянувшаяся, с носиком, заострившимся, как у мертвеца.

— Хочу в садик, папочка, в садик, скучно мне, папа, — твердила она тоскливым голосом.

Может быть, ее больной организм инстинктивно жаждал чистого воздуха, подобно тому как рахитические дети бессознательно едят мел и известь?

Бурмин старался согреть поцелуями ее худенькие, холодные руки и говорил ей неожиданные трогательные слова, которые становятся такими смешными в чужой передаче.

Весной, когда иссохшие герани потянулись опять к солнцу, Сашенька умерла. Подвальные бабы обмыли ее и обрядили и положили сначала на стол, а потом в гроб. Илья Самойлович точно окаменел. Он не плакал, не произносил ни слова и не отводил глаз от маленького бледного личика.

Только в день похорон, когда убогая процессия проходила мимо пустыря, он немного оживился. На пустыре копошились с лопатами десятка два рабочих.

— Что же это такое? — спросил Илья Самойлович Яковлевну, свою соседку по подвалу, торговавшую на базаре селедками.

— Чи я знаю? — ответила Яковлевна сквозь обильные слезы. — Кажут люды, що якыйсь садок тут поставлять. Дума... чи як еи?..

Тогда Илья Самойлович вдруг прерывисто вздохнул, перекрестился, и громкие облегчающие рыдания неудержимо вырвались из его груди.

— Ну, вот и слава богу, и слава богу, — сказал он, обнимая Яковлевну. — Теперь и у наших деточек свой садик будет. А то разве нам можно на конках ездить, Яковлевна? Ведь это не шутка — сорок четыре копейки туда и обратно.

ALLEZ![1]

Этот отрывистый, повелительный возглас был первым воспоминанием mademoiselle Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый, младенческий язычок, и всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы: холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха.

— Allez!..

В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы; они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапеций там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Глаз едва различает только первые ряды кресел, между тем как места за ложами и галерея совсем утонули во мраке.

Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с

[1] Вперед, марш! *(франц.)*

цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх водит вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, и из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше.

Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов — все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им...

— Allez!..

А вот она, в короткой газовой юбочке, с обнаженными худыми, полудетскими руками, стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции, у ног девочки, висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина, в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и... хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные, безжалостные руки (о, с каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей!), но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса, и она только крепче стискивает тонкие веревки. Опущенные безжалостные руки подымаются опять, взгляд акробата становится еще напря-

женнее... Пространство внизу, под ногами, кажется бездной.

— Allez!..

Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху «живой пирамиды» из шестерых людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змеи, телом, между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в «икарийских играх». Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги... И везде те же глупо красивые лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела, и везде все тот же страх и тот же неизбежный, роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак:

— Allez!..

Ей только что минуло шестнадцать лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же, бесчувственную, унесли за кулисы и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. «Публика волнуется и начинает расходиться, — говорили вокруг нее, — идите и покажитесь публике!..» Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку «грациозной наездницы», но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа, к публике.

— Allez!..

В этот сезон в цирке «работал» в качестве гастролера клоун Менотти, — не простой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками, — а клоун-знаменитость, первый соло-клоун и подражатель в свете, всемирно известный дрессировщик, полу-

чивший почетные призы и так далее и так далее. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по двести рублей за выход, гордился тем, что вот уже пять лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров «разбитым» и с приподнятой горечью говорил про себя: «Да! Мы — шуты, мы должны смешить *сытую* публику!» На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты, или декламировал стихи своего сочинения, или продергивал думу и канализацию, что, в общем, производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривлянья. В жизни же он имел вид томно-покровительственный и любил с таинственным, небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.

Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показалась в цирк, на утреннюю репетицию, Менотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало-влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь.

Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый, первый соло-клоун всегда останавливался.

Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась — частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Менотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал:

— Allez!..

И она пошла... Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти бога... Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать.

В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла брильянты и медали Менотти во

время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольд-крем и — что всего важнее — верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил о чем с ней говорить и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека пресыщенного, но милостиво позволяющего обожать себя.

Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших «воздушные полеты». Теперь он совершенно не стеснялся с Норой и нередко в уборной, перед глазами артистов и конюхов, колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака.

Наконец однажды, ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Менотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал:

— Allez!..

Но через два дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: «К ним нельзя-с, они в кабинете, заняты с барышней-с».

Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Менотти. Да, он был там: она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.

Малиновые с золотом обои, яркий свет двух канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах, Менотти, лежащий без сюртука на

диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем, запах духов, вина, сигары, пудры, — все это сначала ошеломило ее; потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, — и началась свалка...

Когда Менотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней, Менотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал:

— Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда!

Она встала, задыхаясь, и зашептала:

— А-а! В таком случае... в таком случае...

Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы.

Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей.

Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса... Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке:

— Allez!..

БРЕГЕТ

Я необыкновенно живо помню этот длинный декабрьский вечер. Я сидел у круглого обеденного стола и при ярком свете висячей лампы читал толстый истрепанный том «Северной пчелы», тот самый милый мне по воспоминаниям том, который я непременно каждый раз заставал и терпеливо прочитывал с начала до конца, приезжая на рождественские каникулы в Ружичную. Дядя Василий Филиппович сидел против меня в низком и глубоком кожаном кресле, протянув вдоль ковровой скамеечки свои подагрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета. Его лицо оставалось в тени; только страшные белые усищи и трубка между ними попали в светлый круг и рисовались чрезвычайно отчетливо. Иногда я отрывался от книги и прислушивался к метели, разгулявшейся на дворе. Всегда есть что-то ужасное, какая-то угрюмая и злобная угроза в этих звуках, начинающихся глухим рыданием, восходящих по хроматической гамме до пронзительного визга и опять спускающихся вниз. А деревья в это время качаются и гудят своими вершинами, ветер свистит и плачет в трубах, и при каждом новом порыве бури кажется, будто кто-то бросает в ставни горсти мелкого сухого снега. И, когда я прислушивался к этому дьявольскому концерту, моя мысль невольно останавливалась на том, что вот я сижу теперь в ветхом помещичьем доме, затерянном среди унылых снежных

равнин, сижу глаз на глаз с дряхлым, больным стариком, далеко от города, от привычного общества, и мне начинало казаться, что никогда, никогда уж больше не окончится это завывание вьюги, и эта длительная тоска, и однозвучный ход маятника...

— Ты говоришь — случайности, — произнес вдруг Василий Филиппович, грузно повертываясь в своем кресле и заслоняясь рукой от света, — а ты знаешь ли, что жизнь иногда возьмет да удерет такую шутку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает?..

Я сначала не понял, к чему относилось это восклицание, но потом вспомнил, что у нас за обедом был разговор о безбрежности книжного вымысла, и спросил:

— Почему вы вдруг об этом заговорили, дядя?

— Да так себе... сижу я вот теперь... тихо кругом... на дворе погода... ну и того, знаешь, разная старина в голову лезет... Припомнился мне один случай, вот я и сказал...

Дядя замолчал и долго с томительным кряхтеньем укутывал больные ноги. Потом он начал:

— Собрались мы раз у ротмистра фон Ашенберга на именины. Было дело зимой. А мы, надо тебе сказать, то есть наш N-ский гусарский полк, только что воротился тогда из венгерской кампании, и начальство нас расквартировало по омерзительным деревушкам. Глушь и тоска — просто невероятные. Ездили мы, правда, по окрестным попам, — ну, да посуди сам, что ж тут веселого? Оставалось нам только одно — беспросветное пьянство и карты, карты и пьянство. Так мы и положили себе за правило, что

...кто в день два раза не пьян,
Тот, извините, не улан...

Ну, так вот, собрались мы. Во-первых, штаб-ротмистр Иванов 1-й... Теперь в полках старики плачутся, что измельчал народ и что молодежь никуда не годится. Так же и штаб-ротмистр Иванов 1-й на нас плакался. А надо тебе сказать, что по летам он был самый старший офицер в полку, и все знали (и весь полк этим гордился), что он в свое время с самим Денисом был

на ты, а с Бурцовым пил и дебоширил целых шесть месяцев подряд. Затем был майор Кожин, — этот славился по всей легкой кавалерии своим изумительным голосом. Черт знает, что за голос был! Иной раз во время хорошей выпивки возьмет стакан, приставит ко рту да как гаркнет. Ну, вот ты смеешься, — а у него, честное слово, одни осколки оставались в руках. Были два поручика — Резников и Белаго; мы их звали «инсепараблями» [1], или мужем и женой, потому что они никогда не расставались и всегда жили на одной квартире. Был еще казачий есаул Сиротко, или иначе — «ежова голова», — потому что он ко всякому слову прибавлял «ежова голова». Потом был корнет граф Ольховский — так себе, телятина, однако ничего... добрый малый, хотя и наивный и глуповатый; его к нам только что из юнкеров произвели... Был также в этой компании поручик Чекмарев, наш общий любимец и баловень. Про него даже штаб-ротмистр Иванов 1-й говорил иногда в добрую минуту: «Вот этот мальчишка... еще куда ни шло, у него кишки в голове гусарские... Этот не выдаст...» Веселый, щедрый, ловкий, красавец собою, великолепный танцор и наездник — словом, чудесный малый. И что к нему особенно привлекало наши грубоватые сердца, так это — какая-то удивительная нежность, почти женственность в улыбке и обращении. Кроме того, надо тебе сказать, что он был очень богат и его кошелек всегда был в общем распоряжении.

Собрались мы все люди холостые (у нас в полку женатых всего только двое было) и выпили страшно много. Пили за здоровье хозяина, пили круговую, пили «аршинную» — выстраивали рюмки в длину на аршин и пили, позвали песенников и с песенниками пили, вызвали оркестр полковой — под оркестр пили... Есаул Сиротко — ежова голова — к каждой рюмке говорил присловья: «два сапога — пара, без троицы дом не строится, без четырех углов дом не становится», и так чуть ли не до пятидесяти, и бо̀льшая часть из них были совсем неприличные.

---

[1] Неразлучными (от *франц.* inséparable).

В это время кто-то, кажется один из «инсепараблей», вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в дьябелок, иначе ландскнехт. Оказалось, что он выиграл полторы тысячи деньгами, каракового жеребца и золотые часы-брегет. Ольховский нам эти часы сейчас же и показал. Действительно, хорошие часы: с резьбой, с украшениями, и когда сверху надавить пуговку, то они очень мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Старинные часы.

Ольховский немного заважничал.

— Это, — говорит, — очень редкая вещь. Я ее ни за что из рук не выпущу. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше двух-трех экземпляров.

Чекмарев на это улыбнулся.

— Напрасно вы такого лестного мнения о ваших часах. Я вам могу показать совершенно такие же. Они вовсе не такая редкость, как вы думаете.

Ольховский недоверчиво покачал головой:

— Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь...

— Как вам угодно. Хотите — пари?

— С удовольствием... Когда же вы их достанете?

Но это пари показалось обществу неинтересным. Есаул Сиротко взял Ольховского за ворот и оттащил в сторону со словами:

— Ну, вот, ежовы головы, затеяли ерунду какую-то. Пить так пить, а не пить, так уж лучше в карты играть...

Попойка продолжалась. Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом:

— Драбанты — к черту! (Драбантами у нас назывались денщики.) Двери на запор! Чикчиры долой! Жженка идет!..

Прислуга была тотчас же выслана, двери заперты, и огонь потушен. Утвердили сахарную голову над тремя скрещенными саблями, под которыми поместили большой котел. Ром вспыхнул синим огоньком, и штабротмистр Иванов 1-й затянул фальшивым баритоном:

Где гусары прежних лет?
Где гусары удалые?

Мы подтягивали ему нестройным хором. Когда же дошел до слов:

Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носа-а-ами, —

голос его задрожал и зафальшивил больше прежнего.

Жженка еще не сварилась, как вдруг есаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул:

— Братцы мои! Ежовы головы! А ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приемка обоза. Удирать надо, ребята.

— Сиди, сиди, врешь все, — сказал штаб-ротмистр Иванов 1-й.

— Ей-богу же, голубчик, нужно... Пустите, ежовы головы. К восьми часам надо быть непременно, я ведь все равно скоро вернусь. Ольховский, сколько часов теперь? Позвони-ка!

Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном:

— Вот так штука!..

— Что такое случилось? — спросил фон Ашенберг.

— Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик.

— А ну-ка, посветите, господа.

Зажгли огонь, принялись искать часы, но их не находилось. Всем нам почему-то сделалось неловко, и мы избегали глядеть друг на друга.

— Когда вы у себя их последний раз помните? — спросил фон Ашенберг.

— Да вот как только дверь заперли... вот сию минуту. Я еще снимал мундир и думаю: положу их около себя, в темноте по крайней мере можно будет час узнать...

Все замолчали и потупились. Иванов 1-й внезапно ударил кулаком по столу с такой силой, что стоявшие на нем рюмки зазвенели и попадали.

— Черт возьми! — закричал он хрипло. — Давайте же искать эти поганые часы. Ну, живо, ребята, лезь под стол, под лавки. Чтобы были!..

Мы искали около четверти часа и совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно: «Ах, господа, да черт с ними... да ну их к бесу, эти часы, господа...» Но Иванов 1-й прикрикнул на него, страшно выкатывая глаза:

— Дурак! Наплевать нам на твои часы. Понимаешь ли ты, что *при-слу-ги здесь не бы-ло.*

Наконец мы сбились с ног в поисках за этими проклятыми часами и сели вокруг стола в томительном молчании. Кожин тоскливо обвел нас глазами и спросил еле слышно:

— Что же теперь делать, господа?

— Ну, уж это ваше дело, что делать, майор, — сурово возразил Иванов 1-й. — Вы между нами старший... А только часы должны непременно найтись.

Было решено, что каждый из нас позволит себя обыскать. Первым подошел есаул Сиротко, за ним штаб-ротмистр Иванов 1-й. Лицо старого гусара побагровело, и шрам от сабельного удара, шедший через всю его седую голову и через лоб до переносицы, казался широкой белой полосой. Дрожащими руками он выворачивал карманы с такой силой, точно хотел их совсем выбросить из чикчир, и бормотал, кусая усы:

— Срам! Мерзость! В первый раз N-цы друг друга обыскивают... Позор!.. Стыдно моим сединам, стыдно...

Таким образом, мы все поочередно были обысканы. Остался один только Чекмарев.

— Ну, Федюша, подходи... что же ты? — подтолкнул его с суровой и грустной лаской Иванов 1-й.

Но он стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с вздрагивающими губами, и не двигался с места.

— Ну, иди же, Чекмарев, — ободрял его майор Кожин. — Видишь, все подходили...

Чекмарев медленно покачал головой. Я никогда не забуду кривой, страшной улыбки, исказившей его губы, когда он с трудом выговорил:

— Я... себя... не позволю... обыскивать...

Штаб-ротмистр Иванов 1-й вспыхнул:

— Как, черт возьми? Пять старых офицеров позволяют себя обыскивать, а ты нет? У меня вся морда, видишь, как исполосована, и зубы выбиты прикладом,

и, однако, меня обыскивали... Что же ты, лучше нас всех? Или у тебя понятия о чести щепетильнее, чем у нас? Сейчас подходи, Федька, слышишь?

Но Чекмарев опять отрицательно покачал головой.

— Не пойду, — прошептал он.

Было что-то ужасное в его неподвижной позе, в мертвенном взгляде его глаз и в его напряженной улыбке.

Иванов 1-й вдруг переменил тон и заговорил таким ласковым тоном, какого никто не мог ожидать от этого старого пьяницы и грубого солдата:

— Федюша, голубчик мой, брось глупости... Ты знаешь, я тебя, как сына, люблю... Ну, брось, милый, прошу тебя... Может быть, ты как-нибудь... ну, знаешь, того... из-за этого дурацкого пари... понимаешь, пошутил... а? Ну, пошутил, Федюша, ну, и кончено, ну, прошу тебя...

Вся кровь бросилась в лицо Чекмареву и сейчас же отхлынула назад. Губы его задергались. Он молча с прежней страдальческой улыбкой покачал головой... Стало ужасно тихо, и только сердитое сопенье майора Кожина оглушительно раздавалось в этой тишине.

Иванов 1-й глубоко, во всю грудь, вздохнул, повернулся боком к Чекмареву и, не глядя на него, сказал глухо:

— В таком случае знаете, поручик... мы хотя и не сомневаемся в вашей честности... но, знаете... (он быстро взглянул на Чекмарева и тотчас же опять отвернулся), знаете, вам как-то неловко оставаться между нами...

Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот грохнется на пол. Но он справился с собой и, поддерживая левой рукой саблю, глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик, медленно прошел к двери. Мы безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу.

О продолжении попойки нечего было и думать, и фон Ашенберг даже и не пробовал уговаривать. Он позвал денщиков и приказал им убирать со стола. Все мы — совершенно отрезвленные и грустные — сидели молча, точно еще ожидали чего-то.

Вдруг Байденко, денщик хозяина, воскликнул:

— Ваш выс-кроды! Тутечка якись часы!

Мы бросились к нему. Действительно, на полу, под котелком, предназначенным для жженки, лежал брегет Ольховского.

— Черт его знает, — бормотал смущенный граф, — должно быть, я их как-нибудь нечаянно ногой, что ли, туда подтолкнул.

Прислуга была вторично удалена, чтобы мы могли свободно обсудить положение дела. Молодежь подавала сочувствующие голоса за Чекмарева, но старики смотрели на дело иначе.

— Нет, господа, он оскорбил нас всех и вместе с нами весь полк, — сказал своим густым решительным басом майор Кожин. — Почему мы позволили себя обыскать, а он — нет? Оскорби одного офицера — это решилось бы очень просто: пятнадцать шагов, пистолеты, и дело с концом. А тут совсем другое дело. Нет-с, он должен оставить N-ский полк, и оставит его.

Фон Ашенберг, Иванов 1-й и есаул подтвердили это мнение, хотя видно было, что им жаль Чекмарева. Мы стали расходиться. Медленно, безмолвно, точно возвращаясь с похорон, вышли мы на крыльцо и остановились, чтобы проститься друг с другом.

Какой-то человек быстро бежал по дороге, по направлению к дому фон Ашенберга. Иванов 1-й раньше всех нас узнал в нем денщика поручика Чекмарева. Солдат был без шапки и казался страшно перепуганным. Еще на ходу он закричал, еле переводя дух:

— Ваш-скородь... несчастье!.. Поручик Чекмарев застрелились!..

Мы кинулись на квартиру Чекмарева. Двери были не заперты. Чекмарев лежал на полу, боком. Весь пол был залит кровью, дуэльный большой пистолет валялся в двух шагах... Я глядел на прекрасное лицо самоубийцы, начинавшее уже принимать окаменелость смерти, и мне чудилась на его губах все та же мучительная, кривая улыбка.

— Посмотрите, нет ли записки, — сказал кто-то.

Записка действительно нашлась. Она лежала на письменном столе, придавленная сверху... чем бы ты думал?.. золотыми часами, брегетом, и — что всего

ужаснее — брегет был, как две капли воды, похож на брегет графа Ольховского.

Записку эту я помню наизусть. Вот ее содержание:

«Прощайте, дорогие товарищи. Клянусь богом, клянусь страданиями господа Иисуса Христа, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же брегет, как и у корнета графа Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в живых, кто мог бы это засвидетельствовать, и потому мне остается выбирать только между позором и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся и моя невинность будет таким образом доказана, прошу штаб-ротмистра Иванова 1-го все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой брегет».

И затем подпись.

Дядя Василий Филиппович совсем ушел в тень лампы. Он очень долго сморкался и кашлял под ее прикрытием и, наконец, сказал:

— Вот видишь, какие случайности есть в запасе у жизни, голубчик...

ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ

Ялта, 22 августа 18** г.

Милостивая государыня!

Нет сомнения, что настоящее письмо удивит вас или даже, может быть, раздосадует. Конечно, ничто не мешает вам бросить его в камин не читая, но во всяком случае я прошу вас прежде поглядеть на конверте штемпель места отправления. Вы увидите, что это письмо писано за две тысячи верст с лишком от вас. Это обстоятельство, в связи с тем, что я открыто подписываю внизу свое имя и фамилию, может вам послужить ручательством, что вы не сделались в данном случае предметом ни мистификации, ни шантажа, ни интриги, ни тем более каких-нибудь безумных надежд с моей стороны.

...Это случилось в Петербурге, ровно четыре года тому назад, 22 августа 18** года. О, даже умирая, я вспомню это число и этот ненастный, мокрый и холодный вечер! В воздухе висел густой туман, и в двадцати шагах глаз ничего не разбирал. Огни электрических фонарей казались издали большими и радужными пятнами. Отовсюду, и справа и слева, слышалось шлепанье невидимых экипажей. Изредка серую мглу быстро прорезали два желтых огненных пятна — это проезжала карета. Где-то с неумолкаемым звоном влачилась конка, но ее не было видно. Я бесцельно бродил по улицам, изредка останавливаясь

перед освещенными окнами. Иногда я простаивал перед ними до десяти минут и более, охваченный странным, мечтательным любопытством. Особенно привлекали меня квартиры с богатой обстановкой: с люстрами, коврами, зеркалами, цветами и шелковой мебелью. Я был тогда беден и одинок (как и теперь, впрочем). Мыканье по урокам, жизнь в меблированных комнатах и дешевые обеды подточили мое здоровье, а вечное одиночество сделало меня диким и нелюдимым мечтателем. И вот именно этой-то чудовищной мощи мечты я и был обязан теми наслаждениями, которые я испытывал, стоя перед освещенными окнами незнакомых домов, затерянный среди ночи и тумана и равнодушной суеты столичного города. Я жил двумя жизнями. Днем — робкий и неуклюжий с ненавистным мне самому лицом, в картонной манишке и в панталонах, висящих внизу бахромой, как шерсть у запущенного пуделя, — днем я заискивал перед швейцарами, тщательно прятал под стул, на котором сидел, свои дырявые сапоги, страдал, когда мне пренебрежительно не подавали руки, и стыдливо избегал людных улиц. Но зато вечером, под моими любимыми окнами — о! вечером я бывал и ловок, и красив, и умен. Я одерживал победы над женщинами и влиял на биржу. Какие у меня были лошади и какой великолепный стол!.. Я входил в эти прекрасные комнаты, освещенные канделябрами и насыщенные теплым ароматом духов и растений: эти комнаты принадлежали мне. Я играл вон с теми тремя стариками аристократического типа в карты, и мы не спеша обменивались важными изысканными выражениями. Я очаровывал общество пением, стоя вон у того раскрытого рояля. Я бывал то мужем, то женихом, то любовником всех этих красивых женщин с размеренными движениями, утопающих в кружевах и полулежащих на причудливо изогнутой мебели. Женщины в такие вечера особенно сильно овладевали моим воображением. А днем я ни за что не осмелился бы сказать любезность простой судомойке.

Впрочем, я отвлекся в сторону. Прошу простить меня за невольное отступление и продолжаю. На углу

Литейной и Невского стояла неподвижно около фонаря какая-то неясная, благодаря туману, фигура. Я подошел ближе и остановился в изумлении. Не то поразило меня, что это была женщина, — кто же не знает, как много и каких именно женщин высылают в такую пору на улицы Петербурга легкомыслие, обман и нищета? Но как могла очутиться именно такая женщина, в грязный осенний вечер, на людном городском перепутье и одна, совершенно одна — без спутника, без провожатого или без лакея? Это было для меня так же удивительно и так же непонятно, как если бы зимою среди поля я увидал лежащую на снегу красную розу. В ее высокой фигуре, в позе, в каждой складке ее темного платья чувствовалась женщина высшего света, одна из тех женщин, которых в такой вечер можно увидеть только в тот момент, когда, выйдя из кареты, они торопливо и легко проходят по красному сукну освещенного подъезда между двумя рядами больших растений в кадках, оставляя за собой едва уловимый запах духов. И не я один это чувствовал. Мимо незнакомки, покамест я наблюдал ее, прошло несколько уличных шатунов в подвороченных панталонах и с папиросками в зубах. Но никто не осмелился подойти к ней, ни у одного из них не хватило смелости заговорить с этой женщиной.

Она была, по-видимому, чем-то взволнована. Несколько раз она нетерпеливо повертывала голову то в одну, то в другую сторону и время от времени нервно стучала зонтиком по грязным плитам мостовой.

Сначала я подумал было, что она кого-нибудь дожидается, — конечно, возлюбленного. Но я тут же отбросил эту мысль, вспомнив обстановку адюльтера из бесчисленного множества поглощенных мною французских романов. Там, обыкновенно, la petite baronne de Coussy[1], назначив свидание своему Raymond'у[2], едет сначала в собственной карете, выходит из нее в отдаленном пункте города, затем, отослав кучера, нанимает фиакр и только таким путем попадает, нако-

[1] Маленькая баронесса де Кусси *(франц.)*.
[2] Раймонду *(франц.)*.

нец, в nôtre petit nid [1], которое с таким вкусом меблировано очаровательным Raymond'ом. Тем более что, если бы она ждала кого-нибудь, она непременно поглядывала бы довольно часто на часы. Но, может быть, она в горе? в нужде? в затруднении?

И вдруг, толкаемый какой-то пружиной, я подошел к незнакомке и приподнял шляпу. От испуга перед собственным поступком я почувствовал, как сердце у меня забилось, а во рту пересохло. Однако я нашел в себе силу, чтобы пролепетать:

— Простите мою смелость, сударыня, но я вижу, что вы находитесь в затруднении... Может, вы заблудились?.. Не могу ли я чем-нибудь служить вам?

Она посмотрела на меня... Нет, не посмотрела, а именно, как говорится в романах, «смерила с ног до головы», смерила долгим и молчаливым взглядом и вдруг произнесла тоном решимости, не поддающимся никакому описанию:

— Вы или другой... все равно!..

И, быстро взяв меня под руку, она прибавила почти повелительно:

— Идемте.

На углу, как раз около того места, где мы разговаривали, стоял извозчик. Я вспомнил о том, что у меня в кармане болтаются два рубля с мелочью, предназначенные на уплату части квартирного долга.

— Не удобнее ли будет вам поехать на извозчике? — спросил я.

Не отвечая ни слова на мой вопрос, незнакомка поспешно вскочила в пролетку. Я стоял в замешательстве рядом. Она левой рукой подобрала под себя платье и нетерпеливо воскликнула:

— Да садитесь же наконец!

Я поспешно повиновался.

— Куда прикажете? — спросил извозчик, перегибаясь с козел.

— Куда прикажете? — повторил я, как эхо.

Боже мой! Какое прекрасное и гневное лицо вдруг обернулось ко мне.

---

[1] Наше маленькое гнездышко *(франц.)*.

— Разве мне это не все равно? Куда вы возите этих... — она запнулась и выговорила с брезгливым подчеркиванием, — ...этих, вот этих женщин?

Я велел извозчику ехать прямо. Мы миновали Литейную, миновали еще какую-то улицу. Она молчала, а я, боясь с ней заговорить, недоумело соображал — кто же моя загадочная спутница: морфинистка, безумная или приезжая и обобранная кем-нибудь женщина, не знающая города и оставшаяся без средств? Может быть, она потрясена каким-нибудь слишком сильным горем? Может быть, она потребует в чем-нибудь помочь ей? Но — клянусь богом — ни одна нехорошая мысль не приходила мне в голову. Несколько раз незнакомка делала жесты, по которым я мог судить о ее нетерпении.

Вдруг она отрывисто спросила:

— Что же, скоро мы приедем?

— Простите меня... я... я, право... я не совсем понял вас... я ведь не знаю, куда вам угодно.

Она со злостью ударила рукой по зонтику.

— Ах, господи!.. Я вам сказала уже, что не знаю ваших грязных притонов...

В это время мы проезжали мимо вывески. Висевший над ней фонарь позволял прочитать: «Номера Занзибар, помесячно и посуточно».

— Вот гостиница, — сказал я робко.

Она безмолвно наклонила голову и совсем от меня отвернулась. Я остановил извозчика. Дверь на блоке пронзительно и протяжно завизжала. Перед нами круто подымалась узкая деревянная лестница с грязной полотняной дорожкой, а вдоль нее на стене были нарисованы какие-то деревья, около них — барашки.

Пахло щами и керосиновым газом. Я закричал изо всех сил: «Коридорный!» Мне ответил звонкий резонанс, но никто не явился на мой зов. Я оглянулся на свою даму: она не глядела на меня, и мне казалось, что она дрожит. Тогда я закричал громче прежнего: «Номерной! Швейцар!»

На этот раз на лестнице показался босой парень, заспанный и опухший, в красной рубахе, выпущенной из-под жилета. Он нехотя спустился до половины лест-

ницы, остановился, почесал одной ногой другую, потом почесал лохматую голову и, не раскрывая слипшихся глаз, спросил сиплым голосом:

— Что нужно?

— Есть номера свободные?

— Есть. Вам большой номер?

— Все равно, только скорее!

Он повернулся и, лениво сказав: «Пожалуйте», стал подыматься вверх. Я в последний раз посмотрел на незнакомку, и как будто бы она на этот вопросительный взгляд с какой-то вызывающей смелостью побежала по ступеням. Я пошел сзади. Она была без калош; уличная грязь забрызгала ее узенькие лакированные туфельки, низ черной юбки и ажурные чулки, и — странно — это мелочное наблюдение наполнило мое сердце невыразимой жалостью...

Босой парень ждал нас у двери номера с огарком в руках.

Мы вошли. Теперь, когда я пишу эти строки, передо мной с беспощадной ясностью восстает пошлая обстановка этого «номера» (как теперь помню — десятого): прямо перед дверью в наклонном положении — круглое зеркало в облупившейся бронзовой раме; под ним диван и два кресла, обитые темным кретоном с большими красными цветами, а между этой мебелью круглый черный стол; направо комод с пыльным графином и стаканом на нем; налево железная складная кровать с голым тощим матрацем; ситцевые темные занавески на окнах. Даже обои я помню: на грязно-зеленом фоне повторялся в шахматном порядке все один и тот же рисунок — башня, вода и подъемный мост через воду, а на мосту стоят, взявшись за руки, кавалер и дама в костюмах Louis XIV [1].

Номерной явился следом за нами, держа в руках подушку, а на ней сложенную простыню и серое байковое одеяло с красными каймами. Бросив все это с размаху на кровать, он вытер нос ребром ладони и грубо спросил:

— На время номер берете или на ночь?

---

[1] Людовика XIV *(франц.)*.

Я сделал ему рукой знак, но он продолжал:

— Потому, если на всю ночь, так полиция пашпорт требует, потому — строго зискуется, ежели...

— Выйдите отсюда! — произнесла вдруг незнакомка.

Эти слова были сказаны совершенно спокойно — без раздражения, без аффектации, без величественного презрения, — простым тоном человека, которому никогда не приходила мысль, что его требование может остаться неисполненным. И такова была сила бессознательной самоуверенности, что наглый парень тотчас же с растерянным видом выскочил за дверь. Мы остались одни. Моя незнакомка стояла до сих пор неподвижно перед комодом, спиною к двери. По-видимому, она никак не могла освоиться с тем отвращением, которое ей внушала эта ужасная комната. Напряженное молчание длилось минуты две или три.

Вдруг она, слегка повернув ко мне свою гордую голову, но не глядя на меня, спросила суровым голосом:

— Вы, конечно, знаете, зачем я с вами сюда приехала?

— Извините, ради бога, — пролепетал я, заикаясь, — но я... я, право, не могу догадаться...

Она быстрыми шагами подошла почти вплотную ко мне. Эти пылающие темные глаза, эти тонкие брови, сдвинувшиеся посредине лба в гневную складку, невольно заставили меня попятиться.

— Как! Вы не знаете? — воскликнула она, задыхаясь. — Вы не знаете?.. Вы? Вы? Мужчина?.. Лжете!!.

Я не находил ответа на эти злобные, но в то же время и страстные вопросы... и молчал. Незнакомка вдруг сильным движением швырнула зонтик на диван, сбросила шляпу и дрожащими руками стала расстегивать большие перламутровые пуговицы своей кофточки.

— Вы не знаете?.. Тем лучше! — слышал я отрывистые, злобные восклицания. — Тем лучше!.. Ну, так знайте же, что мне был нужен первый встречный... Понимаете ли, первый встречный... то есть — вы, именно вы!.. — выкрикнула она дрожащими губами. —

Нужен для того... для того... ха-ха... для того... ха-ха-ха-ха...

И она залилась странным смехом, чистым, тонким и сначала очень тихим. Но потом, становясь все громче и громче, этот смех ужасом отозвался в моей душе. В нем смешались и хохот, и рыдания, и стоны, и прерывистые вздохи, от которых стройное тело женщины тряслось, вздрагивало и шаталось из стороны в сторону.

Растерявшийся, испуганный, потрясенный почти не менее ее, — я все-таки догадался слегка взять ее за талию и подвести к креслу. Она упала в него, откинув голову назад и закрыв лицо руками. Я отворил окно. Влажный, холодный воздух вторгнулся в комнату. Видя, что это несколько успокоило даму, я налил в стакан воду и предложил ей, говоря при этом какие-то несвязные успокоительные слова. Она отрицательно покачала головой и своей маленькой ручкой в желтой перчатке отстранила мою руку. Однако, мало-помалу припадок стал ослабевать, рыдания почти прекратились, и из-под рук, закрывающих лицо, слышались только судорожные вздохи. Потом она совсем затихла, точно собираясь с силами, и вдруг быстро одним толчком поднялась с кресла.

— Пойдемте, — сказала она, сухо, и лицо ее приняло прежнее гордое выражение.

Когда мы отошли шагов десять от подъезда, она неожиданно остановилась и, глядя мимо моей головы, холодно сказала:

— Мне все равно, что вы думаете обо всем этом случае... Точно так же, как я не намерена брать с вас слова, чтобы вы никому о нем не рассказывали. Но я требую, чтобы вы не провожали меня и никогда не старались узнать мою фамилию. Слышите?

И вслед за тем, не сказав прощального слова, даже не бросив на меня мимолетного взгляда, она быстро пошла по тротуару. С минуту я видел ее высокую колеблющуюся фигуру. Потом туман скрыл ее.

Весьма вероятно, что для всякого другого описываемое происшествие имело бы смысл интересного приключения, загадочной встречи — и только. Для меня

же оно стало громаднейшим событием всей моей жизни. Ничтожное, забытое существо, червяк, нищий, — я, однако, обладаю страшной силой воображения и болезненной мечтательностью. Прекрасная, таинственная женщина завладела мною всецело и навсегда. Первый день я ходил как в бреду. Я не мог разобраться в происшедшем и временами сомневался: не принял ли я за действительность один из моих нелепых снов. Я даже нарочно сходил на ту улицу, чтобы убедиться в существовании незнакомых мне прежде номеров «Занзибар». С каждым днем все сильней и сильней одолевали меня воспоминания. Вспоминать мельчайшие мелочи этого дождливого вечера сделалось для меня наслаждением и потребностью. Я думал о них и днем и ночью, и утром и вечером, и на ходу, и во время еды, и во время занятий, но всего сильнее и ярче представлялись они мне ночью. Я никогда не знал реальной любви с ее радостями, но я слышал и читал о том, с каким нетерпением влюбленные дожидаются момента свидания. Уверяю вас, с таким же нетерпением ждал я того времени, когда можно будет лечь в постель и в темноте, в тишине, прерываемой только тиканьем маятника за стеной, отдаться моим мечтам и воспоминаниям. О, не думайте, чтобы у меня в эти ночи бывало мало работы! Прежде всего мне никак не удавалось вспомнить лицо моей незнакомки. Тысячи других лиц всплывали и проносились перед моими глазами, затмевая это прекрасное лицо. Но я с упорством вызывал именно это лицо и так насиловал свою бедную голову, что она платила мне жестокими болями. И я добился своего. Теперь я знаю каждую линию, самый малейший изгиб этого лица, и никакая фотография не заменит мне моей памяти. Порою я почти осязаю его. Мне кажется даже, что я слышу иногда на своих руках тонкий и нежный запах, оставшийся на них после прикосновения к одежде этой женщины. Потом я начинаю вспоминать последовательность событий. Я кропотливо, шаг за шагом, постоянно возвращаясь назад и перебирая мелочи в уме, восстановляю каждый жест, каждое слово, каждый поворот головы. Это трудно, но возможно. Помните, может

быть, как у Мопассана в его «Une vie»[1] героиня линует бумагу на клетки, сообразно с каждым днем своей жизни, и вспоминает ее всю постепенно. С такой же тщательностью и я воскрешаю в уме вечер 22 августа, так что все написанное здесь мною — точно, как истина. Затем я стараюсь проникнуть во внутреннюю сторону событий, заглядываю в возмущенную душу своей незнакомки и освещаю эту темную пропасть. Труднее всего то, что мне приходится идти сомнительным путем. Если бы меня спросили: как поступит такой-то человек, такого-то возраста, такого-то воспитания или среды, при таких-то и таких-то обстоятельствах, — я бы ответил с большей или меньшей уверенностью. Но у меня только и есть данных, что поступок человека, а мне по этому поступку страстно хочется узнать, какая душевная буря толкнула этого человека. И я разбираюсь в тысячный раз в происшедшем. Я знаю, что моя незнакомка горда, страстна, порывиста и смела. Какое же сердечное потрясение выбросило на улицу в грязный осенний вечер эту женщину с аристократическим лицом и повелительным голосом? Несомненно, что это потрясение было сильнее самой смерти, потому что такие гордые натуры умирают легче, чем переносят позор. Стало быть, ей именно позор и был необходим.

О! Я уж понимал теперь горькое и ужасное значение брошенной мне фразы о «первом встречном». Позор для другого — в позоре для самой себя... Отсюда остается только один шаг до вывода, что вся ее сумасбродная выходка была делом нестерпимой ревности и неудавшейся мести. «Око за око, зуб за зуб» — она хотела отплатить тою же монетой, какой получила оскорбление, но — в более полной, более ужасной мере. Потом я мечтал. Фантазия моя рисовала и роскошные сады с журчащими фонтанами, и разбойников, и похищение прекрасной незнакомки, и неожиданного спасителя, и свалившееся на голову с неба богатство... впрочем, стоит ли об этом говорить? Два года я свято исполнял требования незнакомки, да и как я мог

---

[1] «Жизнь» *(франц.)*.

узнать ее фамилию или адрес? Но сама судьба совершенно неожиданно указала мне ее. Однажды зимою я проходил по Английской набережной. Из ворот великолепного дома выехала карета, запряженная парою вороных лошадей, и остановилась у подъезда. Из подъезда вышла дама, при виде которой у меня застучало в висках, я должен был схватиться за стену, чтобы не упасть.

...Вы, конечно, не обратили внимания на мою жалкую фигуру в потрепанном пальто и помятой шляпе, а я... я узнал бы вас только по одному волнению, которое, как электрический ток, потрясло мою душу. Я узнал также и ваши гербы на карете, и вашу фамилию, и высокое положение, занимаемое вашим мужем. Я узнал все это совершенно невольно, вовсе не желая проникать в чужую тайну.

Вскоре меня перевезли из Петербурга в то место, из которого я теперь пишу. Уже четыре года отдаляют меня от туманного августовского вечера, но каждая черточка этого необычайного события так же прочно и так же ясно живет в моей душе. Не смейтесь надо мной и не сердитесь, если я, наконец, решаюсь выговорить, что люблю вас. Назовите мою любовь только безумием, потому что по-своему я счастлив и благословляю вас за то, что вы дали мне четыре года в моей жизни, четыре года томительных и блаженных страданий. В любви только надежда и желания составляют настоящее счастье. Удовлетворенная любовь иссякает, а иссякнувши, разочаровывает и оставляет на душе горький осадок... А я люблю без надежд, но все с тем же неугасимым пылом и с тою же нежностью, с тем же безумием. Я — жалкий пария, полюбивший королеву. Разве может быть королеве обидна такая любовь?.. И, наконец, вы можете извинить мое сумасшедшее письмо еще и по другой причине. Я пишу вам из больницы, и сегодня доктор (старый друг моего покойного отца) сказал мне, что жить мне остается не больше месяца. А ведь трудно сердиться на умирающего, особенно если он, стоя на грани этой холодной, черной бездны, посылает вам свое благословение и вечную благодарность.

(Имя и фамилия.)

ПУТАНИЦА

— Мне кажется, никто так оригинально не встречал рождества, как один из моих пациентов в тысяча восемьсот девяносто шестом году, — сказал Бутынский, довольно известный в городе врач-психиатр. — Впрочем, я не буду ничего рассказывать об этом трагикомическом происшествии. Лучше будет, если вы сами прочтете, как его описывает главное действующее лицо.

С этими словами доктор выдвинул средний ящик письменного стола, где в величайшем порядке лежали связки исписанной бумаги различного формата. Каждая связка была заномерована и обозначена какой-нибудь фамилией.

— Все это — литература моих несчастных больных, — сказал Бутынский, роясь в ящике. — Целая коллекция составлена мною самым тщательным образом в течение последних десяти лет. Когда-нибудь, в другой раз, мы ее разберем вместе. Тут очень много и забавного, и трогательного, и, пожалуй, даже поучительного... А теперь... вот, не угодно ли вам прочесть эту бумажку?

Я взял из рук доктора небольшую тетрадку, в четвертую долю листа, исписанную крупным, прямым, очень нажимистым, но неровным почерком. Вот что я прочел (оставляю рукопись целиком, с любезного разрешения доктора):

«Его Высокородию

г-ну доктору Бутынскому,

консультанту при психиатрическом отделении N-ской больницы.

Содержащегося в помянутом отделении дворянина Ивана Ефимовича Пчеловодова

Прошение.

Милостивый государь!

Находясь уже более двух лет в палате умалишенных, я неоднократно пробовал выяснить то прискорбное недоразумение, которое привело меня, совершенно здорового человека, сюда. Я обращался с этой целью и письменно и словесно к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу больницы и в том числе, если помните, и к вашему любезному содействию. Теперь я еще раз беру на себя смелость просить внимания вашего к нижеследующим строкам. Я делаю это потому, что ваша симпатичная наружность, равно как и ваше человеческое обращение с больными заставляют предполагать в вас доброго человека, которого еще не коснулось профессиональное доктринерство.

Убедительно прошу вас — дочитайте это письмо до конца. Пусть вас не смущает, если порой вы натолкнетесь на грамматические погрешности или на невязку во фразах. Ведь трудно, согласитесь, проживая в сумасшедшем доме два года и слыша только брань сторожей и безумные речи больных, сохранить способность к ясному изложению мысли на письме. Я окончил высшее учебное заведение, но, право, теперь сомневаюсь при употреблении самых детских правил синтаксиса.

Прошу же я вашего *особого* внимания потому, что мне хорошо известно, что все психически больные склонны считать себя посажёнными в больницу по недоразумению или по проискам врагов. Я знаю, как они любят доказывать это и докторам, и сторожам, и посетителям, и товарищам по несчастию. Поэтому мне совершенно понятно недоверие, с которым относятся

врачи к их многочисленным заявлениям и просьбам. Я же прошу у вас только фактической проверки того, что я сейчас буду иметь честь изложить.

Это случилось 24 декабря 1896 года. Я служил тогда старшим техником на сталелитейном заводе «Наследники Карла Вудта и К°», но в середине декабря сильно поссорился с директором из-за безобразной системы штрафов, которой он опутал рабочих, вспылил в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил службу.

Делать мне больше на заводе было нечего, и вот, в конце рождества, я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе N., в кругу близких родственников.

Поезд был переполнен пассажирами. В том вагоне, где я поместился, на каждой скамейке сидело по три человека. Моим соседом слева оказался молодой человек, студент Академии художеств. Напротив же меня сидел какой-то купчик, который выходил на всех больших станциях пить коньяк. Между прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в N., на Нижней улице, есть своя мясная торговля. Он также называл свою фамилию; я теперь не могу ее припомнить с точностью, но — что-то вроде Сердюк... Средняк... Сердолик... одним словом, здесь была какая-то комбинация букв С. Р. Д. и К. Я так подробно останавливаюсь на его фамилии потому, что, если бы вы отыскали этого купчика, он совершенно подтвердил бы вам весь мой рассказ. Он среднего роста, плотен, с розовым, довольно миловидным пухлым лицом, блондин, усы маленькие, тщательно закрученные вверх, бороду бреет.

Спать мы не могли и, чтобы убить время, болтали и немного пили. Но к полуночи нас совсем разморило, а впереди предстояла еще целая бессонная ночь. Стоя в коридоре, мы полушутя, полусерьезно стали придумывать различные средства, как бы поудобнее устроиться, чтобы поспать хоть три или четыре часа. Вдруг академик сказал:

— Господа! Есть великолепное средство. Только не знаю, согласитесь ли вы. Пусть один из нас возьмет на себя роль сумасшедшего. Тогда другой должен остаться при нем, третий пойдет к обер-кондуктору и заявит, что вот, мол, мы везли нашего психически расстроенного родственника, что он до сих пор был спокоен, а теперь вдруг начал приходить в нервное состояние, и что ввиду безопасности прочих пассажиров его не мешало бы заблаговременно изолировать.

Мы согласились, что план академика прост и верен. Но никто из нас не высказывал первым желания сыграть роль сумасшедшего. Тогда купчик предложил, мигом рассеяв наши колебания:

— Бросим жребий, господа!

Изо всех троих я был самый старший, и мне надлежало бы быть самым благоразумным; но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и... конечно, вытащил узелок из зажатого кулака мясоторговца.

Комедия с обер-кондуктором была проделана с поразительной натуральностью. Нам немедленно отвели купе.

Иногда, во время больших остановок, мы слышали около нашей двери сердитые голоса, громко говорившие:

— Хорошо-с... Ну, а это купе?.. Потрудитесь его отворить!

Вслед за этим приказанием слышался голос кондуктора, отвечавшего в пониженном тоне и с оттенком боязни:

— Извините, в этом купе вам будет неудобно... здесь везут больного... сумасшедшего... он не совсем спокоен...

Разговор тотчас же обрывался, слышались удаляющиеся шаги. План наш оказался верным, и мы заснули, насмеявшись вдоволь. Спал я, однако, неспокойно, точно у меня во сне было предчувствие беды. Душили меня какие-то тяжкие кошмары, и помню, что под утро я несколько раз просыпался от собственного громкого крика.

Я проснулся окончательно в десять часов утра. Моих компаньонов не было (они должны были сойти на одной станции, куда поезд приходил ранним утром). Зато на диване против меня сидел рослый рыжий детина в форменном железнодорожном картузе и внимательно смотрел на меня. Я привел свою одежду в порядок, застегнулся, вынул из сака полотенце и хотел идти в уборную умываться. Но едва я взялся за дверную ручку, как детина быстро вскочил с места, обхватил меня сзади вокруг туловища и повалил на диван. Взбешенный этой наглостью, я хотел вырваться, хотел ударить его по лицу, но не мог даже пошевелиться. Руки этого доброго малого сжимали меня точно стальными тисками.

— Чего вы от меня хотите? — закричал я, задыхаясь под тяжестью его тела. — Убирайтесь! , Оставьте меня!..

В первые моменты в моем мозгу мелькала мысль, что я имею дело с сумасшедшим. Детина же, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял со злобным пыхтеньем:

— Погоди, голубчик, вот посадят тебя на цепуру, тогда и узнаешь, чего от тебя хотят... Узнаешь тогда, брат... узнаешь.

Я начал догадываться об ужасной истине и, дав время моему мучителю успокоиться, сказал:

— Хорошо, я обещаюсь не трогаться с места. Пустите меня. «Конечно, — думал я, — с этим болваном напрасны всякие объяснения. Будем терпеливы, и вся эта история, без сомнения, разъяснится».

Остолоп сначала мне не поверил, но, видя, что я лежу совершенно покойно, он стал понемногу разжимать руки и, наконец, совсем освободив меня из своих жестоких объятий, уселся на диван напротив. Но глаза его не переставали следить за мною с напряженной зоркостью кошки, стерегущей мышь, и на все мои вопросы я не добился от него в ответ ни словечка.

Когда поезд остановился на станции, я услышал, как в коридоре вагона кто-то громко спросил:

— Здесь больной?

Другой голос ответил скороговоркой:

— Точно так, господин начальник.

Вслед за тем щелкнул замок, и в купе просунулась голова в фуражке с красным верхом.

Я рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем:

— Господин начальник станции, ради бога!..

Но в то же мгновение голова проворно спряталась, громыхнул замок в дверце, а я уже лежал на диване, барахтаясь под придавившим меня телом моего спутника.

Наконец мы доехали до N. Только минут через десять после остановки за мною пришли... трое артельщиков. Двое из них схватили меня крепко за руки, а третий вместе с моим прежним истязателем вцепились в воротник моего пальто.

Таким образом меня извлекли из вагона. Первый, кого я увидел на платформе, был жандармский полковник с великолепными подусниками и с безмятежными голубыми глазами в тон околышку фуражки. Я воскликнул, обращаясь к нему:

— Господин офицер, умоляю вас, выслушайте меня...

Он сделал знак артельщикам остановиться, подошел ко мне и спросил вежливым, почти ласковым тоном:

— Чем могу служить?

Видно было, что он хотел казаться хладнокровным, но его нетвердый взгляд и беспокойная складка вокруг губ говорили, что он все время держится настороже. Я понял, что все мое спасение в спокойном тоне, и я, насколько мог связно, неторопливо и уверенно рассказал офицеру все, что со мной произошло.

Поверил он мне или нет? Порою его лицо выражало живое, неподдельное участие к моему рассказу, временами же он как будто сомневался и только кивал головой с тем хорошо мне знакомым выражением, с которым слушают болтовню детей или сумасшедших.

Когда я кончил свой рассказ, он сказал, избегая глядеть мне прямо в глаза, но вежливо и мягко:

— Видите ли... я, конечно, не сомневаюсь... но, право, мы получили такие телеграммы... И потом...

ваши товарищи... О, я вполне уверен, что вы совершенно здоровы но... знаете ли, ведь вам ничего не стоит поговорить с доктором каких-нибудь десять минут. Без сомнения, он тотчас же убедится, что ваши умственные способности находятся в самом прекрасном состоянии, и отпустит вас; согласитесь, что я ведь в конце концов вовсе не компетентен в этом деле.

Все-таки он был до того любезен, что назначил мне в провожатые только одного артельщика, взяв с меня предварительно честное слово, что я никоим образом не буду выражать на дороге своего негодования и делать попыток к бегству.

Мы приехали в больницу как раз к часу визитаций. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре в приемную пришел главный врач в сопровождении нескольких ординаторов, смотрителя психиатрического отделения, сторожей и человек двадцати студентов. Он прямо подошел ко мне и устремил на меня долгий, пристальный взгляд. Я отвернулся. Мне почему-то показалось, что этот человек сразу возненавидел меня.

— Только, пожалуйста, не волнуйтесь, — сказал доктор, не спуская с меня своих тяжелых глаз. — Здесь у вас нет врагов. Никто вас не будет преследовать. Враги остались там... в другом городе... Они не посмеют вас здесь тронуть. Видите, кругом все добрые, славные люди, многие вас хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?

Он уже заранее считал меня сумасшедшим. Я хотел возразить ему, но вовремя сдержался: я отлично понимал, что каждый мой гневный порыв, каждое резкое выражение сочтут за несомненный признак сумасшествия. Поэтому я промолчал.

Затем доктор спросил у меня мое имя и фамилию, сколько мне лет, чем занимаюсь, кто мои родители и так далее. На все эти вопросы я отвечал коротко и точно.

— А давно ли вы себя чувствуете больным? — обратился ко мне внезапно доктор.

Я отвечал, что я больным себя совсем не чувствую и что вообще отличаюсь прекрасным здоровьем.

— Ну да, конечно... Я не говорю о какой-нибудь

серьезной болезни, но... скажите, давно ли вы страдаете головной болью, бессонницей? Не бывает ли галлюцинаций? Головокружения? Не испытываете ли вы иногда непроизвольных сокращений мышц?

— Наоборот, господин доктор, я сплю очень хорошо и почти не знаю, что такое головная боль. Единственный случай, когда я спал неспокойно, — это в прошлую ночь.

— Это мы уже знаем, — сказал спокойно доктор. — Теперь не можете ли вы мне подробно рассказать, что вы делали с того времени, когда сопровождавшие вас господа остались на станции Кривоpечье, не успев сесть на поезд? Какое, например, побуждение заставило вас вступить в драку с младшим кондуктором? Или почему вслед за этим вы набросились с какими-то угрозами на начальника станции, вошедшего в ваше купе?

Тогда я подробно передал доктору все, что раньше рассказывал жандармскому офицеру. Но рассказ мой не был так связен и так уверен, как раньше, — меня смущало бесцеремонное внимание окружавшей меня толпы. Да, кроме того, и настойчивость доктора, желавшего во что бы то ни стало сделать меня сумасшедшим, волновала меня. В самой середине моего повествования главный врач обернулся к студентам и произнес:

— Обратите внимание, господа, как иногда жизнь бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Приди в голову писателю такая тема — публика ни за что не поверит. Вот это я называю изобретательностью.

Я совершенно ясно понял иронию, звучавшую в его словах. Я покраснел от стыда и замолчал.

— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю, — сказал главный врач с притворной ласковостью.

Но я еще не дошел до эпизода с моим пробуждением, как он вдруг огорошил меня вопросом:

— А скажите, какой у нас сегодня месяц?

— Декабрь, — не сразу ответил я, несколько изумленный этим вопросом.

— А раньше какой был?

— Ноябрь...

— А раньше?

Я должен сказать, что эти месяцы на «брь» всегда были для меня камнем преткновения, и для того, чтобы сказать, какой месяц раньше какого, мне нужно мысленно назвать их все, начиная с разбега от августа. Поэтому я несколько замялся.

— Ну да... порядок месяцев вы не особенно хорошо помните, — заметил небрежно, точно вскользь, главный врач, обращаясь больше не ко мне, а к студентам. — Некоторая путаница во времени... это ничего. Это бывает... Ну-с... дальше-с. Я слушаю-с.

Конечно, я был неправ, сто раз неправ, и сделал неприятность только самому себе, но эти иезуитские приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло:

— Болван! Рутинер! Вы гораздо более сумасшедший, чем я!

Повторяю, что это восклицание было неосторожно и глупо, но ведь я не передал и сотой доли того злобного издевательства, которым были полны все вопросы главного врача.

Он сделал едва заметное движение глазами. В эту же секунду на меня со всех сторон бросились сторожа. Вне себя от бешенства я ударил кого-то по щеке. Меня повалили, связали...

— Это явление называется raptus — неожиданный, бурный порыв! — услышал я сзади себя размеренный голос главного врача в то время, когда сторожа выносили меня на руках из приемной.

. . . .

Прошу вас, господин доктор, проверьте все написанное мною, и если оно окажется правдой, то отсюда только один вывод — что я сделался жертвой медицинской ошибки. И я вас прошу, умоляю освободить меня как можно скорее. Жизнь здесь невыносима. Служители, подкупленные смотрителем (который, как вам известно, — прусский шпион), ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество стрихнину и синильной кислоты. Третьего дня эти изверги простерли свою жестокость до того, что пытали меня

раскаленным железом, прикладывая его к моему животу и к груди.

Также и о крысах. Эти животные, по-видимому, одарены...»

— Что же это такое, доктор! Мистификация? Бред безумного? — спросил я, возвращая Бутынскому рукопись. — Проверил ли кто-нибудь факты, о которых пишет этот человек?

На лице Бутынского мелькнула горькая усмешка.

— Увы! Здесь действительно произошла так называемая медицинская ошибка, — сказал он, пряча листки в стол. — Я отыскал этого купца, — его фамилия Свириденко, — и он в точности подтвердил все, что вы сейчас прочитали. Он сказал даже больше: высадившись на станции, они вместе с художником выпили так много чаю с ромом, что решили продолжать шутку и вслед поезду послали телеграмму такого содержания: «Не успели сесть в поезд, остались в Криворечье, присмотрите за больным». Конечно, идиотская шутка! Но знаете ли, кто окончательно погубил этого беднягу? Директор завода «Наследники Карла Вудта и К°». Когда его запросили, не замечал ли он и окружающие каких-нибудь странностей или ненормальностей у Пчеловодова, он так-таки напрямик и ответил, что давно уже считал старшего техника Пчеловодова сумасшедшим, а в последнее время даже буйно помешанным. Я думаю, он сделал это из мести.

— Но зачем же в таком случае держать этого несчастного, если вам все это известно? — заволновался я. — Выпустите его, хлопочите, настаивайте!..

Бутынский пожал плечами.

— Разве вы не обратили внимания на конец его письма? Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело. Этот человек уже год тому назад признан неизлечимым. Он был сначала одержим манией преследования, а затем впал в идиотизм.

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я с своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розова-

того сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к

этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, — женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

— Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же,

говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

— Ну, а ты?

— Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Матушка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовой крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, — разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнев от напряженного ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерца-

лова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим.... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за болбной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

— Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить

внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй — его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повер-

нул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно... тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

— Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо

всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив

внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

— Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым бор-

щом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.

ОДИНОЧЕСТВО

После полудня стало так жарко, что пассажиры I-го и II-го классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за пароходом длинным грязным хвостом.

Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество; наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже три месяца — именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гулянья и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за

время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной удовлетворенной любовью.

Снизу, из машинного отделения, вместе с теплым запахом нефти, доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие, правильные вздохи, в такт которым так же размеренно вздрагивала деревянная палуба «Ястреба». Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных, широких волн; белые курчавые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка и, разбившись с шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем.

Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких, изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах.

Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарованья, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим: и «наш» пароход — необыкновенно чистенький и быстрый пароход! — и «наш» капитан — здоровенный толстяк в парусиновой паре и клеенчатом картузе, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства, — «наш» лоцман — красивый, чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели

вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее под размеренные вздохи машины звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом в странную гармонию сливались и шум воды под колесами и дребезжание чашек в буфете...

Иногда навстречу «Ястребу» попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких, неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши...

Вдали показывалась пристань — маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивши рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. «Самый малый! Ступ! Задний ход! Сту-уп!..» С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы по дрожащим сходням выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах; они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Ямские лошади, над которыми вились тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами...

Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота; когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке,

за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовой взойти. Она показалась сначала только одним краешком и потом выплыла — большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху.

На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела; диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб.

Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком, и, нагнувшись к ней, спросил:

— Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?

Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного, пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное, нежное выражение.

— Нет, нет... не беспокойся, милый... Мне очень хорошо, — ответила она.

Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными...

У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой...

Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу, и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертание их фигур.

Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель... Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания: «Ше-есть!.. Шесть с половиной! Во-осемь!.. По-од таба-ак!.. Се-мь!» В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные, печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье.

На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой, резной, деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз.

— Ах, Володя, посмотри, какая прелесть! — воскликнула Вера Львовна. — Совсем кружевная беседка... Вот бы нам с тобой здесь пожить...

— Я здесь провел целое лето, — сказал Покромцев.

— Да? Неужели? Это, наверно, чье-нибудь имение?

— Князей Ширковых. Очень богатые люди...

Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы и что в его голосе звучит улыбка воспоминания.

— Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал... Что они за люди?

— Люди?.. Как тебе сказать?.. Ни дурные, ни хорошие... Веселые люди...

Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала:

— Ты смеешься... Ты, верно, вспомнил что-нибудь интересное?

— О нет... Ничего... Ровно ничего интересного, — возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. — Так... маленькие глупости... не стоит и вспоминать.

Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, — как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело: лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом... К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках, — одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденным весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето — и то чрезвычайно приятно.

Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем.

Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал:

— Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы.

— А ты? Ты тоже... ухаживал за кем-нибудь? — спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном.

Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым.

— Н-да... и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь: девице еще и шестнадцати лет не исполнилось, но развязность, самоуверенность и прочее — просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. «Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь только мне и нравитесь. Вы недурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же нам не провести это лето весело и приятно?»

— Ну и что же? Было весело? — спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса.

Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его рассказывать дальше.

— Вот мы и играли в любовь с этим подлетком и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретилась со мною, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии.

И он прибавил с деланным смехом:

— Вообще, эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это?

Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку...

Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй... Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему, — самый ужасный вид рев-

ности, — но была *только* отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают до женитьбы интрижки и связи, что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унизительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа, но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи с ним, когда они еще были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться.

«Зачем он мне рассказывал всю эту гадость? — мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. — Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью, но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, *что* он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Гадливость? (Нет, уж во всяком случае не гадливость: тон у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть)... Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить, но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? По чему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, он в то же время не обманывает — и, может быть, совершенно невольно — своей совести? О! Чего бы я ни дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, подсмотреть, что делается в *этом* сердце...»

И это страстное влечение слиться мыслью, отожествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна, нечаянно для самой себя, крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена про-

сто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят с балованными детьми:

— Веруся бай-бай хочет? Верусенька озябла? Пойдем в каютку, Верусенька?

Она молча поднялась, кутаясь в свой платок.

— Верусенька на нас ни за что не сердится? — спросил Покромцев тем же сладким голосом.

Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим в каюты, она остановилась и сказала:

— Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга?.. Какими бы тесными узами они ни были связаны?..

Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом:

— Ну вот, Верунчик, какую философию развела... Разве мы с тобой не понимаем друг друга?

В каюте он скоро заснул тихим сном здорового сытого человека. Его дыхания не было слышно, и лицо приняло детское выражение.

Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу.

— Ты куда, мамуся? — спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок.

— Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, — ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал.

Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные, низкие и темные берега так же молчаливо бежали мимо парохода.

Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. «Что же я о нем знаю? — шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. — Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю и с которым всю жизнь должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев, знаю даже больше, — знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю пять или шесть его привычек... Ну, а больше? Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренно страдает или когда наружной, лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несется в душе *постороннего* человека?»

Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего *вечного* одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят, увидеть то, что они видят, почувствовать, что они чувствуют?..

Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу.

Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала, точно громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших, орошенных лугов.

Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена под пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан, точно тонкой кисеей, легким покровом тумана. Сизая, тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темно-красные штрихи.

Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна:

— «Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными Эос...»

Но когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом.

— Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?

Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению: надо жить, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду.

И она ответила, виновато и растерянно улыбаясь:

— Ничего, мой милый. Просто — у меня бессонница...

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

Середина апреля. Вечер. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лесной дорожке, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойного молодняка, выросшего вокруг серых дряблых пней. Рядом со мною идет Кирила, сотский из Зульни, впереди — полесовщик Талимон. Оба они шагают редко, но размашисто: под их ногами, обутыми в лыковые постолы, не треснет ни одна сухая веточка. Время от времени Талимон сходит с тропинки, нагибается и шарит руками в буреломе. Он разыскивает лучину, которую еще утром нащипал для костра, и никак не может найти ее. Вероятно, он забыл место, но сознаться ему в этом, как старому охотнику, особенно перед своим всегдашним соперником — сотским, не хочется, и я слышу, как он, не выпуская изо рта короткой трубки, ворчит что-то про «злодиев» и «бисовых сынов».

Сегодня мы разложим в лесу костер и около него вздремнем часа три-четыре, до той поры, когда начнет чуть-чуть брезжить рассвет. К заре мы уже должны быть в «будках», чтобы не прозевать первого тетеревиного тока.

Сотский Кирила и Талимон — мои всегдашние спутники по охоте. Кирила — высокий, костлявый и весь какой-то развинченный мужик. У него худое, желтое лицо, впалые щеки, плохо выбритый острый подбородок и огромный лоб, по обе стороны которого па-

дают прямые, длинные волосы; в общем, его голова напоминает голову опереточного математика или астронома. На нем надет поверх кожуха войлочный «латун», уже старенький, но чистый и франтоватый, — правая сторона у латуна коричневая, а левая — серая, и все швы оторочены красным шнурком. Баранью шапку, отправляясь на охоту, Кирила надевает набекрень так, что она закрывает ему один глаз, и тогда вся деревня знает, что «сотник иде на пановку».

Кирила служил «в москалях», был под Плевной и получил георгиевский крест, — за что получил? — добиться от него толком невозможно. Из его же собственного рассказа выходит только, что «як турци нас забрали в плин, то разом узяли с нами и майора Птицына, а потом, як мы вси стали утекать, то майора Птицына турци забили геть до смерти...» В настоящее время он уже десятый год подряд служит по выборам сотским, получает за это восемь рублей в год, исполняет свои обязанности с неугасаемым «административным восторгом» и в душе чрезмерно преувеличивает размеры облекающей его власти. Арестанты из его села отправляются до следующего этапа не иначе, как со связанными назад руками, между которыми продета длинная веревка; за каждый из концов этой веревки держатся конвоирующие двое мужиков, что придает всей процессии внушительный и комический вид. Сотский ведет очередь, кому из хозяев идти на какие общественные работы, и хотя уверяет, что у него на это есть какая-то «ханстрюкция», но, кажется, руководствуется при распределении наряда более симпатиями, заключенными за чаркой, нежели указаниями таинственной инструкции. Он до некоторой степени предводительствует общественным мнением, и по праздникам в толпе, собравшейся на лужайке около монопольного забора (эта лужайка — своеобразный сельский клуб), особенно громко раздается его голос. До моего окна доносятся неизменно одни и те же задорные фразы: «Я ему дока́жу»... «Закон не позволяет»... «Як мене поставили начальством»... Пьян он бывает редко, но, выпивши, безобразничает. Тогда он ходит непременно по самой середине улицы и требует, чтобы перед ним сни-

мали шапки. «Що ж ты? Не бачишь, що начальство иде?» — кричит он, подпираясь руками в бока. В эти пьяные минуты случается, что ему приходит в голову какая-нибудь сумасбродно-административная затея, например, отдать приказ, чтобы завтра же все село выезжало строить новый мост через Горынь, и с непременным условием окончить постройку к вечеру. Крестьяне ему не противоречат, отлично зная, что на другой день сотский даже и не вспомнит о своем вдохновенном предприятии.

Кирила ужасно любит разговаривать со всяким начальством. При этом разговоре он от излишнего усердия вихляет всем туловищем, подергивает бедрами и отчаянно жестикулирует большим пальцем правой руки, оттопыренным в сторону от остальных пальцев, сжатых в кулак. Многословная его речь так и пестрит кудреватыми выражениями, вроде: «какая разница!»... «окончательно совсем»... «без никакого внимания». Титулы, которыми он величает исправника и станового, всегда разнообразны и нелепо преувеличены. Если же в присутствии властей сотскому приходится вести разговор с лицом, ему самому подчиненным, то хотя голова сотского и обращена к этому подчиненному, но глаза устремлены все время на власть с заигрывающим выражением, а в тоне его слов слышится угодливая пренебрежительность, — дескать, «видите, пане, какая мужицкая необразованность и как мы с вами все это хорошо и тонко понимаем»...

В комнатах с ним разговаривать неудобно, потому что он кричит, как на пожаре (голос у него — фальцет — осипший и надсаженный), тотчас же перебивает всякого, кто при нем заговорит, сам тараторит без умолку и ничего не слышит, кроме своих собственных витиеватых фраз. Дома у себя и с крестьянами он гораздо проще, естественнее, но с начальством и с господами почему-то считает необходимым быть как можно бестолковее и при первом же удобном случае охотно впадает в роль шута. Начальство, кажется, любит его, но при каждом проезде не преминет собственноручно прибить, о чем Кирила потом рассказывает со всеми признаками хвастливого удовольствия: «От як мини

врядник в пыку запалил! Беда!..» Получив служебную бумагу, он, прежде чем ее распечатать, со значительным видом надевает на нос огромные, круглые прадедовские очки в роговой оправе и затем уже, наморщив лоб и сжав губы, рассматривает документ, держа его нередко вверх ногами. Конечно, эти внушительные приемы никого не обманывают, потому что всякому известно, что ни в Зульне, ни в Крешеве, ни в Яблонном, с его окрестностями, ни один человек не умеет читать, кроме бывшего шинкаря Лейбы Фикуса, к которому потом сотский и отнесет бумагу для прочтения.

Кирила недурной стрелок, но охотник — несчастливый, а главное дело, хвастун. Отправляясь на охоту и заломив шапку набок, он кричит на весь лес и божится, что сегодня уж наверняка принесет домой полную сумку, а сумка у него чудовищных размеров. При промахе он сначала с изумлением смотрит на ружье, пожимает плечами и в недоумении спрашивает: «Що це таке с моей стрельбой зробилось?» — потом идет на то место, где сидела дичь, и тщательно разыскивает перья или следы крови. Если же ему случится убить что-нибудь, то он несет дичь на ксендзовский двор или к органисту и продает там. Каждый раз после охоты он доводит меня до калитки и, сняв шапку и склонив просительно набок свою водевильную голову, говорит заискивающим, тихим голосом:

— Панычу, а як бы вы сотнику пожаловали на крючок водки?..

Талимон — человек другого склада. Он совсем плохой хозяин, и его хату можно безошибочно найти, потому что она самая худшая во всем селе: дрань на крыше дырявая, еле держится, стекла в окнах почти все повыбиты и заменены тряпками, стены ушли в землю и покосились. Кожух у Талимона испещрен заплатами и разодран под мышками, из шапки кое-где повылезли клочья ваты, но вся одежда сидит на нем хорошо, почти изящно. Он невысок ростом, поджар и очень ловок в движениях. Все его лицо от самых глаз заросло волосами; черные усы сливаются с черной бородой, короткой, но чрезвычайно густой и жесткой. Под широкими черными бровями глубоко сидят боль-

шие круглые черные глаза, которые смотрят сурово, недоверчиво и немного испуганно: я это странное выражение не раз подмечал у людей, проводящих большую часть жизни в лесу. Голос у Талимона глуховатый, носового тембра, не лишенный приятности, но говорит он редко и мало, — тоже, как все лесные люди. Смеется он еще реже, но зато улыбка совершенно изменяет его лицо: оно вдруг становится таким ласковым и добродушным, что на него просто залюбуешься.

Талимон скромен, застенчив и уступчив. Он ни про кого не отзывается дурно, разве только если при нем похвалят плохого охотника, то он слабо и презрительно махнет рукой. Про свои охотничьи успехи он никогда не говорит без особенного повода, но рассказ его, при всей суровой сжатости, всегда занимателен и картинен. Когда сотский с криком и нелепыми телодвижениями начинает руководить порядком охоты, Талимон не возражает ему, а делает по-своему, что выходит гораздо лучше и чему сотский беспрекословно подчиняется, приписывая, однако, успех охоты своим распоряжениям.

У Талимона есть одна дорогая и трогательная общественная черта: он охотно берет на себя самые неприятные, хлопотливые обязанности и безропотно становится на охоте на худшие места. Он первый лезет по пояс в болото, первый переправляется по жидкому весеннему льду, строит шалаши, разводит костры, чистит ружья... Здоровье у него плохое. Часто, идя вместе на охоту, я слышу его кашель, такой странный, отрывистый и сухой, что я долго не мог к нему привыкнуть: все мне казалось, что Талимон чему-то внезапно рассмеялся, и я с любопытством оборачивался в его сторону. Я думаю, что у него наследственная чахотка и что он не проживет долго, особенно при его молчаливой, упорной страсти к спиртному. Если же кашель начинает его мучить чересчур сильно, тогда Талимон приходит ко мне за лекарством. Лекарство это, изобретенное едва ли не самим Талимоном, состоит из большой рюмки водки, куда я капаю четыре или пять капель французского скипидару. «А ну-ка, паныч, дайте мини трошки тэрпэтыны... що-сь у меня в грудях

заложило», — говорит он в этих случаях, после нескольких минут нерешительного колебания на пороге моей комнаты. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что, если бы я предложил Талимону принимать скипидар на воде, я бы рисковал потерять навсегда единственного своего пациента.

В хозяйственном быту Талимон лентяй, каких свет не создавал. Вместо самого необходимого домашнего дела, он предпочитает целые сутки бродить по лесу с ружьем за плечами. Когда его тринадцатилетняя дочь Варка вместе со своим братишкой Архипом вспахивают кое-как, неумелыми слабыми руками, жалкий клочок поля, Талимон только смотрит на них с завалинки, равнодушно покуривая трубку, околоченную медью.

Оба они — и сотский и Талимон — стреляют из таких ружей, каких я более нигде не встречал: фунтов по пятнадцати весом, около вершка калибром, с самодельными ложами и чудовищной отдачей, способной свалить на землю телеграфный столб. Эти редкие предметы достались им по наследству, и оба охотника не согласятся променять их ни на какую централку.

— Теперь такой «стрельбы» не могут сделать, — говорит иногда Талимон, любовно поглядывая на свой аркебуз. — Это «стрельба» настоящая, бо она ще за Катерыну Велыкую зроблена. О!..

И надо видеть, с каким многозначительным видом подымается кверху черный палец Талимонов при этом: о!

У них обоих есть собаки — отдаленные ублюдки гончих, у Кирилы — Сокол, а у Талимона — Свирьга. Собаки, надо отдать им справедливость, прескверные, но меня они интересуют в том отношении, что на них до смешного отразился характер их господ. Рыжий Кирилов Сокол, едва почуя заячий след, бросается бежать по прямой линии и громким лаем дает знать о себе зверю за целую версту. На убитого зайца он тотчас же накидывается и начинает его с ожесточением пожирать, и отогнать его удается, только пустив в ход ружейный приклад. Подходя на зов к человеку, Сокол волнообразно изгибается туловищем, крутит головой,

подобострастно взвизгивает, лихорадочно машет хвостом и, наконец, дойдя до ваших ног, переворачивается на спину. Куски, которые ему дают, он вырывает из рук и уносит их куда-нибудь подальше. Взгляд у него напряженный, заискивающий и фальшивый.

Свирьга — маленькая, черная, гладкая сучка, с остренькой мордочкой и желтыми подпалинами на бровях. Зверя она гонит молча, «нышком», как говорит Талимон. Нрав у нее нелюдимый, нервный и довольно дикий; ласк она, по-видимому, терпеть не может. Она страшно худа. Талимон ее никогда не кормит, потому что, по его мнению, «пес и жинка мусят сами себя годувать», то есть должны сами себя пропитывать. Собака относится к хозяину с полным равнодушием, но я знаю, что, несмотря на эту кажущуюся холодность, Свирьга и Талимон сильно привязаны друг к другу.

Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена казенного хвойного леса отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом, а кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с той мягкой и приятной ясностью, которую можно наблюдать только раннею весной, по вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук и как он, сухо щелкнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотец. Лягушки заливались в них своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им более редким, мелодическим и грустным уханьем. Изредка над головой пролетала с пугливым кряканьем утка, да слышно было, как с громким и коротким блеяньем перелетает с места на место бекас-

баранчик. Высыпали первые звезды, и никогда их мерцающее сиянье не казалось мне таким золотым, таким чистым, кротким и радостным.

— Стойте, паныч... заждить трошки, — сказал вдруг Талимон, присев на корточки сбоку дороги. — Сдается, здесь и заночуем...

Действительно, из-под густой сосновой ветки он вытащил охапку лучины, загодя наколотой им из старого смоляного пня. Я дал ему спичку, и сухое сосновое дерево тотчас же вспыхнуло ярким, беспокойным пламенем, распространяя сильный запах смолы. Затем он навалил сверх лучины сухой прошлогодней желтой хвои, которая сразу задымилась и затрещала.

Сотский не утерпел, чтобы не вмешаться.

— Ат! — крикнул он с досадой. — Ничего не умеешь сделать. Пусти меня.

Талимон сейчас же уступил ему свое место и только с застенчивым видом вытер нос рукавом латуна.

Но у сотского дело не спорилось, и начавший было разгораться костер чуть-чуть совсем не потух.

— Что же ты не помогаешь... стоишь, як пень! — крикнул он с сердцем на Талимона.

С помощью Талимона, притащившего кучи хвороста, костер разгорелся веселым шумным огнем. Я в это время доставал из сумки провизию, к большому удовольствию сотского, провожавшего глазами каждый предмет, появлявшийся из нее. Талимон из деликатности делал вид, что не замечает моих движений. Я предложил им водки. Сотский торопливо принял из моих рук серебряный стаканчик, гаркнул своим сиплым фальцетом: «За ваше здоровье, ваше выскородие», опрокинул залпом водку в рот, а воображаемые остатки лихо выплеснул себе через плечо. Талимон — хотя я видел, что ему хочется выпить не меньше сотского, — сначала немного поцеремонился.

— Пейте, пейте, паныч, — уговаривал он меня таким ласковым тоном, как будто хотел сказать, что ему ничего, он как-нибудь потерпит, обойдется, но что мне не выпить никак нельзя.

Я настаивал. Сдавшись, наконец, и взяв стаканчик, он снял шапку и несколько секунд нерешительно гля-

дел на водку; потом слегка кивнул мне головой и промолвил: «Ну! Будьте здоровы, паныч», и с видимым наслаждением выпил. После этого оба мои спутника отрезали по толстому куску свиного сала, надели его на шомпола и сунули в огонь. Поджариваемое сало заворчало и, растапливаясь, капало в огонь синими горящими каплями.

Раскаленные угольки с треском выпрыгивали из костра и, описав в воздухе искристую дугу, падали за нами. Становилось жарко. Мы разлеглись поудобнее, ногами к огню, головой наружу, и долго все трое возились, уминая под собой место и выгребая сухие веточки и сосновые шишки, мешавшие лежать. Потом все притихли и молча глядели на пламя, охваченные тем непонятным, тихим очарованием, которое ночью так властно и так приятно притягивает глаза к яркому огню.

Над костром вдруг низко и прямо пролетела большая серая птица, медленно махая крыльями и жалобно пища. Мы проводили ее глазами, пока она не утонула во мраке.

— Это канюка, — сказал Талимон, поправляя ногой полено, выбросившее от толчка густой сноп искр.

— Что такое? — переспросил я.

— Канюка, ваше благородие... такая птаха! — закричал сотский и весь заерзал на своем месте. — Звесно, так мы ее называем — канюка... То есть ей, значит, такое название — канюка.

— А паныч знает, чего она так кричит? — спросил с легкой усмешкой Талимон.

— Нет, не знаю... Почему же?

— Не могу сказать: чи правда тому, чи нет, а только старые люди кажут, что ее господь проклял.

— Ат! — пренебрежительно мотнул головой сотский, — очень нужно панычу твои байки слушать... Какая разница...

— Нет, отчего же, — возразил я. — Расскажи, пожалуйста, Талимон. Это очень интересно.

— Что ж... ведь не я ее выдумал... старые люди говорят, — обратился Талимон к сотскому, точно оправдываясь перед ним. — Бачите, паныч, як это дело вы-

шло, — продолжал он более спокойно. — Случилось один раз... давно это было... может, сколько сот лет тому назад... случилось как-то, что зробилась на земле великая суша. Дождь не падал целое лето, и все речки и болота повысыхали... Птицы первые зажурились... Звесно: птаха пьет хоть и помалу, але вельми часто, и без воды ей кепсько... Вот и стали птицы просить у господа бога: «Дай ты нам, господи боже, хоть трошки водицы, а то мы без нее все, сколько нас есть, скоро поумираем». Сжалился над птицами бог и говорит им: «Хорошо, дам я вам воды. Соберитесь все вы, сколько вас есть, в одно место и ройте землю, и как докопаетесь до воды, тогда и напьетесь... на всю вашу братию пока что хватит...» Как услышали эти слова птицы, зараз слетелись в одно место... в лес, скажем, чи в долинку... и давай копать лапками землю. Все птицы собрались: и бузько, и кныга, и шуляк, и крук, и ворона... роют, роют, одно перед другим старается... Только одна канюка ничего не хочет делать. Сидит и смотрит, как другие работают, да перышки свои перебирает. Увидел это господь бог и спрашивает: «Отчего же ты, серая птаха, не хочешь слушать моего приказа? Разве ты не чула, как я всем птицам велел копать криницу?» А канюка отвечает господу богу: «Как же, господи, буду я копать криницу? Бачишь, якие у меня ножки гарненькие! Боюсь я их испачкать землею, не стану я копать криницы». А ножки у нее, панычу, и правда, гарненькие, желтенькие такие. Да... Рассердился тогда господь бог на канюку и сказал: «Будь же ты, серая птица, проклята отныне и до века!.. Пусть теперь и ты и весь род твой не смеет пить воды: а ни из речки, а ни из ривчака, а ни из болота, а ни из криницы или става, ни из стоячей воды, ни из текучей. А только позволяю я тебе пить воду после дождя с зеленого листика...» Вот с тех пор летает эта самая птица и кричит, а наибольше летом... Хочется ей пить, а напиться нельзя. Подлетит к речке — речка ей воды не дает, подлетит к лужице — и та перед ней расступается. Так она от воды до воды и летает, и все канючит... жалостливо так, вот как сейчас, паныч, слышали... За это самое, что она канючит, ее и называют каню-

кой... И это верно, паныч, — закончил он убежденным тоном, — я сам бачил, как она сидит около речки и кричит... Хочется ей пить, да, видно, господне проклятие крепче... Вот так-то...

— Ат!.. Байки! — отозвался сотский.

— Так что же, что байки? — заступился я за Талимона. — Байку тоже занятно послушать. Ночь длинна... торопиться нам некуда.

Кирила тотчас же с обычной неустойчивостью и бестолковостью переменил мнение.

— Ну да... воно так, — захихикал он угодливо. — Я ж понимаю, что панычу любопытно... Паныч думает, я не понимаю? Я усе понимаю. Звесно, что старые люди больше нашего знают... Я ж могу понимать!..

Мы притихли. Вдруг Талимон быстро приподнялся на локте и, сдвинув брови, острым неподвижным взглядом уставился в лесную чащу.

— Кто-то идет, — сказал он вполголоса.

Сотский тоже приподнялся и повернул голову по направлению взгляда Талимона. Я, как ни напрягал внимание, ничего не мог расслышать за треском разгоревшегося костра.

— Кто там иде-ет? Что ты бреше-ешь? — протянул насмешливо Кирила.

— Тихо! — махнул на него рукой, не оборачиваясь, Талимон.

Действительно, его не обманул тонкий охотничий слух. Через минуты две или три послышался легкий треск сухих веток под чьими-то ногами, и из чащи точно вынырнула высокая фигура мужика в новом кожухе и картузе.

— Помогай бог! — сказал он глухим, сильно простуженным голосом и слегка приподнял картуз.

— Здорово! — ответили разом Талимон и Кирила, прикоснувшись к своим шапкам.

— Ишел я по лесу и вижу ваш огонь, — продолжал пришедший, присаживаясь на корточки. — Дай, думаю, посмотрю, что за люди... Скучно одному.

— Седайте, — проговорил из вежливости Талимон, несмотря на то, что гость уже успел усесться.

Этого мужика зовут Александром. Мне никогда не доводилось с ним разговаривать, но я нередко видел его и особенно много о нем слышал благодаря той простой и в то же время тяжелой крестьянской драме, которая на глазах всей деревни разыгрывалась в его семье. Два года тому назад его жена Ониська — хорошенькая, но распутная и глупая бабенка — вернулась из ближнего городка, где она служила в разных местах за кухарку. Вернулась она в деревню не по своей охоте. Уже давно до Александра доходили слухи, что его жена ведет себя нехорошо, путается со всеми городскими господами и с их мужской прислугой, и что даже проезжие посылают «из номерей» мишуреса за Ониськой. Александр не раз являлся в город, отнимал у жены все зажитые ею платья и вещи и рубил их в мелкие кусочки на пороге, а жену избивал и уводил в деревню. Но она улучала минуту и тайком сбегала опять в город. В последнее время ее «водворила на место жительства» полиция, к содействию которой обратился — не знаю уж, по чьему совету — Александр.

Вместе с городским гардеробом Ониська привезла с собою легкость городских нравов и презрение к деревенской необразованности. Держала она себя с соседями заносчиво, употребляла в разговоре никому не ведомые слова, ела в пост скоромное и даже в одно воскресенье — смешно сказать — явилась в церковь с синим пенсне на носу, за что Александр получил от священника, отца Анатолия, строгий выговор.

Поведение ее не стало лучше в деревне. Она таскалась сначала с сыном волостного писаря, потом с конторщиками соседнего лесного имения, потом с помещичьими кучерами, и, наконец, в настоящее время ее постоянным кавалером сделался вольнопрактикующий фельдшер Кацейовский, вертлявый и наглый человечек с темным прошлым, лечивший с одинаковым неуспехом и лошадей, и коров, и баб с их ребятами. Знал ли обо всем этом Александр — трудно сказать. Он никогда не отличался общительностью, а за последний год стал еще больше сторониться от людей, но с лица его не сходило угрюмое выражение упорной, затаенной мужицкой тоски. Глядя на него, крестьяне

покачивали головами и со свойственным им безошибочным инстинктивным чутьем говорили: «Не добром кончится это дело... що-сь буде промеж Онисьи с Александром...»

— Ты коней, что ли, пасешь? — спросил несколько минут спустя сотский.

Александр, неподвижно глядевший в огонь, вдруг встрепенулся, точно его внезапно разбудили.

— Я-то? — протянул он, с усилием отрываясь от огня и, по-видимому, стараясь понять, о чем его спрашивают. — Коней, ты говоришь? Да, да, коней.

— Оно девствительно... теперь злодий как раз подкрадется, — поучительно заметил Кирила.

Александр опять уставился на огонь. Я вгляделся пристальнее в его большое, носатое, изрытое оспой лицо, и меня поразило его равнодушно-тоскливое выражение. И поза, в которой он сидел, сгорбившись, с головой, ушедшей в плечи, охватив обеими руками острые колени, показалась мне усталой и беспомощной. Самый голос у Александра был какой-то жалкий, пришибленный и до странного глухой, как будто бы он раздавался сквозь закрывавшую рот мягкую подушку.

Пламя костра трепетало с бурным ропотом, а на лицах трех крестьян бегали длинные дрожащие тени от носов и глазных впадин. Когда же огонь вспыхивал особенно ярко, эти лица принимали медный оттенок, а в глазах ярко загорались красные точки.

Около костра было тепло, светло и уютно, но там, дальше, куда не достигал освещенный колеблющийся круг, там ночь стала непроницаемо черной, и временами до нас доносилось ее холодное, сырое дыхание. Обступившие нас вокруг деревья слились в одну сплошную, темную — темнее ночи — живую толпу, точно со всего леса сбежались сюда ночные тени и с любопытством глядели сверху, покачиваясь и перешептываясь. Иногда на мгновение выделялся из этого заколдованного круга голый прямой ствол сосны, внезапно облитый красноватым светом, но тотчас же пугливо прятался в густую толпу ночных призраков.

Я лег на спину и долго глядел на темное, спокойное, безоблачное небо, — до того долго, что минутами

мне казалось, будто я гляжу в глубокую пропасть, и тогда у меня начинала слабо, но приятно кружиться голова. А в душу мою сходил какой-то томный, согревающий мир. Кто-то стирал с нее властной рукою всю горечь прошедших неудач, мелкую и озлобленную суету городских интересов, мучительный позор обиженного самолюбия, никогда не засыпающую заботу о насущном хлебе. И вся жизнь, со всеми ее мудреными задачами, вдруг ясно и просто сосредоточилась для меня на этом песчаном бугре около костра, в обществе этих трех человек, несложных, наивных и понятных, почти как сама природа.

Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание: точно вдали кто-то вздохнул во всю ширину необъятной груди... Даже трудно было определить, с какой стороны послышался этот звук: он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих.

— Птаха яка-сь, — заметил вполголоса Александр.

— Сова! — решил тотчас же уверенно сотский.

— Нет, это не птаха, — задумчиво отозвался Талимон. — Господь его знает, что оно такое... Трапляется это часом в лесу, когда ночь тихая...

— Трапляется, трапляется, — с задором передразнил сотский, — а что трапляется, и сам не знает... Ну, что такое трапляется?

— Разное бывает... — мягко и уклончиво возразил Талимон. — Лес у нас великий, в иншее место никто не заглядает, даже лоси и волки... Одному богу звестно, что там ночью робится... Старые полесовщики много чего бают, потому что они целый век в лесу да в лесу... всё видят, всё слышат... Да что ж? — обвел он нас глазами. — Я и сам многое слыхал...

— Ты слыхал... Много ты слыхал!..

— А что ж? — с добродушной настойчивостью продолжал Талимон. — Вот и слыхал. Бывает часом так, что идешь примерно в ночной обход. Тихо так в лесу... аж листик не колыхнет... А вдруг как зарегочет що-сь, как зарегочет... чудно так... не то человек смеется, не то конь ржет, не то заплакал кто-то.

— Ат!..

— А вот еще однажды слыхал я в ночь на светлое воскресенье, как печаловский колокол звонит. Что ж, скажешь, может быть, неправда тому? — укоризненно обратился Талимон к сотскому.

— Нет, это правда. Печаловский колокол звонит, я это знаю, — подтвердил своим глухим голосом Александр.

Я заинтересовался: что такое означает звон печаловского колокола. Сотский в ту же минуту завозился туловищем, ногами и руками и закричал так громко, что по лесу побежало эхо:

— Что вы их слухаете, паныч! Они вам с три короба наговорят. Ат! Бабья брехня... Не слухайте их, ваше благородие.

Но я гораздо энергичнее, чем прежде, попросил сотского молчать. Талимон принялся рассказывать, но сначала немного стеснялся и все озирался на своего противника. Александр по-прежнему тупо и печально глядел на огонь, не изменяя своей жалкой позы. Время от времени он коротко кивал головой и приговаривал: «Да, да... это верно... это так». Сотский с умышленной небрежностью повернулся спиной к рассказчику.

— Это тоже, паныч, дуже старое дело, что я вам хочу рассказывать, за той самый печаловский колокол. Случилось оно еще в те годы, окоче была у нас панщина. Давным-давно... лет... може быть... (Он задумался и вопросительно посмотрел на меня.) Лет триста альбо четыреста будет?.. А мабудь, и больше? Не могу сказать, не знаю, бог его знает, сколько лет... Собирались один раз казаки в поход. Шли они тогда войной на турецкого салтана. И вот стали они прощаться со своими... Журьба по всему селу, плач такой великий... аж стон стоит!.. Тот с батькой своим расстается, с маткой старой, того сестра провожает... Но наибольше голосили дивчата. Звесно, у каждой был в войске свой заручённый... И уж эти бабы завше одинаковы. Сама плачет, як река разливается, а все ж таки не утерпит на ухо шепнуть: «Будешь ты, Грицко, альбо там Павло, чи Юрко, будешь вертаться назад из Туреччины, привези мне памятку какую-нибудь, чи перстенек, чи намисто, чи хустку червонную...»

Был в том селе казак, по имени Опанас: гарный хлопец, веселый и шворный такой, але ж только совсем бедный, як собака. Всего у него богатства только и было, что на нем. Служил Опанас за наймита у мельника. А у мельника была дочка, такая красивая дивчина, что лепше ее нигде на всю округу не было. Полюбилась эта мельничиха Опанасу; так он ее полюбил, что только из-за нее одной и жил на млыне, потому что старый мельник был человек гордый и скупой, кормил наймитов плохо и даже за людей их не считал... И дочка его такая ж была. Знала она, что Опанас ее крепко любит, но только над ним смеялась.

Как услышал Опанас, что идут казаки на войну, стал и он собираться... Вот пришло время и в поход выступать. Приехал Опанас в опушний раз на млын, прощается, бидака, со своей любой. А ей ничего, только смеется с него. «Привези, каже, мне из турецкой земли такое намисто, чтоб такого еще ни у кого не было, чтоб все молодицы и дивчины — и Гапка, и Катерына, и Пруська, — чтобы все они с зависти пожелтели. Тогда, говорит, может, и пойду за тебя замуж. Да помни одно: если твое намисто хоть из золотых дукатов будет, я и то его не приму, а брошу его тебе в твою наймичью пыку. Бо такое намисто я вже у одной проезжей пани бачила».

— Ах ты стерва! — не утерпел, наконец, сотский и быстро повернулся лицом к рассказчику. — Я бы ей самой в пыку за такие слова дал!..

Сотский, хотя и старался до сих пор подчеркнуть свое невнимание к рассказу, но, очевидно, слушал его с захватывающим интересом, несмотря на то, что, наверно, знал его наизусть с самого детства. Он, как многие крестьяне, новым байкам предпочитал старинные, давно ему привычные, уже осиленные и усвоенные его тугим, коротким воображением.

— Да. Так она ему и сказала, — продолжал Талимон, заметно польщенный и подбодренный искренней выходкой сотского. — «Привези мне, говорит, такое намисто, какого еще никто и не бачил». — «Хорошо, — говорит Опанас, — хорошо, привезу я тебе такое намисто!»... а сам вельми рассердился, — даже про-

щаться с нею больше не стал, — вскочил на коня и поехал догонять товарищей.

В ту пору, как шли казаки походом, подружил Опанас с одним казаком, Левком, — так подружил, что просто они друг без дружки жить не могут, а напоследок даже крестами поменялись. «Будь ты мне, — говорит Опанас, — за родного брата. Куда ты, туда и я. Будем везде стоять друг за дружку и выручать от всякой беды».

Наконец пришли наши казаки и в Туреччину. Долго они там сражались. Сколько сел и деревень попалили, сколько скота угнали, сколько ихних церквей разорили... а поганых турок так богацько набили, что даже счет потеряли... золотые монеты забирали прямо жменями, аж казацкие кишени не могли выдержать, лопались... И везде Левко вместе с Опанасом: и турок вместе бьют, и кашу из одного горшка едят, и спят под одним кожухом...

Завоевали один раз казаки самый великий турецкий город — Константинов, и стали тот город разорять. Опанас с Левком забрались в бо-огатый-пребогатый палац и давай хозяевать в нем, как в своей хате. Набрали дукатов золотых, посуды разной срибной, дорогих каменьев... Вдруг бачат: лежит в щекатунке намисто, и так-то блещет намисто, что аж глаза колет. Левко с Опанасом разом хвать за намисто!.. Один каже — мое, другой говóрит — мое. Слово за слово, стали лаяться казаки. Дальше, больше, — вынул Левко шаблюку, вынул и Опанас свою шаблюку. Начали биться. Бились час, бились другой: пересилил-таки Опанас Левка и отрубил своему названому брату казацкую голову, и взял себе то гарное намисто...

Никому он не сказал из товарищей, что убил Левка, а намисто сховал у себя на груди, под свиткой, чтоб никто его не заметил. Так все и подумали, что пропал Левко без вести, чи взяли его в плен, чи зарезал его где-нибудь поганый турка.

Вскорости повернули казаки до дому — уж больше года прошло, как они выехали в поход. Поехал с ними и Опанас. Только совсем не такой поехал, как из дому выезжал. Тогда был веселый такой: все песни спевал

да жартовал с товарищами, а теперь едет тихий, сумный, песен не поет, не говорит ни с кем и все — нет-нет — рукой лапает за грудь, где у него спрятано намисто.

На страстной неделе вступили казаки на русскую землю. Едут они однажды вечером и видят в степи огонь. «Вот здесь, говорят, и заночуем». Подъехали, глядят — цыганский табор. Ну, что же? Хоть и цыгане, а все же таки подорожные люди. Говорят им казаки: «Слава богу!» Те им отвечают: «Во веки слава». Просят седать. Сели наши казаки, вынули из сумок хлеб, соль, цибулю... стали вечерять, послали за горилкой, — тут корчма близко оказалась. Пьют и цыган частуют. Только одна молодая цыганка — красивая такая — заметила, что Опанас все за грудь тремается, и пытает в шутку: «Что у тебя, хлопец, на груди скрыто? Может, намисто везешь своей дивчине?» Испугался Опанас, аж весь затрусился. «А ты почему знаешь? Нема у меня никакого намиста. Отчепись ты от меня, ради бога». Цыганка еще больше смеется. «Чего же ты, говорит, злякался? Или ты кого зарезал за то намисто, що так побелел?» И пристала эта цыганка к Опанасу: «Пойдем со мной в мой намет... Я тебя вином угощу добрым, и постель тебе постелю, и сама с тобою ляжу...» Говорит она так, а сама на Опанаса дивится; очи у нее черные, блескучие, а лицо темное, а зубы белые, как цукар. Послушался казак, пошел с ней в намет, сел... Подает она ему великую чару: «Пей!» — каже. Выпил он одну, цыганка ему зàраз другую наливает. Выпил другую Опанас и пытает: «А что же ты сама не пьешь? Меня поишь, а сама не пьешь?» Усмехнулась цыганка, однако выпила трошки; только, как выпила, сейчас же воды хлебнула. Казак спрашивает: «Ты для чего же воду пьешь?» — «А это у нас, говорит, свычай такой... нам иньше по нашей вере не можно»... И наливает еще одну чарку. Как выпил Опанас третью чару, помешалось у него все в голове, обомлел он и упал, как неживой. Чует он, что кто-то мацает его за грудь и свитку раскрывает, а поворохнуться не может: точно ему руки и ноги веревками повязали...

Проснулся наутро Опанас и первым делом лап-лап по-пид свиткой: нема намиста! Он к товарищам: «Где цыгане?» А тех цыган уже давно и звания нема, еще до солнца поднялись, погыгортали-погыгортали что-то по-своему и всем табором подались на полдень. «Нет, — думает казак, — я ей, бисовой дочке, моего намиста не подарю». Вскочил на коня и поехал вдогонку за цыганами.

Едет он милю, другую, десять миль, и все людей пытает: «А что, добрые люди, не видали вы, не проходил ли здесь цыганский табор?» — «Как же, говорят, видели: вот только-только перед тобой проехали по шляху». Опять едет казак, погоняет коня со всех сил, а догнать никак не может, и везде ему люди кажут: «Бачили мы цыган, всего только час какой назад, вон в ту сторону потянули». А тем временем вечер зашел, стало темно. А когда казак через Печаловку проезжал, то уже дело подходило близко полуночи. Стал он и в Печаловке пытать: «Бачили цыган, добры люди?» — «Бачили, кажут, езжай скорийше, они еще двух верстов не успели сделать».

Только что опять выехал Опанас в поле, видит — стоит церковь, а в церкви малый огонек чуть-чуть мигает. Посмотрел Опанас и думает: «А ведь нынче у людей страстная суббота, и сейчас настанет Христово воскресение. Бог весть, когда я еще до церкви доберусь. Треба зайти хоть лба перекрестить». Слез с коня и зашел в церкву. Звесно, *так себе* зашел, бо у него на душе совсем не молитва была.

Зашел он в церкву и видит, что там всего только одна свечка горит перед иконой божьей матери, а людей в церкви нема. Даже сторож и тот куда-сь на минутку вышел. Подошел казак к образу, да так и захолол. Смотрит он, а у божьей матери округ сияния надето намисто, аккурат такое, как у него цыганка украла, только еще краше. Всего одна свечечка в церкви, а намисто так и горит, так и горит, — аже в глазах больно... А коло образа, как на грех, лесенка маленькая приставлена... Звесно, что все это дело *злой* наробил. Потом оказалось, что и цыгане те, что намисто украли, совсем не цыгане были, а ма̀ра.

Обернулся Опанас в одну сторону, в другую... видит — никого в церкви нет. Влез он на лесенку и протянул руку. И ледве он доторкнулся рукой до намиста, — загремел гром, заблискала блискавица, и вся церковь, как стояла, так и провалилась скризь землю... Сбежались из села люди, смотрят, а на месте церкви стоит великое озеро, а в озере колокол звонит...

— Да... это верно... это так, — тихо заметил Александр.

— И с той самой поры, — продолжал в торжественном тоне Талимон, — с той самой поры каждый раз в светлое воскресенье слышат люди звон из того озера. То звонит колокол в потонувшей церкви. И это все правда... я сам чул один раз. Не так, чтобы вельми громко, но як притулить ухо до земли, то совсем добре чутно.

Талимон замолчал, выбросил из костра уголек и, перекинув его несколько раз с ладони на ладонь, стал раскуривать свою короткую трубку. Я спросил, что сталось потом с жестокой мельничихой?

Талимон сплюнул в сторону.

— Этого уж я не знаю, паныч. Чего не знаю, того не можу казать. За мельникову дочку я больше ничего не чул.

— А что же с ней зробилось? Погубила, трясьца ее собачьей матери, христианскую душу, и все тут, — с горькой злобой вставил Александр. — Нет на свете ни одного такого поскудного гада, як баба!..

— Все хороши: и бабы и чоловики, — равнодушно сказал Талимон.

Александр вдруг как-то разом заволновался.

— Нет, ты этого не говори, Талимон... Это ты напрасно так говоришь, — заторопился он, суетливо и неловко тыча перед собою руками. — Хоть мы, чоловики, и пьем, и сво̀римся, и воруем часом, але все же таки мы бога не забываем... А баба? Або она что понимает? Або она что чувствует?..

— Это ты правильно, — поддакнул сотский. — У бабы за̀место души пар, як у собаци. Это даже в двенадцати викториях сказано.

— Чи пар, чи другое що, я уж за то не знаю, —

нетерпеливо отмахнулся от него Александр. — А только я одно скажу, что всякая шкода, всякая швара — все через них робится. Как в святых книгах сказано? Через кого господь прогнал Адама из раю? Через бабу... Шкодливы, пакостницы, сокотухи[1]. Плетут невесть что... Вот уж это вправду сказано: лучше железо варить, чем с злою женою жить.

Вероятно, еще и раньше, до рассказа Талимона про намисто, Александр находился в том состоянии, когда накипевшие в человеке и долго сдерживаемые чувства ищут себе исхода, и тогда достаточно ничтожного предлога, чтобы они прорвались в самой необузданной форме. Видно было, глядя на неожиданную горячность Александра, что теперь ему уже трудно остановиться, раз он начал высказываться. И хотя, по-видимому, он громил всех женщин вообще, но как-то невольно чувствовалось, что все его проникнутые жестокой ненавистью слова относятся к одной Ониське.

— Стыда они в себе никакого не имеют! — продолжал еще возбужденнее Александр. — У суки, и у той стыда больше, чем у бабы... Только одна мерзость у нее на думке. А этого ей ничего, что из-за нее чоловику нельзя на село показаться, что от страму не знаешь, куда голову спрятать. Мужей бросают, сволочи, даром что в церкви божьей присягали на верность... Хуже кошек они, эти бабы! Кошка хоть к хате своей призвычайна, а баба ни к чему не привыкнет. Разве ей дети нужны? Муж нужен? Страм ей нужен... Тьфу! — Александр с омерзением плюнул на землю. — Вот что ей нужно!..

— Батога ей треба! — сочувственно и серьезно заметил Талимон.

Сотский поддержал это мнение.

— Да и до-оброго батога. Старики кажут недаром: як больше бабу бьешь, то борщ вкуснее.

Но Александр как будто бы не заметил слов сотского. Во все время своей беспорядочной, злобной речи он обращался к Талимону, в черных печальных глазах которого отражалось настоящее сострадание.

---

[1] Болтуньи. Когда кричит сорока, про нее говорят, что она «сокочет». *(Прим. автора.)*

— Эх! Або она боится батога? — махнул безнадежно рукой Александр. — Баба как гадюка: пополам ее перерви, а она все вертится. Да и не можно все бить да бить. Ты вот на нее серчаешь, а она подсунулась к тебе теплая да ласая... так, стерва, душу из тебя руками и вынет. Нет, это что ж, бить-то... А вот так зробить, как Семен Башмур в позапрошлом годе зробил...

— Ну, брат, этого тоже начальство не одобряет... какая разница! — многозначительно сказал сотский.

— А что такое Башмур сделал с женой? — полюбопытствовал я.

На этот вопрос долго не было ответа, точно каждый из мужиков дожидался, чтобы заговорил другой. Наконец сотский начал медленно и неохотно:

— Жинка его... Башмурова жинка, значит... связалась тут с одним хлопцем... Петро его зовут... он и теперь на селе живет... женился на покрову. Ну, и застукал он ее один раз с этим с самым Петром в хлеве...

Сотский замолчал, точно ему неприятно было продолжать. Александр и Талимон как-то уж чересчур равнодушно уставились глазами на свои лапти.

— Ну, и что же дальше? — спросил я.

— Да что же? Повалил ее на землю и засунул ей квача[1] с дегтем в рот... ну, и того... задохнулась. Ат! Да что об этом толковать!.. Ты куда же, Александр? — спросил сотский, видя, что тот встал со своего места и оправляет ремень, стягивающий кожух. — Идешь, что ли?

— Пойду, — коротко ответил Александр, ни на кого не глядя. — Что ж сидеть... скоро утро. Ну, бывайте здоровы...

Пока он был виден, мы все трое провожали его глазами. В его вялой, тяжелой и медленной походке, в очертаниях его натруженной, полусогнутой спины было что-то удрученное, жалкое... Глядя на эту походку и на эту спину, я невольно подумал, что еще долго он будет бродить сегодня по лесу со своей одинокой, молчаливой тоской.

---

[1] Квач — тряпка, туго свернутая, кляп. *(Прим. автора)*

После его ухода мы долго молчали. Так всегда бывает, если из компании уйдет один человек: пусть даже он молчал все время, но остальные без него несколько минут чувствуют себя неловко, точно от них отняли что-то, подогревающее беседу.

Сотский первый заговорил:

— А все через свою Ониську человек сохнет... Совсем извела его, подлюка.

— Что ж... не наше это дело,— осторожно, как бы вскользь, заметил Талимон.

— Как это не мое дело? — вскипел сотский.— Ежели, примерно, я начальством здесь состою?.. Какая разница!..

Талимон немного смутился.

— Ну, да... оно так, конечно, а все ж таки...

— То-то вот — «все ж таки». Как это ты мог сказать: не мое дело? А если, упаси господи, беда якая случится?.. Жаль мужика, пропадает ни за грош,— совсем уж другим тоном обратился сотский ко мне.— Трудящий он, старательный человяка... И уж чего-чего он ни делал: к попу водил свою Ониську отчитывать, господину вряднику жалобу приносил... ничего пользы нет. Он и к Недильке даже ходил...

— К какой это Недильке? — спросил я.

— А тут, бачите, есть у нас одна ворожка, Недилькой мы ее зовем... так он к ней и ходил. Велела, говорят, она ему поймать кожана [1] и сварить его живого, а потом закопать на ночь в муравельнике, чтоб муравли его обглодали до костей. А в тех костях, каже, есть такие маленькие грабельки и вилочка. Як ты, каже, захочешь, чтоб тебя дивчина, чи молодица полюбила, то ты только этими граблями проведи ей по спидныце, чи по камизельке. А если хочешь, чтобы она тебя разлюбила, то вилами ее торкни легонько...

— Ну что же, и Недилька не помогла?

— Э, какие теперь ворожки! — сделал сотский презрительную гримасу.— Або теперешние ворожки что-нибудь знают? Вот прежние — те действительно много могли. Кровь, зубы заговаривали, отмовляли, если кого

[1] Летучая мышь. (*Прим. автора.*)

бешеная собака укусит или гадюка... узнавали, где злодий вещи спрятал...

— Ну да... Бо им раньше черти вспособляли, — пояснил Талимон.

— А звесно, помогали... У иньшей даже не один и не два, а скольконадцать чертяк служило в наймитах. Ну, а теперь совсем нема чертей...

— Как нема? Куда же они делись? — спросил я, заинтересованный судьбой чертей.

Признаться, я не ожидал, да и не мог ожидать хоть сколько-нибудь определенного ответа, но к моему чрезвычайному удивлению Талимон и Кирила тотчас же, нимало не задумавшись, ответили в один голос:

— На машину ушли.

— Что-о? На машину? На какую машину?

— А на зализную дорогу, — хладнокровно и уверенно объяснил сотский. — Им там теперь вельми добре жить... Вот как разобьется вагонов с пятнадцать, тут сейчас чертякам и работа. Богацько тогда умирает людей без причастия, а это *злому* и потеха, потому что человек весь в грехах, як в кожухе. А чертяка его разом цап за комир и в пекло. Може, за одну неделю душ с тысячу приставит. Ну, а ему, звесно, от самого главного сатаны за это награда... А в селе ему что за польза? Коли-николи одну якую-сь душонку зловит, да и то старушечью, лядащую. Вот потому-то они все из села и поутекали. А что, Талимон? Развидняет? — обратился он к Талимону, пристально смотревшему на восток.

— Уже. Ну, паныч, давайте собираться, — сказал Талимон, подымаясь. — Как придем на ток, зараз и день будет.

Мы наскоро собрали свои вещи, растащили костер и тронулись. Небо еще не изменило своего темного цвета, но восток уже побледнел и звезды потеряли яркость. Легкий утренний ветерок, суетливый и холодный, набегал изредка и чуть трепетал в вершинах деревьев.

До тока нам пришлось идти около трех четвертей часа. Самый ток представляет из себя большую, десятин в двадцать, полянку, окруженную молодым

леском. Кое-где по ней были разбросаны небольшие группы кустов.

В темноте, в полузнакомом месте, я скоро потерялся и покорно шел за Талимоном, то и дело попадая ногами в какие-то ямы. Наконец Талимон остановился и шепнул мне на ухо:

— Седайте, паныч, вон в ту будку. Сидите «нышком», не ворошитесь. А як стрелите тетерука, то, спаси господи, не вылезайте из кучки... Зàраз другие прилетят на то же место.

Он указал мне на несколько маленьких березок, едва белевших шагах в пяти от нас, а сам пошел в другую сторону и тотчас же бесшумно пропал в темноте.

Я с трудом отыскал свою будку. Она состояла из двух тонких березок, связанных верхушками и густо закрытых с боков сосновыми ветками. Раздвинув ветки, я влез в будку на четвереньках, уселся поудобнее, прислонил ружье к стволу и стал оглядываться.

Прямо передо мною тянулись ровные серые широкие грядки прошлогодней нивы (в борозды между этими грядами я все и проваливался, когда шел за Талимоном). Восток уже начал розоветь. Деревья и кусты вырисовывались бледными, неясными, однотонными пятнами. К смолистому крепкому запаху сосновых ветвей, из которых была сделана моя будка, приятно примешивался запах утренней сыроватой свежести. Пахла и молодая травка, серая от росы...

Где-то очень близко — мне показалось, что над самой моей головой, — робко чирикнула птичка, ей ответила другая, третья... В лесу пронзительно захохотала сова, и ее крик звучно и резко пронесся между деревьев. Утка пролетела стороной, и долго не смолкало ее кряканье, все тише и тише доносясь до меня. Высоко на деревьях томно застонали дикие голуби.

Вдруг совсем около меня, на земле, раздалось громкое хлопанье крепких крыльев. Я невольно вздрогнул. Не далее, как в шаге от моей будки, упал тетерев; если бы я протянул руку, я мог бы дотронуться до того места, где он опустился. Весь черный, с красными, мясистыми бровями и коротким острым клювом, он стоял неподвижно, как каменный, показываясь мне

всем своим стройным, красивым профилем. Его блестящий черный глазок тревожно и зорко заглядывал в будку. Я затаил дыхание и замер, не отводя от него глаз. Но тетерев уже заметил меня. Он вдруг поднялся и, громко хлопая крыльями, полетел низко над землею.

«Ну, пропала сегодня охота», — подумал я с досадой, но в ту же секунду с двух сторон — впереди меня и справа — так же громко и коротко захлопали крылья. Несколько минут оба тетерева молчали, должно быть, внимательно оглядываясь кругом и прислушиваясь. Но вот один из них, тот, что упал справа, издал громкий боевой крик: «чу! чшшш...» — странный звук, который трудно передать, похожий отчасти на испорченный, осипший петушиный крик, отчасти на шипение, а также на свист ножа под колесом точильщика. «Чу! чшшш...» — тотчас же отозвался другой. Как мне ни хотелось увидеть самих тетеревов, но я боялся пошевелиться и только слушал.

Так они перекликнулись несколько раз. Вдруг первый, закричав особенно задорно и громко, подпрыгнул вверх и забил крыльями; то же самое немедленно сделал и второй. Самцы подходили один к другому все ближе и ближе, возбуждая себя перед битвой воинственными криками...

Но, еще не сойдясь, они оба сердито заболботали: совсем как индюки, только нежнее, продолжительнее и не так отрывисто. Иногда они прерывали свое болботание, чтобы закричать и перелететь поближе к противнику. Я осторожно, стараясь не шуметь одеждой, повернулся и стал всматриваться сквозь просветы ветвей.

Сначала я увидел только одного. До него было не больше тридцати шагов. Он токовал, вытянув над самой землей шею, и медленно, плавно поворачивался то в одну, то в другую сторону. Когда он становился ко мне задом, я видел только изнанку его поднятого вверх хвоста, похожую на развернутый белый пушистый веер. Скоро я увидел и другого: он токовал от первого шагах в десяти, так же сердито и плавно топчась на месте. Иногда оба они, один вслед за другим,

подымали свои головы и прямо и широко растопыривали крылья, что придавало им надутый, гневный и комический вид.

Вдруг недалеко от меня грянул оглушительный, точно пушечный выстрел. Эхо подхватило его, бросило в лес, и он, разбившись об деревья на тысячи звуков, долго, то стихая, то усиливаясь, грохотал в чистом утреннем воздухе. Оба тетерева, насторожившись, замерли на несколько секунд, но потом, закричав с новым ожесточением, разом подпрыгнули вверх и с такой силой ударились в воздухе грудь об грудь, что несколько маленьких перышек полетело от них в разные стороны. Упав на землю, тетерева опять принялись за свое сердитое болботанье.

Я осторожно просунул ружье между ветвями и, страшно волнуясь, слыша ускоренное биение своего сердца, стал целить. Одна хвоинка закрывала мне мушку. Едва переводя дыхание, я отщипнул ее, сел поудобнее и приложился... Выстрел вышел неожиданный и очень громкий. За облаком дыма я ничего не мог рассмотреть, но уже услышал судорожное хлопанье крыльев и знал, что не промахнулся. Действительно, когда дым рассеялся, я увидал тетерева; он свалился в борозду и лежал в ней неподвижной черной грудкой. Противник его не сорвался, он только застыл на месте в чуткой и недоумевающей позе. Принимая ружье, я нечаянно произвел едва слышный шорох. Тетерев испуганно поднялся и быстро полетел по направлению к лесу.

Вокруг меня со всех сторон еще токовали невидимые мне тетерева, но все тише, все слабее. Наступало затишье, которое бывает всегда между первым и вторым током... Заря разгорелась в полнеба. Солнца еще не было видно, но верхушки высоких деревьев уже подернулись точно золотой пылью...

Через час мы возвращались домой. Талимон, который стрелял два раза — один раз передо мною, а другой во время второго тока — убил двух тетеревов, я одного, а сотский возвращался с пустыми руками и

потому заметно дулся и не хотел глядеть на дичь. Талимон из крыльев каждой птицы выдернул по два пера, просунул их толстыми концами в носовые отверстия тетеревов, тонкие концы связал и нес таким образом дичь, как бы на петлях.

Нам оставалось до деревни не более полуверсты, и мы подходили уже к большому деревянному кресту, стоявшему на пересечении зуленской и печаловской дорог. Эти кресты, с прибитыми наверху их, сделанными из дерева орудиями страданий Христовых — копьем, лестницей, молотком и тридцатью сребрениками, — всегда можно увидеть на перекрестках полесских дорог. Снизу на эти кресты молодицы и девки вешают сшитые ими по обету пестрые фартуки и полотенца, что придает кресту своеобразный — дикий и живописный вид.

Когда мы поравнялись с крестом, то все трое заметили фигуру какого-то человека, бежавшего нам навстречу из деревни. Талимон своим зорким глазом первый узнал его и сказал, обращаясь к сотскому:

— Это ваш Грицко бежит, сотник.

Действительно, это был Грицко, сын сотского, малый лет восемнадцати, уже женатый, большой весельчак, вечно скаливший свои огромные, белые, как у молодой собаки, зубы.

— Тату! Тату! — закричал он еще на ходу. — Бежите скорей... у нас на селе беда!..

— Что там за беда? — недовольным голосом отозвался сотский. — Яка така беда?..

Грицко добежал до нас и продолжал, с трудом переводя дух:

— Великая беда, тату... чоловик один... жинку свою убил...

Мы переглянулись, и одна и та же мысль мелькнула у нас в глазах. Мне показалось, что Талимон побледнел.

— Ат! Что ты брешешь! — воскликнул сотский, делая строгое и важное начальническое лицо. — Какой чоловик? Когда убил?..

— Александр, тату, Ониськин чоловик...

— Да когда? Когда, я тебя спрашиваю? — закричал сотский. Он прибавил шагу, и Грицко едва поспевал за ним, пускаясь по временам вприпрыжку. Мы с Талимоном тоже пошли скорее.

— Ах, боже мой, боже ж мой, — растерянно причитал Грицко. — Вот только, только — и часу не будет... Сам пришел под хату к Кузьме Борийчуку, вызвал Кузьму и каже: «Вяжите меня, бо я свою жинку забил геть до смерти!.. секирой...» Я и Ониську бачил, тату... Ку-у-да!.. Вже и не дышит... Мозги вывалились... Люди говорят, что он фершала с ней застал...

Подходя к деревне, мы еще издали увидали большую толпу, собравшуюся на монопольной лужайке. Все галдели разом и без толку. Бабы, подперши ладонью левой руки щеку, а правой поддерживая левую за локоть, стояли сзади мужиков, в этих неизменных позах русского женского горя, и всхлипывали.

При нашем приближении толпа расступилась на обе стороны, образовав род широкой дорожки. В середине круга на деревянном обрубке сидел Александр. Он был без шапки, с бледным, испачканным чем-то темным — может быть, даже кровью — лицом. Увидя нас, он поднял голову и вдруг улыбнулся. Странная это была улыбка — мучительная, болезненная, невыносимо тяжелая... Я поспешно прошел мимо, дальше от этой ненавистной мне толпы, которая всегда с такой омерзительной жадностью слетается на кровь, на грязь и на падаль...

Уже подходя к своей квартире, я слышал, как сотский безобразно орал пронзительным начальническим фальцетом:

— Ты людей убивать, сукин сын! Я тебе покажу, ирод проклятый. Грицко, бежи за веревками... Я т-тебе покажу-у!..

ОЛЕСЯ

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уж успел тис-

нуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, — отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать: «Помогай бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и всё порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала казалось мне неприятным — я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в серéдине болит» и «ни есть, ни пить не можу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне этого не полагается... Что у тебя болит?»

— В серéдине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть серéдине, так что даже ни пить, ни есть не можу.

— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она также вопросом. — Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И, сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы не беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!» Нюхает... «Что легче?» — «Як будто полегшало»... — «Ну, так и ступай с богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. — Мне бы только мое фамилие...

— Зачем это тебе? — удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброде; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

— А видите, какое дело, паныч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет... не могу...

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными, закорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл... — досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... — оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна, как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по

всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычанья. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола — странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья, по-вашему?

— А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, — думал я, — может быть, сейчас же мне

удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? — спросил я.

— Не знаю... Может, есть, — ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотность, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодицы злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злотого не дала...» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят...

— Ну, а где же теперь эта ведьмака? — продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака? — медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. — А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганов... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка... Обеих прогнали...

— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете — болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясьця ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тьфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

— Я?! — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... — Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить... — Вы идите до старой корчмы. А я его обойду

от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика — характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У — бый! У — бый!», первый слог — протяжным резким фальцетом, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

— Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? — крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

— Да ведь далеко было... больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего... Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, — он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, — подумал я. — Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказоч-

ная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно ввиду половодья, затопляющего весною весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма», — мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха... А кто такой — неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Бо́льшую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас по крайней мере можно напиться? — спросил я, возвышая голос.

— А вон, в кадке, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди... Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, — поддразнил я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка... Левой ручкой сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший... Счастлив будешь,

богат будешь... — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи ни цвит
Калиноньку ломит
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

— Ну иди, иди теперь, соколик, — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. — Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, — воскликнула она, громко смеясь, — посмотри,

какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашел... Пытает дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — с решительным видом обернулась она ко мне, — будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания...

— Послушай, красавица, — сказал я девушке. — Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку.

— Ручные, — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. — Ну вот, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу...

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой ко́лоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую,

здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить.

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я ни урядник, ни писарь, ни акцизный, словом — я никакое начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто, приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

— Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-

нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество...

— Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотелось... Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, — с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мне все бо́льшим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, — чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и — как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь, — и в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. — А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже. Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако, до свидания, — заторопилась она, — не знаю, как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Постой, постой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

— Аленой меня зовут... По-здешнему — Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили...

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следовает вам такими делами заниматься... Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, — тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, — поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах, — ду-

мал я, — есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в своих силах, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахару.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилось по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказал я громким, бодрым голосом. — Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно тряся головой, — ничего не помню. И что ты у нас позабыл, — никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка, — сказала она примири-

тельно, — это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, — сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. — Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? — вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но в сущности требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите? — кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще...

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес... Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего, — начальства боится... Урядник приедет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без сроку, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю... Только не за деньги, — добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет, — тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласна?

— Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя... нельзя... — зашептала она с суеверным страхом. — Судьбу нельзя два раза пытать... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет... Лучше не надо, — сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. — Пожалуйста, не просите... Нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконец Олеся. — Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уж все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете... Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите... Такое у вас дело одно выйдет... Но только не посмеете, так снесете... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно, — карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

— Что же случится в этом году? — спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. — Ну да, вроде моих, — продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — пошутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться, — серьезно, почти строго, заметила Олеся. — Я вам все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит... А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько

неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, — не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

— Что же ты видишь у него в лице?

— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевельнуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черные... Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести... Всю ночь его били... Злой у нас народ здесь, безжалостный... В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

— Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

— А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился... Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь... Только что ж? Это ведь у меня от

судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не от нас... это в нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне, — может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся в свою очередь попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебе на месте, стрекоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченая, — слабо отбивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мне Олеся.

— Нет... Не колдунья... — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же, — отозвалась она просто, — что ж тут неприятного? Да она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать? — полюбопытствовал я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака

укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите, — с готовностью согласилась Олеся. — Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас.

— А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шеп-

тать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет... Пустяки... Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. — Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить...

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать отожествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно

воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть... Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

— О! Я еще много чего умею, — самоуверенно заявила Олеся. — Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто, — усомнился я. — Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О, нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну, хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так — смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы, — работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Ну полно, полно, Олеся... будет, — сказал я с деланным смехом. — Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, — тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не видавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла...

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю... Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мне пора, — заторопилась Олеся, — бабушка будет сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

— Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным

достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем заике, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижной ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? — наивно пристала она ко мне.

— Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, боже мой! Какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде;

случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, — сказала Олеся, покачав головой. — Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, — так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну, а если твой муж будет из города? — спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще! — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом, — досадливо отмахивалась она. — Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зароков будет.

— Ну что ж — и полюблю! — сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. — Спрашиваться ни у кого не буду...

— Стало быть, и замуж пойдешь, — поддразнил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь... Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана *ему*.

— Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя обманываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь, — она крепко притиснула руку к груди, — в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, — Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю, — говорила она, возвышая голос в увлечении спора, — а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся

умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь, как величайшая тайна, из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в *его* лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч, — говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч... нужно пашню сегодня

орать», — чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом... Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

— Нет... что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет... Так... свои заботы... пустячные...

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам... Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да, правда, не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. — Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, — повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, — говорила Мануйлиха, — а потом и пошел, и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

— Ну вот, вот это самое. Я тогда у старого поме-

щика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

— Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история... Четвертной билет давала, не берет... Куд-да тебе! Так на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уже двадцать пятый год — бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче ста-

новился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врядник, — проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Говорю, что врядник приехал, — повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. — Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарахтенье колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, — другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

— Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

— Не могу-с. Долг службы...

— Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе как детей родных воспитывал... Зашли бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Ведь вот вы какой, право, — с упреком сказал урядник. — Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

— Какое сливянка! — махнул я рукой. — Старка, батюшка, вот что!

— Мы, признаться, уж подзакусили, — с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

— Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах — прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

— Эх! Что вы со мной делаете! — воскликнул в комическом отчаянии урядник. — Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет... Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания...) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

— Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? — спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очи-

щая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я, наконец, замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего? — заволновался я. — Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, беззащитные женщины...

— И одна из них прямо бутон садовый! — ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как чем я рискую-с?! — взвился с кресла урядник. — Помилуйте, да всем рискую и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с... из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника.

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец, что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. — Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович. Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так... Ну хоть по человечеству...

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он

каждый слог. — Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться...

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...» Позвольте узнать, ходит ли эта... как ее... Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт вторый: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования...» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? — Я. Кого из службы по шапке? — Меня. Видите, какая штукенция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович, — начал я опять умильным тоном. — Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко, — небрежно уронил он, не переставая барабанить. — Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное, — похвалил я. — Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с... я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, — сказал я любезно. — Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье по крайней мере перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, — говорил он, громко стуча о пол неналезавшими калошами. — Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? — деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим... — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. — Я вот вас еще о чем хотел попросить... Редис у вас замечательный...

— Сам вырастил.

— Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того... пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом... Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно... Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица... — милостиво разрешил урядник. — А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, — вдруг возвысил он голос, — что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды, — она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, не понятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, — все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой

скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, — точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаясь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому... Ровно шесть дней била меня неотступная ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бес-

конечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий — порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора...

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами... Но — странное дело — в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался, или, вернее, не просыпался, а внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» — с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое

и короткое дыхание... Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игралищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской...

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

X

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь...

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться... Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне

быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная, сияющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни, — никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали! — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. — Я бы в один день вас на ноги поставила... Ну, как же им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся... это и случилось так внезапно... и, кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе... Послушай, Олеся, — прибавил я, понижая голос, — нам

с тобой много, много нужно поговорить... только одним... понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да... я и сама хотела... потом... подождите...

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если вас теперь сыростью охватит, — болезнь сейчас же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся? — спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду... провожу немножко, — ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки? — с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено... Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Ну да, не хочет... Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один... Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль... Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, как ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчик... Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю, — так, к слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А ведь сначала, — право, даже смешно и вспомнить, — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять... Очень мне это было горько... Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет...

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари...

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла... Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы... А теперь... теперь...

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуху, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

— Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

— Олеся, ради бога, не надо... оставь меня, — говорил я, стараясь разжать ее руки. — Теперь и я боюсь... боюсь самого себя... Пусти меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленький, — сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. — Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану... Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но... не целуй меня больше... Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя...

Ее губы опять долго и мучительно сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

— Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше... Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет...

. . . .

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на коря-

вые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, — такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастием и жутким безмолвием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, — спохватилась вдруг Олеся. — Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

— Нет, нет... Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо...

— А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— О да, непременно... Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть... Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам...

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было, — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. — Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с то-

бой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами, — и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра́, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни... Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходиться каждый вечер в лесу... И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с бо́льшим удивлением находил, что Олеся — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный

такт. В любви — в прямом, грубом ее смысле — всегда есть ужасные стороны, составляющие мученье и стыд для нервных художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки — стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне, как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и бо́льшая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, — утешал я себя, — и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. — Заждался небось? А я насилу-насилу вырвалась... Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него... Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе...»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый... Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу наверно... кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать... Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если я скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь — мое феральное число, — думал я несколько минут спустя, — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, — говорил я себе, — лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, —

это составит как раз целую минуту, — и тогда непременно, непременно...»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся. — Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприятность... ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя...

— Нет... что же... тут и говорить нечего, — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. — Если служба, то, конечно... надо ехать...

Она остановилась около дерева и оперлась спиною об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олеся... что с тобой? Олеся... милая!..

— Ничего... извините меня... это пройдет. Так... голова закружилась...

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олеся? Почему?

— Нет, нет... Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты — барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею и куда ступить не знаю... Ты одного стыда из-за меня не оберешься...

— Это все глупости, Олеся! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся... Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе... Ведь у меня отца нет... Я незаконная...

— Перестань, Олеся... Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик... Лучше бы ты вовсе об этом не начинал разговора... Ты молодой, свободный... Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь... Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. — Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем счастье думаю. Наконец ты позабыл про бабушку. Ну, посуди

сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж... и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покоробила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома... они называются богадельнями... где таким старушкам дают и покой и уход внимательный...

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое! — с глубокой нежностью произнесла Олеся. — Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отогрел ты мое сердце... Но все-таки замуж я за тебя не пойду... Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь... Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю... И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся, — спросил я, осененный новой догадкой. — А может быть, ты опять... церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом, вместе с обладанием чародейными силами. В сущности в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристикой последних десятилетий. Почем знать? — если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, — весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и

злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что бог не примет тебя? — продолжал я с возрастающей горячностью. — Что у него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собой, радостно смеясь и протягивая мне свои, раскрытые частым дыханием, влажные милые губы...

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси:

— Ванечка! Подожди минутку... Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый... какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся... Девочка моя славная, успокойся...

— Послушай, скажи мне, — продолжала она, — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся? — начал я с запинкой. — Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться наконец. Но женщина... женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила? — полюбопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе... Просто спросила... Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь безусловно верю в это! — никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях.

XII

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник св. троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже замечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фарширо-

ванной еврейской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа... В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирняя
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они по-

слали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской божией матери, но бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приснилося старшему чтецу:
Той свичи не брати,
Вывезти еи в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезлы еи в чистое поле,
Сталы еи рубати,
Кули и патроны на вси стороны
Сталы — геть! — роскидати...

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тише ты, дурень... Чего орешь! Услышит...

— А что мне, что услышит? — продолжал задорно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей. . . . .

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего

не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни... Так же горячо палило солнце... Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь... Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева... Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения — Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться, — любезно тараторил Никита Назарыч. — Очень приятно увидеться... А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимим хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! — воскликнул он, давясь и прыская. — Ха-ха-ха-ха... Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел, — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. — Перебродские дивчата... Нет, ей-богу, не выдержу... Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму... То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности... Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла...

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите! — закричал я неистовым голосом. — Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я... я... право, не знаю-с, — растерянно залепетал он. — Кажется, какая-то Самуйлиха... Мануйлиха... или... Позвольте... Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу, женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы достоять до конца обедню. Может быть, она не

поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озиравшуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся, в припадке злобы, ужаса и отчаяния, бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали... Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

XIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, — сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время — как это странно! — у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в

голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: — Что? Доигрался, голубчик?

— Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесей?

— Тсс... тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей... Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала... А ведь чуяло мое сердце беду... Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? — вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. — Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?

— Не манил я ее, бабка... Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана... Простоволосая... Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет... Ну, прямо вот, как кликуша какая... Легла в постель... все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то... Тронула я ее, голубушку,

за руку, а она вся так жаром и пышет... Значит, огневица с ней началась... С час без умолку говорила, быстро да жалостно так... Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завыла нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервал я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол... Так прошло минут десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха.

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. — Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне ста-а-арой, тошно мне-е-е-е...

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. — Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся, — сказал я, понижая голос. — Я только что приехал верхом из деревни... А все утро я в городе был... Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое повыше локтя — резко выделялись на белой, нежной коже.

— Голубчик мой, — заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого. — Хочется мне... на тебя посмотреть... да не могу я... Всю меня... изуродовали... Помнишь... тебе... мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась... А теперь тебе противно будет... смотреть на меня... Ну, вот... я... и не хочу...

— Олеся, прости меня, — шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая... Ну, чего я полезла... в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виноватъ...

— Олеся, позволь мне... Только обещай сначала, что позволишь...

— Обещаю, голубчик... все, что ты хочешь...

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором... Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись, Олеся.

— Ох, милый... В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет — так бабушка мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось... Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь...

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, тем-

ные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

— Не смотри на меня... Прошу тебя... Гадкая я теперь, — умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь? — шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы... я бы...

— Ну, полно... полно... Не сердись, голубчик, — кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — В голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. — Милый мой... Да перестань же, перестань... Не мучь себя, голубчик... Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Нам надо проститься с тобой, Ванечка, — заговорила она решительно. — Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше...

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь... Ведь я там... в Переброде... погрозилась со зла да со стыда... А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, — все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, — правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внучечка? Не расслышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброде ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, — все на нас, горемычных, свалят... Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики... А тогда, как меня из села выгнали... Что ж? Разве не так же было? Погрозилась я... тоже вот с досады... одной дурище полосатой, а у нее — хвать — ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные... Камнями стали шибать... Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет... Наконец и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже! — с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. — Копеечки сиротские, слезами облитые...

— Олеся... А я как же? Обо мне ты и думать

даже не хочешь! — воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только... видишь ли... не судьба нам вместе быть... вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья... А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу? — воскликнул я нетерпеливо. — Не хочу я в нее верить... и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет... не говори этого, — испуганно зашептала Олеся. — Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет... нет... нет... я знаю, я вижу, — твердила она настойчиво. — Ничего нам, кроме горя, не будет... ничего... ничего...

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я, наконец, спросил:

— Но ведь во всяком случае ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку... Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня,

не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься, — говорит волк, — сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами. «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь заїчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай... — произнесла она с расстановкой. — Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди... Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною?

— Ни одного мгновения! Не только в твоем присутствии, но, даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.

— Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом, — сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. — Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело... Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой... Поезжай домой, голубчик... Устала я немножко. Подожди... поцелуй меня... Ты бабушки не бойся... она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простись, простись как следует, — не-

довольно проворчала старуха. — Чего же передо мной таиться-то?.. Давно знаю...

— Поцелуй меня сюда, и сюда еще... и сюда, — говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! — воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну, поезжай с богом. Нет, постой... еще минуточку... Наклони ко мне ухо... Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке. — О том, что у меня нет от тебя ребеночка. Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня над Перебродом грозе, — сказала она убедительным тоном. — А чего доброго, даже и с градом.

XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на

стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, — оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града... Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Паныч, — сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Паныч, треба вам отсюда уезжать...

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил, — огрызнулся Ярмола. — Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито как ногами потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира... Наслала-таки шкоду ведьмака чертова... чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вче-

рашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

— Теперь вся громада бунтуется, — продолжал Ярмола. — С утра все опять перепились и орут... И про вас, панычу, кричат недоброе... А вы знаете, яка у нас громада?.. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам, панычу, я скажу одно — утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу да в углу стоял деревянный остов кровати...

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», — единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

НОЧНАЯ СМЕНА

В казарме восьмой роты давно окончили вечернюю перекличку и пропели молитву. Уже одиннадцатый час в начале, но люди не спешат раздеваться. Завтра воскресенье, а в воскресенье все, кроме должностных, встают часом позже.

Дневальный — Лука Меркулов — только что «заступил на смену». До двух часов пополуночи он должен не спать, ходить по казарме в шинели, в шапке и со штыком на боку и следить за порядком: за тем, чтобы не было покраж, чтобы люди не выбегали на двор раздетыми, чтобы в помещение не проникали посторонние лица. В случае посещения начальства он обязан рапортовать о благополучии и о всем происшедшем.

Меркулов дневалит не в очередь, а в наказание — за то, что в прошедший понедельник, во время подготовительных к стрельбе упражнений, его скатанная шинель была обвязана не ременным трынчиком, который у него украли, а веревочкой. Дневалит он через день вот уже третий раз, и все ему достаются самые тяжелые ночные часы.

Меркулов плохой фронтовик. Нельзя сказать, чтобы он был ленив и нестарателен. Просто ему не дается сложное искусство чисто делать ружейные приемы, вытягивать при маршировке вниз носок ноги, «подаваясь всем корпусом вперед», и в должной сте-

пени «затаивать дыхание в момент спуска ударника» при стрельбе. Тем не менее он известен за солдата серьезного и обстоятельного: в одежде наблюдает опрятность; сквернословит сравнительно мало; водку пьет только казенную, какую дают по большим праздникам, а в свободное время медленно и добросовестно тачает сапоги, — не более пары в месяц, но зато какие сапоги! — огромные, тяжеловесные, не знающие износа, — меркуловские сапоги.

Лицо у него шершавое, серое, в один тон с шинелью, с оттенком той грязной бледности, которую придает простым лицам воздух казарм, тюрем и госпиталей. Странное и какое-то неуместное впечатление производят на меркуловском лице выпуклые глаза удивительно нежного и чистого цвета — добрые, детские и до того ясные, что они кажутся сияющими. Губы у Меркулова простодушные, толстые, особенно верхняя, над которой точно прилизан редкий бурый пушок.

В казарме гомон. Четыре длинных, сквозных комнаты еле освещены коптящим красноватым светом четырех жестяных ночников, висящих в каждом взводе у стены ручкой на гвоздике. Посередине комнат тянутся в два ряда сплошные нары, покрытые сверху сенниками. Стены выбелены известкой, а снизу выкрашены коричневой масляной краской. Вдоль стен стоят в длинных деревянных стойках красивыми, стройными рядами ружья; над ними висят в рамках олеографии и гравюры, изображающие в грубом, наглядном виде всю солдатскую науку.

Меркулов медленно ходит из взвода в взвод. Ему скучно, хочется спать, и он чувствует зависть ко всем этим людям, которые копошатся, галдят и хохочут в тяжелой мгле казармы. У всех у них впереди так много часов сна, что они не боятся отнять у него несколько минут. Но всего томительнее, всего неприятнее — сознание, что через полчаса вся рота замолкнет, уснет, и только Меркулов остается бодрствовать — тоскующий и забытый, одинокий среди ста человек, перенесенных какою-то нездешней, таинственной силой в неведомый мир.

Во втором взводе тесно сбились в кучу около десяти или двенадцати солдатиков. Они так близко расселись и разлеглись друг возле друга на нарах, что сразу не разберешь, к каким головам и спинам принадлежат какие руки и ноги. В двух-трех местах то и дело вспыхивают красные огоньки «цигарок». В самой середине сидит, поджав под себя ноги, старый солдат Замошников, — «дядька Замошников», как его называет вся рота. Замошников — маленький, худой, подвижной солдатик, общий любимец, запевала и добровольный увеселитель. Мерно покачиваясь взад и вперед и потирая колени ладонями, он рассказывает сказку, держась все время пониженного, медленного и как будто бы недоумевающего тона. Его слушают в сосредоточенном молчании. Изредка один из присутствующих, захваченный интересом рассказа, вдруг вставит, не вытерпев, торопливое, восхищенно-ругательное восклицание.

Меркулов останавливается подле кучки и равнодушно прислушивается.

— И посылает этта ему турецкий салтан большущую бочку мака и пишет ему письмо: «Вашее приасхадительство, славный и храбрый генерал Скобелев! Даю я тебе три дня и три ночи строку, чтобы ты пересчитал весь этот мак до единого зерна. И сколько, значит, ты зерен насчитаешь, столько у меня в моем войске есть солдатов». Прочитал генерал Скобелев салтаново письмо и вовсе даже от этого не испужался, а только, наоборот, посылает обратно турецкому салтану горсточку стручкового перцу. «У меня, говорит, солдатов куда против твоего меньше, всего-навсего одна малая горстка, а нука-ся, попробуй-ка, — раскуси!..»

— Ловко повернул! — одобряет голос за спиной Замошникова.

Другие слушатели сдержанно смеются.

— Да... На-ка, говорит, раскуси, попробуй! — повторяет Замошников, жалея расстаться с выигрышным местом. — Салтан-то ему, значит, бочку мака, а он ему горсть перцу: «На-ка-сь, говорит, выкуси!» Это Скобелев-то наш, салтану-то турецкому. «У меня, говорит,

солдатов всего одна горсточка, а попробуй-ка, поди-ка, раскуси!..»

— Вся, что ли, сказка-то, дядька Замошников? — робко спрашивает какой-то нетерпеливый слушатель.

— А ты... погоди, братец мой, — досадливо замечает ему Замошников. — Ты не подталдыкивай... Сказку сказывать — это, брат, тоже не блох ловить... Да... — Затем, помолчав немного и успокоившись, он продолжает сказку: — Да... «Хоть и малая, говорит, горсточка, а поди-ка, раскуси...» Прочитал турецкий салтан скобелевское письмо и опять ему пишет: «Убери ты подобру-поздорову свое храброе войско из моей турецкой земли... А ежели ты своего храброго войска убрать не захочешь, то дам я своим солдатам по чарке водки, солдаты мои от этого рассердятся и выгонят в три дня всю твою армию из Турции». А Скобелев ему сейчас ответ: «Великий и славный турецкий салтан, как это смеешь ты, турецкая твоя морда, мне такие слова писать? Нашел чем тращать: «По чарке водки дам!» А я вот своим солдатушкам три дня лопать ничего не дам, и они тебя, распротакого-то сына, со всем твоим войском живьем сожрут и назад не вернут, так ты без вести и пропадешь, собачья образина, свиное твое ухо!..» Как услышал эти слова турецкий салтан, сильно он, братцы мои, в ту пору испужался и сейчас подался на замиренье. «Ну, говорит, тебя совсем к богу и с войском с твоим. Вот тебе мельонт рублей денег, и отвяжись ты от меня, пожалуйста...»

Замошников молчит с минуту и потом добавляет коротко:

— Вся сказка, ребята.

Слушатели оживляются, и кучка начинает шевелиться. Со всех сторон раздается одобрительная ругань.

— Важно он яво, братцы!..

— Н-да-а, саданул... нечего сказать...

— На что лучше... Я, грит, своим солдатам три дни есть не дам, так они тебя, мерзавца, живьем слопают. Как он ему сказал, дядька Замошников? А, дядька Замошников?

Замошников повторяет ту же самую фразу слово в слово.

— Куда ж против наших! — подхватывают хвастливые голоса.

— Ку-у-да-а!.. Против рушких-то!

— Ежели против наших, так это еще, брат, погодить надоть.

— Да еще и как погодить-то... Это такое дело, что надо благословимшись да каши сперва поемши.

Замошников в это время тянется к огоньку цигарки, то вспыхивающему, то погасающему подле него, и говорит небрежно:

— Дай-ка-сь, братец, потянуть разочек. Чтой-то смерть покурить хоцца.

Он несколько раз подряд торопливо и глубоко затягивается, пуская дым из носа двумя прямыми, сильными струями. Лицо его, особенно подбородок и губы, попеременно то озаряются красным блеском, то мгновенно тухнут, пропадают в темноте. Чья-то рука протягивается к его рту за цигаркой, и чей-то голос просит:

— А ну-ка, дядька Замошников, оставь, я покурю немножко.

— Кто покурить, а кто и поплюоить, — отрезает Замошников.

Солдаты смеются: «Уж этот Замошников... всегда такое ввернет!..» Поощренный Замошников продолжает шутить:

— Знаешь, брат, как нонче курят? Табачок ваш, бумажку дашь, вот и покурим.

Однако он тут же сует в протянутую руку окурок, сплевывает на сторону, перегнувшись через чью-то спину, и говорит:

— А вот тоже, ребята, знаю я еще одну историю. Може, кто слышал из вас? Про то, как солдат прицепил себе железные когти и лазил к царевне на башню? Если знаете, так я лучше и сказывать не буду.

— Не знаем... Нет, нет... Валяй, дядька Замошников. Никто не слыхал.

— Начинается это так, что жил-был на свете солдат Яшка Медная Пряжка. И был, братцы мои, этот солдат удивительный человек на свете...

Меркулов вяло отходит прочь. В другое время он сам с живым удовольствием слушал бы сказки Замошникова, но теперь ему даже кажется странным, как это другие могут слушать с таким интересом вещи незанимательные, скучные и, главное, заведомо вымышленные.

«Ишь, черти, и ко сну их не манит, — злобно думает Меркулов. — Будут себе целую ночь дрыхнуть...»

Он подходит к окну. Стекла изнутри запотели, и по ним то и дело быстро и извилисто сбегают капли. Меркулов протирает рукавом шинели стекло, прижимается к нему лбом и загораживает глаза с обеих сторон ладонями, чтобы не мешало отражение ночника. На дворе осенняя, дождливая, черная ночь. Свет, падающий из окна, лежит на земле косым, вытянутым четырехугольником, и видно, как в этой светлой полосе морщится и рябится от дождя большая лужа. Далеко впереди и внизу, точно на краю света, чуть-чуть блестят огни местечка. Больше ничего не различает глаз в темноте ненастной ночи.

Постояв немного у окна, Меркулов идет дальше, в четвертый взвод, обходит его и медленно бредет по другой стороне казармы, вдоль окон. На самом конце нар, по бокам угла, уселись, спустив ноги, двое солдат — Панчук и Коваль. Между ними стоит маленький деревянный сундучок с замком на кольцах. На сундуке лежит цельный хлеб, накроенный толстыми ломтями во всю длину, пяток луковиц, кусок свиного сала и крупная серая соль в чистой тряпке. Панчук и Коваль связаны между собою странной, молчаливой дружбой, основанной на необычайном обжорстве. Им не хватает казенного хлеба по три фунта на человека; они прикупают его каждый день у товарищей и всегда поедают его вместе, обыкновенно вечером, не обмениваясь при этом ни единым словом. Оба они из зажиточных семейств и ежемесячно получают из дому по рублю и даже по два...

Каждый из них поочередно узким ножиком, источенным до того, что его острие даже вогнулось внутрь, отрезает несколько тонких, как папиросная бумага, кусочков сала и аккуратно распластывает их между

двумя ломтями хлеба, круто посоленными с обеих сторон. Потом они начинают молча и медленно поедать эти огромные бутерброды, лениво болтая спущенными вниз ногами.

Меркулов останавливается против них и тупо смотрит, как они едят. Вид сала вызывает у него под языком острую слюну, но просить он не решается: все равно ему ответят отказом и хлесткой насмешкой. Однако он все-таки произносит срывающимся голосом, в котором слышится почти просьба:

— Хлеб да соль, ребята.

— Ем, да свой, а ты рядом постой, — отвечает совершенно серьезно Коваль и, не глядя на Меркулова, обчищает ножом от коричневой шелухи луковицу, режет ее на четыре части, обмакивает одну четверть в соль и жует ее с сочным хрустением. Панчук ничего не говорит, но смотрит прямо в лицо Меркулову тупыми, сонными, неподвижными глазами. Он громко чавкает, и на его массивных скулах, под обтягивающей их кожей, напрягаются и ходят связки челюстных мускулов.

Несколько минут все трое молчат. Наконец Панчук с трудом проглатывает большой кусок и сдавленным голосом равнодушно спрашивает:

— Что, брат, дневалишь?

Он и без того отлично знает, что Меркулов дневалит, и предложил этот вопрос ни с того ни с сего, без всякого интереса; просто так себе, спросилось. И Меркулов так же равнодушно испускает, вместо ответа, длинное ругательство, неизвестно кому адресованное: двум ли солдатам, которые имеют возможность объедаться хлебом с салом, или начальству, заставившему Меркулова не в очередь дневалить.

Он отходит от приятелей, продолжающих свою молчаливую, медленную еду, и бредет дальше. Сырая казарма быстро нагревается человеческим дыханием: Меркулову даже становится жарко в его шинели. Несколько раз кряду он обходит все взводы, со скукой прислушиваясь к разговору, громкому смеху, руготне и пению, долго не смолкающим в роте. Ничего его не смешит и не занимает, но в душе ему сильно хочется,

чтобы еще долго, долго, хоть всю ночь, не затихал этот шум, чтобы только ему, Меркулову, не оставаться одному в мутной тишине спящей казармы.

В конце первого взвода стоит отдельная нара унтер-офицера Евдокима Ивановича Ноги, ближайшего начальника Меркулова. Евдоким Иванович — большой франт, бабник, говорун и человек зажиточный. Его нара поверх сенника покрыта толстым ватным одеялом, сшитым из множества разноцветных квадратиков и треугольников; в головах к деревянной спинке прилеплено хлебом маленькое, круглое, треснутое посредине зеркальце в жестяной оправе.

Евдоким Иванович без мундира и босой лежит сверх своего великолепного одеяла на спине, заложив за голову руки и задрав кверху ноги, из которых одна упирается пяткой в стену, а другая через нее перекинута. Из угла рта торчит у него камышовый мундштук со вставленной в него дымящейся «кручонкой». Перед унтер-офицером в понурой, печальной и покорной позе большой обезьяны стоит рядовой его взвода Шангирей Камафутдинов — бледный, грязный, глуповатый татарин, не выучивший за три года своей службы почти ни одного русского слова, — посмешище всей роты, ужас и позор инспекторских смотров.

Ноге не спится, и, пользуясь минутой, он «репетит» с Камафутдиновым «словесность». У татарина от умственного напряжения виски и конец носа покрылись мелкими каплями пота. Время от времени он вытаскивает из кармана грязную ветошку и сильно трет ею свои зараженные трахомой, воспаленные, распухшие, гноящиеся глаза.

— Идиот турецкий! Морда! Что я тебя спрашиваю? Ну! Что я тебя спрашиваю, идол? — кипятится Нога.

Камафутдинов молчит.

— Эфиоп неумытый! Как твое ружье называется? Говори, как твое ружье называется, скотина казанская!

Камафутдинов трет свои больные глаза, переминается с ноги на ногу, но продолжает молчать.

— Ах, ты!.. Нет с тобой никакой моей возможности! Ну, повторяй за мной... — И Нога произносит,

громко отчеканивая каждый слог: — Ма-ло-ка-ли-бер-на-я, ско-ро-стрель-на-я...

— Малякарли... карасти.. — испуганно и торопливо повторяет Камафутдинов.

— Дура! Не спеши... Еще раз: малокалиберная, скорострельная...

— Малякяли... скарлястиль...

— У-у! Образина татарская! — И Нога делает на него злобно искаженную физиономию. — Ну, черт с тобой... Дальше повторяй: пехотная винтовка...

— Пихоть бинтофк...

— Со скользящим затвором...

— Заскальзяситвором...

— Системы Бердана, номер второй...

— Ссем бирдан, номер тарой.

— Так... Ну, катай сначала.

Татарин вяло мнется и опять лезет в карман за тряпкой.

— Ну же! Черт!

— К... к... кали... калибри... заскальзи... — Камафутдинов наугад подбирает первые попадающиеся ему звуки.

— Заскальзи-и! — перебивает его унтер-офицер. — Сам ты — заскальзи. Вставать мне только не хочется, а то бы я тебе выутюжил морду-то! Весь фасон ты у меня во взводе нарушаешь!.. Ты думаешь, с меня из-за тебя не зиськуется? Строго, брат, зиськуется... Ну, повторяй опять: малокалиберная, скорострельная...

В конце первого взвода, близ железной печки, разлеглись на нарах головами друг к другу трое старых солдат и поют вполголоса, но с большим чувством и с видимым удовольствием вольную, «свою», деревенскую песню. Первый голос высоким, нежным фальцетом выводит грустную мелодию, небрежно выговаривая слова и вставляя в них для певучести лишние гласные. Другой певец старательно и бережно вторит ему в терцию сиплым, но приятным и сочным тенорком, немного в нос. Третий поет в октаву с первым глухим и невыразительным голосом; в иных местах он нарочно молчит, пропускает два такта и вдруг сразу подхватывает и догоняет товарищей в своеобразной фуге,

Прощай, радость моя и покой, —
Слышу, уезжает от меня милой.
Ах, намы долыжно
С та-або-ой... —

согласно и красиво вытягивают первые голоса, а третий, отставший от них после слова «должно», вдруг присоединяется к ним решительным, крепким подхватом:

С тобой расстаться.

И затем все трое поют вместе:

Тебя мне больше не видать,
Темною ночкой вместе не гулять.

Закончив куплет, голос, певший мелодию, вдруг берет страшно высокую ноту и долго-долго тянет ее, широко раскрыв при этом рот, зажмурив глаза и наморщив от усилия нос. Потом, сразу оборвав, точно отбросив эту ноту, он делает маленькую паузу, откашливается и начинает снова:

Ахы, темыною ночикой
Мне-е не сыпится,
Сама я не знаю по-оче-ему...

— Сударь, почему! — ввертывает вдруг третий уверенным речитативом, и опять все втроем продолжают:

Ах, буду помнить я
Твои ласковые взоры,
Ваш веселый разговор...

Песня эта знакома Меркулову еще с деревни, и поэтому он слушает ее очень внимательно. Ему кажется, что хорошо было бы теперь лежать раздетым, укрывшись с головой шинелью, и думать про деревню и про своих, думать до тех пор, пока сон тихо и ласково не заведет ему глаз.

Певцы вдруг замолкают. Меркулов долго дожидается, чтобы они опять запели; ему нравится неопределенная грусть и жалость к самому себе, которую всегда вызывают в нем печальные мотивы. Но сол-

даты лежат молча на животах, головами друг к другу: должно быть, заунывная песня и на них навеяла молчаливую тоску. Меркулов глубоко вздыхает, долго скребет под шинелью зачесавшуюся грудь, сделав при этом страдальческое лицо, и медленно отходит от певцов.

Казарма затихает постепенно. Только во втором взводе слышатся то и дело взрывы буйного хохота. Замошников уже окончил историю про солдата с железными когтями и теперь начинает «приставлять». Он сам — и актер и импровизатор. Его любимый номер, который он сейчас и разыгрывает, — это полковой смотр, производимый строгим генералом Замошниковым. Здесь он является поочередно и толстым генералом с одышкой, и полковым командиром, и штабс-капитаном Глазуновым, и фельдфебелем Тарасом Гавриловичем, и старухой хохлушкой, которая только что пришла из деревни и «восемнадцать літ москалив не бачила», и кривоногим, косым рядовым Твердохлебом, и плачущим ребенком, и сердитой барыней с собачкой, и татарином Камафутдиновым, и целым батальоном солдат, и музыкой, и полковым врачом. Наверно, каждый из слушателей не менее десяти раз присутствовал на «приставленьях» Замошникова, но интерес вовсе не ослабевает от этого, тем более что Замошников всегда наново разукрашивает свои диалоги бойкими рифмами и то и дело загибает поговорки, одна другой неожиданней и непристойней... Замошников ведет сцену, стоя в проходе между нарами и окном, зрители расселись и разлеглись на нарах.

— Муз-зыканты, по мест-а-а-ам! — командует Замошников хриплым, нарочно задушенным голосом, преувеличенно разевая рот и тряся закинутой назад головой: он, конечно, боится кричать громко и этими приемами изображает до известной степени оглушительность команды полкового командира. — По-олк! Слуша-а-ай! На крау-у-ул! Музыка, играй... Трам, папим, тати-ра-рам...

Замошников трубит марш, раздувая щеки и хлопая себя по ним ладонями, как по барабану. Затем он говорит бойкой скороговоркой:

— Вот едет на белом коне храбрый генерал Замошников. Смотрит соколом, грудь колесом. Весь мундир в орденах, посмотришь — прямо тибе береть страх. «Здорово, молодцы, славные нижнеломовцы!» — «Здра-жела-вассс!» — «Молодцы, ребята!» — «Ради стараться, вассс!..» Сейчас полковой к нему с рапортом: «Вашему приасходительству, славному и храброму генералу Замошникову имею честь лепортовать... В Нижнеломовском развеселом полке все обстоит благополучно. По списку солдатов целая тыща. Сто человек в лазарете валяется, сто по кабакам шатается, да сто в бегах обретается. Пятьдесят под забором лежат, пятьдесят под арестом сидят, а пятьдесят пьяные — на ногах не стоят... Двести по миру пошли побираться, а другие и совсем никуда не годятся. Не стрижены, не бриты, морды у них не умыты, под глазами синяки подбиты. Целый год ничего не ели, не пили, а только все по девкам ходили. Нет нашего полка на свете веселее!» — «Молодцы, ребята, спасибо, красавцы!» — «Ради стараться, вассс...» — «Претензий не имеете?» — «Никак нет, вассс...» — «Хлеба много едите?» — «Точно так, вассс... очинно много: как едим, так за ушами трещить, а съедим, так в брюхе пишшить». — «Молодцы, братцы. Так и надоть. Пой песни, хоть тресни, гляди орлом, а есть не проси. Выдать каждому солдатику по манерке водки, да по фунту табаку, да деньгами полтинник». — «Покорнейше благодарим, вассс...»

А тут с'час полковой вперед выезжает. «По цирмуриальному маршу, поротно, на двухвзводную дистанцию... Первая рота шагом!» Музыка. Ту-ру-рум ту-рум... Идут —ать, два! ать, два... Левой!.. Левой!.. Вдруг: «Сто-ой! На-за-ад! Отстави-ить!» — «Что́ т-такое за история?» — «Это у вас какая рота, полковник?» — «Восьмая нарезная, вассс...» — «А это что за морда кривая стоит в строю?» — «Рядовой Твердохлеб, вассс...» — «Прогнать со смотра и всыпать пятьдесят...»

Солдаты хохочут, и всех громче рядовой Твердохлеб, которого со всех сторон толкают под бока локтями. Дальше обыкновенно следует рассказ о том,

как после смотра генерал Замошников обедает у полкового командира.

— «Вам борщу или супу, вассс?..» — «Мне бы того и другого... поболе...» — «А водочки, вассс?» — «Гм... можно и водочки... стаканчик». Затем идет изысканный разговор с полковничьей дочкой: «Барышня, угостите поцелуйчиком». — «Ах, что́ вы-с... нешто это можно при папашах?.. Они увидають...» — «Нельзя, значит?» — «Ахxx... никак невозможно». — «В таком разе предпо́жалуйте ручку». — «Ручку извольте...»

Но Замошников не успевает докончить «приставленья». Внезапно растворяется дверь казармы, и в просвете показывается фигура фельдфебеля Тараса Гавриловича, в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и в очках.

— Чего вы гогочете, словно жеребцы на овес? — раздается его сердитый старческий окрик. — Когда вы утихомиритесь?! Вот я вас всех сейчас по мордам раскассирую. Ну!.. Живо расходись!..

Солдаты медленно, неохотно расходятся по своим местам. Необыкновенно быстро, в каких-нибудь пять минут, казарма совсем стихает. Где-то среди нар слышится торопливый шепот молитвы: «Господи, Сусе Христе... Сыне божий, помилуй нас... Пресвятая троица, помилуй нас». Где-то звучно падают один за другим на асфальтовый пол сброшенные с ног сапоги. Кто-то кашляет глухо, с надсадой, по-овечьи... Жизнь сразу прекратилась.

Меркулов продолжает ходить по казарме. Он идет вдоль стены, машинально обдирая ногтем большого пальца масляную краску. Солдаты лежат на нарах, покрытые сверху серыми шинелями, тесно прижавшись друг к другу. При тусклом, коптящем свете ночников очертания спящих фигур теряют резкость, сливаются, и кажется, будто это лежат не люди, а серые, однообразные и неподвижные вороха шинелей.

От нечего делать Меркулов присматривается к спящим. Один лежит на спине, подняв и согнув под острым углом ноги; он полураскрыл рот и дышит глубоко и ровно; с лица его не сходит спокойное, глупое выражение. Другой спит на животе, уткнувшись головой в

сгиб левой руки, между тем как правая протянута вдоль тела и выворочена ладонью наружу. Голые ноги высунулись из-под короткой шинели; икры на них напружинились, а концы пальцев сведены, как в судороге. Вот скорчился солдат Естифеев, земляк Меркулова и сосед его по строю. Кажется, нарочно не примешь такой неестественной позы: голова глубоко засунута под кумачовую засаленную подушку, ноги прижаты чуть не к самому подбородку. Должно быть, кровь прилила Естифееву к голове, потому что из-под подушки раздаются медленные, мучительные стоны.

Меркулову жутко и тягостно. Всего несколько минут назад все эти сто человек ходили, смеялись, разговаривали, бранились... и вот они, все до одного, лежат неподвижные, стонущие и храпящие, объятые и унесенные какой-то *другой,* непонятной, таинственной жизнью. Для каждого из них уже нет более ни военной службы с ее тягостями и напускным весельем, ни скучного мрака казармы, ни соседа, беспокойно мечущегося у него на груди головой, ни одиноко бродящего со своей тоской Меркулова. И темный ужас заползает понемногу в сердце Меркулова, съеживает кожу на его черепе и волной холодных мурашек бежит по его спине.

Он останавливается против часов, висящих в третьем взводе под ночником, и долго, пристально смотрит на них. Меркулов плохо разбирает время, но он знает (это ему терпеливо и пространно объяснял сегодня дежурный), что когда большая стрелка станет прямо вверх, а маленькая почти перпендикулярно к ней вправо, то тогда надо ему сменяться. Это — обыкновенные двухрублевые часы с белым квадратным циферблатом, разрисованным по углам розанами, с медными гирьками, к одной из которых подвязаны веревкой камень и железный болт, с избитым от времени, точно изжеванным, медным маятником.

— Ти-та, ти-та...— отсчитывает среди тишины маятник, и Меркулов внимательно прислушивается к его ходу. Первый удар слабее и чище, а второй звучит глухо и выбивается с трудом, как будто бы его что-то задерживает внутри, и слышно, как между обоими

ударами в середине часов передергивается какая-то цепочка. Ти-к-та, ти-к-та... И Меркулов шепчет вслед за ходом часов: «Тягота, тягота...» Странная духовная связь есть между этими часами и ночным бодрствованием Меркулова: точно оба они — одни в казарме — осуждены какой-то жестокой силой тоскливо отсчитывать секунды и томиться долгим одиночеством. «Тягота, тягота» — монотонно и устало шепчет маятник. В казарме скучно и жутко, ночники еле светят, в углах громоздятся безобразные тени, и Меркулов сонно шепчет вместе с маятником: «Тя-го-та».

Потом он идет в дальний угол первого взвода и садится между печкой и ружейной пирамидой на высоком табурете с залосненным и почерневшим от времени сиденьем. От железной печки идет легкое тепло вместе с запахом угара. Меркулов глубоко засовывает руки в рукава и задумывается.

Вспоминается ему письмо, полученное третьего дня «с родины». Это письмо читали ему вслух: сначала взводный унтер-офицер, потом ротный писарь, потом все грамотные земляки, так что текст письма Меркулов успел выучить наизусть и даже подсказывал чтецам неразборчивые места.

«Письмо солдатское, пехотное, очень нужное. Письмо пущено с родины 20 сентября настоящего года. Село Мокрые Верхи, от отца вашего.

Любезный сынок наш Лука Моисеевич!

Во первых строках сего письма посылаем тебе родительское наше благословение и желаем от господа бога скорого и счастливого успеха в делах ваших и уведомляем вас, что мы с матушкой вашей Лукерьей Трофимовной, слава богу, живы и здоровы, чего и вам желаем. Еще кланяется вам любящая супруга Татьяна Ивановна и посылает свое искренно любящее супружеское почтение, с любовью низкий поклон и желает вам от бога всего хорошего. Еще кланяется тебе любезный тестечик твой Иван Федосеевич с супругой и с детками и желает вам успеха в делах ваших. Еще кланяется вам братец ваш Николай Моисеевич с супругой и с детками и с низким поклоном желает вам от бога всего хорошего.

А у нас все, слава богу, благополучно, чего и тебе от всей души желаем. В деревне у нас все по-старому. На пречистую сгорел у нас Николай Иванов с большой дороги. Беспременно не кто, как Матюшка спалил; так и урядник сказал. Милый Лукаша, прошу я тебя, пропиши пояснее, я в вашем письме ничего не понял, потому что плохо писано, никто не может прочитать, и пропиши, кто ее писал и кто писал адрес, нельзя понять, чья это рука писала, но приблизительно вы пишете такую чушь, что не можно и верить такой эрунде. За сим остаюсь любящий отец М. Меркулов, а за него, безграмотного, расписался Ананий Климов».

— Ах, беда, беда, — шепчет Меркулов и при этом качает головой и горестно прищелкивает языком. Думает он о том, что еще два года с лишком осталось ему «сполнять долг отечества», о том, как трудно и тяжело жить на чужой стороне, думает и о своей жене Татьяне Ивановне. «Бабочка она молодая, веселая, балованная. Тоже, поди, нелегко жить четыре-то года без мужа, в чужой семье... Солдатка... Известно, какие они, солдатки-то эти самые... Вот поручик Забиякин всегда смеются... «Ты женатый?» — спросит. «Точно так, вашбродь, женатый». — «Ну, так погоди, погоди, говорит, воротишься со службы — в доме новые работники прибудут». Гм!.. Хорошо ему смеяться. Толстый да гладкий... Встал утречком — чайку с булочкой напился... денщик ему сапожки чистые подал. Вышел на ученье — знай себе папиросочки попаливает. А ты вот сиди целую ночь... Эх, беда, беда, беда-а-а, — шепчет Меркулов, оканчивая последнее слово длинным, глубоким зевком, от которого у него даже слезы выступают на глазах.

Никогда еще Меркулов не чувствовал себя таким покинутым, затерянным, жалким... Хочется ему поговорить с каким-нибудь добрым и молчаливым человеком, объяснить ему жалостными словами все свои горести и заботы, и чтобы этот добрый и молчаливый человек слушал внимательно, все бы понимал и всему сочувствовал... Да где ж его найдешь, этого человека? Каждому до себя, до своей заботушки. «Горько, братец мой», — думает, покачивая головой, Меркулов и вслед

за тем произносит вслух, протяжным, певучим голосом: «О-ох и го-о-орько...»

И вот понемножку, вполголоса, Меркулов начинает напевать. Сначала в его песне почти нет слов. Выходит что-то заунывное, печальное и бестолковое, но размягчающее и приятно шевелящее душу: «Э-э-а-ах ты-ы, да э-э-ох го-о-орько-о...» Потом начинают подбираться и слова — все такие хорошие, трогательные слова:

О-ох, да ты моя матушка,
Э-ох, да моя родименька-я-а...

Тут Меркулов окончательно проникается глубокой жалостью к бедному, забытому солдату Луке Меркулову. Кормят его впроголодь, наряжают не в очередь дневалить, взводный его ругает, отделенный ругает, — иной раз и кулаком ткнет в зубы, — ученье тяжелое, трудное... Долго ли заболеть, руку ли, ногу сломать, от глазной болезни ослепнуть, — вон у половины роты глаза гноятся? А то, может, и умереть на чужой стороне придется... Что-то горестное подступает Меркулову к самой глотке, что-то начинает слегка пощипывать ему веки, а в груди под ложечкой он ощущает прилив искусственной, замирающей, томной, сладковатой тоски. И еще больше трогают его печальные слова импровизированной песни, еще нежнее и прекраснее кажется ему свой собственный мотив:

Ох ты, моя мамынька,
Положи ж ты мине во гро-оп,
Положи во сосновый да во гроп,
Во сосновый гроп, да во осиновый...

Воздух в казарме сгустился и стал невыносимо тяжел. Точно в бане, сквозь завесу пара, слабыми, расплывчатыми пятнами светят ночники, у которых стекла почернели сверху от копоти. Меркулов сидит, сгорбившись, переплетя ноги за табуретную перекладину и глубоко вдвинув руки в рукава шинели. Тесно, жарко и неловко ему в шинели, — воротник трет затылок, крючки давят горло, и спать ему хочется страшно. Веки у него точно распухли и зудят, в ушах стоит какой-то глухой, непрерывный шум, а где-то внутри, не то в

груди, не то в животе, все не проходит тягучая, приторная физическая истома. Меркулов не хочет поддаваться сну, но временами что-то мягкое и властное приятно сжимает его голову; тогда веки вдруг задрожат и сомкнутся с усталой резью, приторная истома сразу пропадает, и уже нет больше ни казармы, ни длинной ночи, и на несколько секунд Меркулову легко и покойно до блаженства. Он сам не замечает в это время, что голова его короткими, внезапными толчками падает все ниже и ниже, и вдруг... сильно качнувшись всем телом вперед, он с испугом открывает глаза, выпрямляется, встряхивает головой, и опять вступает ему в грудь приторная, сосущая истома бессонья.

А память Меркулова в эти короткие секунды неожиданной полудремоты все не может оторваться от деревни, и приятно ему и занимательно, что о чём бы он ни вспомнил, так сейчас же это и видит перед глазами, — так ярко, отчетливо и красиво видит, как никогда не увидишь наяву. Вот его старый белый, весь усеянный «гречкой» мерин. Стоит он на зеленом выгоне со своими согнутыми передними ногами, с торчащими костяшками на крестце, с выступающими резко на боках ребрами. Голова его уныло и неподвижно опущена вниз, дряблая нижняя губа, с редкими, прямыми и длинными волосами, отвисла, глаза, цвета линялой бирюзы, с белыми ресницами, смотрят тупо и удивленно.

А тут, сейчас же за выгоном, идет проезжая широкая дорога. И кажется Меркулову, что теперь — теплый вечер ранней весны и что вся дорога, черная от грязи, изборождена следами копыт, а в глубоких колеях стоит вода, розовая и янтарная от вечерней зари. Пересекая дорогу, вьется из-под бревенчатого мостка узкая речонка, точно сжатая в невысоких, но крутых изумрудно-зеленых берегах, гладкая, как зеркало, и уже чуть-чуть подернутая вдали легким туманом. Верно и резко отразились в ней вниз верхушками прибрежные, круглые, покрытые желто-зеленым пухом ветлы и самые берега, которые кажутся в воде еще свежей, еще изумруднее. А вот вдалеке на ясном небе стройно и четко рисуется колокольня церкви, деревянная, белая, с

розовыми продольными полосами и с крутой зеленой крышей. Сейчас же рядом с церковью и меркуловский огород; вон даже видно покривившееся набок и точно падающее вперед чучело в старом отцовском картузе, с растопыренными рукавами, отрепанными на концах, навсегда застывшее в решительной и напряженной позе.

И кажется Меркулову, что он сам едет по этой черной, грязной дороге, возвращаясь с пашни. Он боком сидит на белом мерине, мотая спущенными вниз ногами и ерзая при каждом шаге лошади взад и вперед на ее хребте. Ноги лошади звучно чмокают, вылезая из грязи. Легкий ветерок чуть задевает лицо Меркулова, принося с собой глубокий, свежий аромат земли, еще не высохшей после снега; и хорошо, радостно на душе у Меркулова. Устал он, выбился из сил, взодрав за нынешний день чуть ли не целую десятину земли; ноет у него все тело, ломит руки, трудно разгибать и сгибать спину, а он, небрежно болтая ногами, знай заливается во всю грудь:

Вы, сады-ы ль, мои са-ды!

Ах, как хорошо ему будет сейчас, когда он уляжется в прохладной риге, на соломе, вытянув и свободно разбросав натруженные руки и ноги!..

Голова Меркулова опять падает вниз, чуть не касаясь колен, и опять Меркулов просыпается с приторным, томящим ощущением в груди. «Никак я вздремал? — шепчет он в удивлении. — Вот так штука!» Ему страшно жаль только что виденной черной весенней дороги, запаха свежей земли и нарядного отражения прибрежных ветел в гладком зеркале речки. Но он боится спать и, чтобы ободриться, опять начинает ходить по казарме. Ноги его замлели от долгого сидения, и при первых шагах он совсем не чувствует их.

Проходя мимо часов, Меркулов смотрит на циферблат. Большая стрелка уперлась прямо вверх, а маленькая отошла от нее чуть-чуть вправо. «После полуночи», — соображает Меркулов. Он сильно зевает, быстрым движением несколько раз кряду крестит рот и бормочет что-то вроде молитвы: «Господи... царица

небесная... еще небось часа два с половиной осталось... святые угодники... Петра, Алексея, Ионы, Филиппа... добропоживших отцов и братий наших...»

Керосин догорает в ночниках, и в казарме становится совсем темно. Позы у спящих мучительно напряженные, неестественные. Должно быть, у всех на жестких сенниках обомлели руки и затекли головы. Отовсюду, со всех сторон, раздаются жалобные стоны, глубокие вздохи, нездоровый, захлебывающийся храп. Что-то зловещее, удручающее, таинственное слышится в этих нечеловеческих звуках, идущих среди печального мрака из-под серых, однообразных ворохов...

— На двор выттить, что ль? — говорит Меркулов самому себе вслух и медленно идет к дверям.

На дворе — густая темень и льет не переставая мелкий, частый дождь. На другом конце двора едва обрисовывается ряд слабо освещенных окон: это казармы шестой и седьмой рот. Дождик глухо барабанит по крыше, стучит в оконные стекла, стучит по меркуловской фуражке. Где-то вблизи вода бежит со звоном и торопливым журчанием из желоба и потом плещется по каким-то камням. Сквозь этот шум Меркулову слышатся порою странные звуки! Точно кто-то идет к нему вдоль казарменной стены, часто и тяжело шлепая по лужам ногами. Меркулов оборачивается в эту сторону и напрягает зрение. Шлепанье тотчас же прекращается. Но едва Меркулов отвернется, как опять начинают шлепать по воде грузные, спешные шаги. «Мерещится!» — решает Меркулов и подымает кверху голову, подставляя лицо под частые капли... На небе нет ни одной звезды...

Вдруг рядом, в казарме пятой роты, быстро раскрывается наружу входная дверь, и дверной блок пронзительно взвизгивает на весь двор. На секунду в слабом свете распахнутой двери мелькает фигура солдата в шинели и в шапке. Но дверь тотчас же захлопнулась, увлекаемая снова взвизгнувшим блоком, и в темноте нельзя даже определить ее места. Вышедший из казармы солдат стоит на крыльце; слышно, как он крякает от свежего воздуха и сильно потирает руками одна о другую.

«Тоже дневальный, должно быть», — думает Меркулов, и его страстно тянет подойти к этому бодрствующему, *живому* человеку, посмотреть на его лицо или хоть послушать его голос.

— Эй, землячок! — окликает Меркулов невидимого в темноте солдата. — А нет ли у вас, землячок, спички?

— Кажись, должны быть, — отвечает с крыльца глухой и сиплый голос. — Постой... я сейчас...

И Меркулов слышит, как солдат долго охлопывает себя по карманам и как, наконец, тарахтят в коробке найденные спички.

Оба солдата сходятся на середине между обеими казармами, у колодца, отыскивая друг друга по звуку сапог, шлепающих по мокрой, скользкой глине.

— Вот вам спички, — говорит солдат, и так как Меркулов не может сразу найти его протянутой руки, то он слегка погромыхивает коробкой.

Но Меркулову спички вовсе не нужны, — он не курит, ему только хотелось хоть минуту побыть около живого человека, не охваченного этой странной, сверхъестественной силой сна.

— Спасибо вам, — говорит Меркулов, — мне только парочку. У меня в казарме есть коробка, да вот спички-то, признаться, вышли.

Оба солдата заходят под высокий навес, устроенный над колодцем. Меркулов для чего-то трогает огромное деревянное колесо, приводящее в движение вал. Колесо жалобно скрипит и делает мягкий размах. Солдаты облокачиваются на верхний сруб колодца и, свесив вниз головы, пристально глядят в зияющую темноту.

— Спать хочется, братец мой, — страсть! — говорит Меркулов и громко зевает.

Зевает тотчас же и другой солдат. Их голоса и зевки глухо, раскатисто и усиленно отдаются в пустоте глубокого колодца.

— Час, должно, первый в начале? — спрашивает нехотя, вялым голосом солдат пятой роты. — Вы с какого года?

По изменившемуся звуку голоса Меркулов догадывается, что солдат повернулся к нему лицом. Повер-

тывается и Меркулов, но в темноте не видит даже фигуры своего собеседника.

— Я с девяностого. А вы?

— И я с девяностого. Вы — тоже орлоцкие?

— Мы — кромские, — отвечает Меркулов. — Наша деревня Мокрые Верхи прозывается. Может, слышали?

— Не... Мы дальние... мы из-под самого Ельца. И скука же, братец ты мой! — Последние слова он произносит вместе с зевком, глухим, нутряным голосом и неразборчиво, так что у него выходит: «ы гугу ы аатец ты мой!»

Оба они замолкают на некоторое время. Солдат из Ельца плюет сквозь зубы прямо в колодец. Проходит около десяти секунд, в течение которых Меркулов с любопытством прислушивается, наклонив голову набок. Вдруг из темноты доносится необычно чистый и ясный — точно удар двух гладких камней друг о друга — звук шлепка.

— И глыбоко же тута! — говорит солдат из Ельца и опять плюет в колодец.

— Грех в воду плевать. Не годится это, — поучительно замечает Меркулов и тотчас же сам плюет в свою очередь.

Обоих солдат чрезвычайно занимает то, что между плевком и звуком, раздающимся потом из колодца, проходит так много времени.

— А что, ежели туда сигануть? — вдруг спрашивает солдат из Ельца. — Небось, покамест долетишь, так об стенки головой изобьешься?

— Как не избиться... Изобьешься, — уверенно отзывается Меркулов. — В лучшем виде изобьешься.

— Бяда! — говорит другой солдат, и Меркулов догадывается, что он качает головой.

Опять наступает долгое молчание, и опять солдаты плюют в колодец. Вдруг Меркулов оживляется:

— Вот штука-то была, братец мой! Сижу я сейчас в казарме и того... задремал, должно быть, немножко... И какой мне это... чудной сон приснился.

Ему хочется рассказать свой сон со всей прелестью мелких поэтических подробностей, с чарующим ароматом родной земли и далекой, привычной, любимой

жизни. Но у него выходит что-то слишком простое, бледное и неинтересное.

— Вижу я, будто бы я, значит, у себя в деревне. И как будто бы вечер... И все мне скрозь видно... то есть так видно, так видно, точно и не во сне...

— Н-на... это бывает, — равнодушно и небрежно вставляет другой солдат, почесывая щеку.

— А я сам как будто бы еду верхом на лошади... на мерине... Есть у нас такой мерин белый, годов двадцать ему небось будет... Может, уж поколел теперь...

— Лошадь видеть — это означает ложь... Омманет тебя кто-нибудь, — замечает солдат.

— А я будто бы еду на мерине, и все мне скрозь видно... Ну вот просто как наяву... То есть такой это чудный сон мне приставился...

— Н-на... разные сны бывают, — лениво вставляет солдат. — Одначе прощенья просим, — говорит он, подымаясь со сруба. — У нас фитьфебель, черт, по ночам шляется. До свиданья вам.

— До свиданьичка... Ночь-то, ночь какая... ах ты, господи боже мой... зги не видно.

Со свежего воздуха казарменная атмосфера в первые минуты кажется просто невыносимой. Воздух весь пропитан тяжелыми человеческими испарениями, едким дымом махорки, кислой затхлостью шинельного сукна и густым запахом невыпеченного хлеба. Люди спят неспокойно, мечутся, стонут и так храпят, как будто бы им каждый вздох стоит громадных усилий. Когда Меркулов проходит третьим взводом, какой-то солдат быстро вскакивает и садится на нарах. Он несколько секунд дико озирается вокруг, точно в недоумении, и долго чавкает губами. Потом он начинает яростно скрести пятерней: сначала голову, затем грудь, и вдруг, точно подкошенный сном, мгновенно падает на бок. Другой деревянным и хриплым голосом быстро бормочет длинную фразу. Меркулов прислушивается с суеверным страхом и разбирает отдельные слова: «Не обрывай!.. Завяжи узлом!.. Узлом завяжи, говорят тебе!..» В бреде, раздающемся среди ночи, всегда есть что-то ужасное для Меркулова. Ему кажется, что эти отрывочные, внезапные слова произносит не человек,

а кто-то другой, *незримый,* вселившийся в его душу и овладевший ею.

Часы по-прежнему тикают неровно, точно задерживая второй удар, но стрелки их, по-видимому, остались все в том же положении. В голове Меркулова вдруг проносится дикое, нелепое, фантастическое предположение, что, может быть, время совсем остановилось и что целые месяцы, целые года — вечно будет длиться эта ночь; будут так же тяжело дышать и бредить спящие, так же тускло будут светить умирающие ночники, так же равнодушно и медлительно стучать маятник. Это темное, быстрое, непонятное самому Меркулову ощущение переполняет его душу злобой и тоской. И он грозит в пространство крепко сжатым кулаком и шепчет, не раскрывая стиснутых челюстей:

— У-у, дьяволы!.. Погодите ужо-тко!

Он опять садится на то же самое место, между печкой и ружейной пирамидкой, и почти тотчас же мягко и нежно сжимает его виски дремота. «О чем? О чем я теперь? — спрашивает себя шепотом Меркулов, зная, что теперь в его власти вызвать перед глазами что-то очень приятное и знакомое. — Ах, да! Деревня... речка... А ну-ка, ну-ка... Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя...»

И снова змеится в зеленой свежей траве речка, то скрываясь за бархатными холмами, то опять блестя своей зеркальной грудью, снова тянется широкая, черная, изрытая дорога, благоухает талая земля, розовеет вода в полях, ветер с ласковой, теплой улыбкой обвевает лицо, и снова Меркулов покачивается мерно взад и вперед на остром лошадином хребте, между тем как сзади тащится по дороге соха, перевернутая сошником вверх.

Вы, сады-ы ль, мои са-ды! —

громко, во всю мочь голоса поет Меркулов и с удовольствием думает о том, как сладко ему будет сейчас вытянуться усталым телом на высоко взбитой охапке соломы. По обеим сторонам дороги идут вспаханные поля, и по ним ходят, степенно переваливаясь с боку на бок, черно-сизые, блестящие грачи. Лягушки в

болотцах и лужах кричат дружным, звенящим, оглушительным хором. Тонко пахнет цветущая верба.

Ах, и вы, сады-ы ль, мои са-ды!..

Одно только кажется Меркулову странным: как-то неровно идет сегодня белый мерин. Так и шатает его из стороны в сторону... Ишь как качнуло. Насилу удержался Меркулов, чтобы не полететь с лошади вперед головой. Нет, надо усесться верхом как следует. Пробует Меркулов перебросить правую ногу на другую сторону, но нога не шевелится, отяжелела — точно к ней кто привязал страшную тяжесть. А лошадь так и ходит, так и шатается под ним. «Но, ты, че-ерт! Засну-ул?..»

Меркулов стремглав падает с лошадиной спины, с размаху ударяется лицом об землю и... открывает глаза.

— Черт! Заснул! — кричит над Меркуловым чей-то голос.

Меркулов вскакивает с табуретки и растерянно нащупывает на голове фуражку. Перед ним стоит со взлохмаченной головой, в одном нижнем белье, фельдфебель Тарас Гаврилович. Это он разбудил сейчас Меркулова, ткнув его кулаком в щеку.

— Заснул! — повторяет грозно фельдфебель. — Ах, ты!.. Спать на дневальстве? Я т-тебе покажу, как спать!..

Меркулов отшатывается назад от быстрого удара по скуле, встряхивает головой и хрипло бормочет:

— Намаялся, господин фитьфебель...

— А-а! Намаялся? Так вот, чтобы ты не маялся, будешь еще два раза не в очередь дневалить. Когда сменяешься?

— В два, господин фитьфебель.

— Ах, мерзавец... Ты и смену-то свою проспал! Ну!.. Живо, буди очередного... Марш!..

Фельдфебель уходит. Меркулов бегом бросается к той наре, где спит очередной дневальный — старый солдат Рябошапка. «Спать, спать, спать, спать, — кричит в душе Меркулова какой-то радостный, ликующий голос. — Два лишних дневальства? Это пустяки, это потом, а теперь спать, спать!..»

— Дядька Рябошапка, а дядька Рябошапка, — пугающим шепотом вскрикивает Меркулов, теребя за ногу спящего солдата.

— Мрмр... брайсь...

— Дядька Рябошапка, вставайте... Смена...

— Поди ссе...

Бессонница так измучила Меркулова, что у него больше не хватает терпения будить Рябошапку. Он бежит к своему месту на нарах, торопливо раздевается и протискивается между двумя соседями, которые тотчас же грузно, безжизненно наваливаются на него боками.

На секунду встает в воображении Меркулова колодец, густая темнота ночи, мелкий дождик, журчанье воды, бегущей из желоба, и шлепанье по грязи чьих-то невидимых ног. О! Как там теперь холодно, неприятно и жутко... Все тело, все существо Меркулова проникается блаженной животной радостью. Он крепко прижимает локти к телу, съеживается, уходит поглубже головой в подушку и шепчет самому себе:

— Ну, а теперь... поскорее — дорогу... дорогу...

Снова перед его глазами отчетливо и красиво извивается черная изрытая дорога, снова смотрится в зеркало реки нежная зелень ветел... И внезапно Меркулов летит со страшной, но приятной быстротой в какую-то глубокую, мягкую мглу...

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

Раннее весеннее утро — прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами.

Резко нарушая прелесть этого степного утра, гудит на Гололобовской шахте обычный шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, с надсадою, точно

жалуясь и сердясь. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается с новой, неожиданной силой.

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна эта шахта со своими черными заборами и торчащей над ними безобразной вышкой напоминает о человеке и человеческом труде. Длинные красные закопченные сверху трубы изрыгают, не останавливаясь ни на секунду, клубы черного, грязного дыма. Еще издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, и протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки принимают какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, улыбающегося утра.

Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупных кусков блестящего каменного угля. Совершенно черные, пропитанные углем, не мытые по целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги — все это перемешалось в пестрой, суетливой, галдящей массе. В воздухе так и висит изысканно-безобразная бесцельная ругань вперемежку с хриплым смехом и удушливым, судорожным, запойным кашлем.

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую деревянную дверь, над которой прибита белая дощечка с надписью: «Ламповая». Ламповая битком набита рабочими. Десять человек, сидя за длинным столом, беспрерывно наполняют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в предохранительные проволочные футляры. Когда лампочки совсем готовы, ламповщик вдевает в ушки, соединяющие верх футляра с дном, кусочек свинца и расплющивает его одним нажимом массивных щипцов. Таким образом достигается то, что шахтер до самого выхода обратно из-под земли никак не может открыть лампочки, а если даже случайно и разобьется стекло, то проволочная сетка делает огонь совершенно безопасным. Эти предосторож-

ности необходимы, потому что в глубине каменноугольных шахт скопляется особый горючий газ, который от огня мгновенно взрывается; бывали случаи, что от неосторожного обращения с огнем на шахтах погибали сотни человек.

Получив лампочку, шахтер проходит в другую комнату, где старший табельщик отмечает его фамилию в дневной ведомости, а двое подручных тщательно осматривают его карманы, одежду и обувь, чтобы узнать, не несет ли он с собою папирос, спичек или огнива.

Убедившись, что запрещенных вещей нет, или просто не найдя их, табельщик коротко кивает головой и бросает отрывисто: «Проходи».

Тогда через следующую дверь шахтер выходит на широкую, длинную крытую галерею, расположенную над «главным стволом».

В галерее идет кипучая суета смены. В квадратном отверстии, ведущем в глубь шахты, ходят на цепи, перекинутой высоко над крышей через блок, две железных платформы. В то время когда одна из них подымается, — другая опускается на сотню сажен. Платформа точно чудом выскакивает из-под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только что вырванным из недр земли углем. В один миг рабочие стаскивают вагонетки с платформы, ставят их на рельсы и бегом влекут их на шахтенный двор. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми. В машинное отделение дается условный знак электрическим звонком, платформа содрогается и внезапно с страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается под землю. Проходит минута, другая, в продолжение которых ничего не слышно, кроме пыхтенья машины и лязганья бегущей цепи, и другая платформа, — но уже не с углем, а битком набитая мокрыми, черными и дрожащими от холода людьми, — вылетает из-под земли, точно выброшенная наверх какой-то таинственной, невидимой и страшной силой. И эта смена людей и угля продолжается быстро, точно, однообразно, как ход огромной машины.

Васька Ломакин, или, как его прозвали шахтеры, вообще любящие хлесткие прозвища, Васька Кирпа-

тый [1], стоит над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, пристально смотрит вниз. Васька — двенадцатилетний мальчик с совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые глаза, и со смешно вздернутым носом. Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но люди его партии еще не собрались, и он дожидается их.

Васька всего полгода как пришел из далекой деревни. Безобразный разгул и разнузданность шахтерской жизни еще не коснулись его чистой души. Он не курит, не пьет и не сквернословит, как его однолетки-рабочие, которые все поголовно напиваются по воскресеньям до бесчувствия, играют на деньги в карты и не выпускают папиросы изо рта. Кроме «Кирпатого», у него есть еще кличка «Мамкин», данная ему за то, что, поступая на службу, на вопрос штейгера: «Ты, поросенок, чей будешь?», он наивно ответил: «А мамкин!», что вызвало взрыв громового хохота и бешеный поток восхищенной ругани всей смены.

Васька до сих пор не может привыкнуть к угольной работе и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и сложность шахтенного дела подавляет его бедный впечатлениями ум, и, хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представляется ему каким-то сверхъестественным миром, обиталищем мрачных, чудовищных сил. Самое таинственное существо в этом мире — бесспорно машинист.

Вот он сидит в своей кожаной засаленной куртке, с сигарой в зубах и с золотыми очками на носу, бородатый и насупленный. Ваське он отлично виден сквозь стеклянную перегородку, отделяющую машинную часть. Что это за человек? Да полно: и человек ли он еще? Вот он, не сходя с места и не выпуская изо рта сигары, тронул какую-то пуговку, и вмиг заходила огромная машина, до сих пор неподвижная и спокойная, загремели цепи, с грохотом полетела вниз платформа, затряслось все деревянное строение шахты. Удивительно!.. А он сидит себе как ни в чем не бывало

---

[1] Курносый. *(Прим. автора.)*

и покуривает. Потом он надавил еще какую-то шишечку, потянул за какую-то стальную палку, и в секунду все остановилось, присмирело, затихло... «Может быть, он слово такое знает?» — не без страха думает, глядя на него, Васька.

Другой — загадочный и притом облеченный необыкновенной властью человек — старший штейгер Павел Никифорович. Он полный хозяин в темном, сыром и страшном подземном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мелькают красные точки отдаленных фонарей. По его приказаниям ведутся новые галереи и делаются забои.

Павел Никифорович очень красив, но неразговорчив и мрачен, как будто общение с подземными силами наложило на него особую, загадочную печать. Его физическая сила стала легендой среди шахтеров, и даже такие «фартовые» хлопцы, как Бухало и Ванька Грек, дающие тон буйному направлению умов, отзываются о старшем штейгере с оттенком почтения.

Но неизмеримо выше Павла Никифоровича и машиниста стоит во мнении Васьки директор шахты — француз Карл Францевич. У Васьки нет даже сравнений, которыми он мог бы определить размеры могущества этого сверхчеловека. Он может сделать все, решительно все на свете, что ему только ни захочется. От мановения его руки, от одного его взгляда зависит жизнь и смерть всех этих табельщиков, десятников, шахтеров, нагрузчиков и подвозчиков, которые тысячами кормятся около завода. Всюду, где только показывается его высокая прямая фигура и бледное лицо с черными блестящими усами, тотчас же чувствуется общее напряжение и растерянность. Когда он говорит с человеком, то смотрит ему прямо в глаза своими холодными большими глазами, но смотрит так, как будто разглядывает сквозь этого человека что-то такое, видимое ему одному. Раньше Васька не мог себе представить, что существуют на свете люди, подобные Карлу Францевичу. От него даже и пахнет как-то особенно, какими-то удивительными сладкими цветами. Этот запах Васька уловил однажды, когда директор прошел мимо него в двух шагах, конечно, даже не за-

метив крошечного мальчугана, который стоял без шапки, с раскрытым ртом, провожая испуганными глазами проносящееся земное божество.

— Эй ты, Кирпатый, полезай, что ли! — услышал Васька над своим ухом грубый оклик.

Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась та партия, при которой он состоял подручным. Собственно, ближайших начальников у него было двое: дядя Хрящ и Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в общей казарме, с ними же постоянно работал в шахте и при них же нес в свободное время многочисленные домашние обязанности, в круг которых входило главным образом беганье в ближайший кабак «Свидание друзей» за водкой и огурцами. Дядя Хрящ принадлежал к числу старых шахтеров, измотавшихся и обезличившихся на долгой непосильной работе. У него не было разницы между добрым и злым делом, между буйной выходкой и трусливым пряταньем за чужую спину. Он рабски шел за большинством, бессознательно прислушивался к сильным и давил слабого, и в шахтерской среде он не пользовался, несмотря на свои преклонные лета, ни уважением, ни влиянием. Ванька Грек, наоборот, до известной степени руководил общественным мнением и сильными страстями всей казармы, где самыми вескими аргументами служили занозистое слово и крепкий кулак, в особенности если он был вооружен тяжелым и острым кайлом [1].

В этом мире бурных, пылких, отчаянных натур каждое взаимное столкновение принимало преувеличенно острый характер. Казарма напоминала собой огромную клетку, битком набитую хищным зверьем, где растеряться, оказать минутную нерешительность — равнялось погибели. Обыкновенный деловой разговор, товарищеская шутка переходили в страшный взрыв ненависти. Только что мирно беседовавшие люди бешено вскакивали с места, лица бледнели, руки судорожно стискивали рукоятку ножа или молота, из дрожащих

[1] Кайло (хайло) — инструмент для выбивания угля из породы. (*Прим. автора.*)

опененных губ вылетали вместе с брызгами слюны ужасные ругательства... В первые дни своей шахтерской жизни, присутствуя при таких сценах, Васька весь обомлевал от испуга, чувствуя, как у него холодеет в груди и как его руки становятся слабыми и влажными.

Если в такой зверской среде Ванька Грек пользовался некоторым, сравнительным уважением, то это до известной степени говорит об его нравственных качествах. Он был в состоянии работать по целым неделям, не отрываясь от дела, с каким-то озлобленным упорством, для того чтобы спустить в одну ночь все заработанные этим нечеловеческим трудом деньги. Трезвый, он был несообщителен и молчалив; а будучи пьяным, нанимал музыканта, вел его в трактир и заставлял играть, а сам сидел против него, пил водку стаканами и плакал. Потом неожиданно вскакивал с перекосившимся лицом и налитыми кровью глазами и начинал «разносить». Что или кого разносить — ему было все равно; просила исхода порабощенная долгим трудом натура... Начинались безобразные, кровавые драки во всех концах завода и продолжались до тех пор, пока мертвый сон не валил с ног этого необузданного человека.

Но — как это ни странно — Ванька Грек оказывал Кирпатому нечто похожее на заботу или, вернее, внимание. Конечно, это внимание выражалось в суровой и грубой форме и сопровождалось скверными словами, без которых не обходится шахтер даже в самые лучшие свои минуты, однако несомненно это внимание существовало. Так, например, Ванька Грек устроил мальчугана в самом лучшем месте на нарах, ногами к печке, несмотря на протест дяди Хряща, которому это место раньше принадлежало. В другой раз, когда загулявший шахтер хотел силой отнять у Васьки полтинник, Грек отстоял Васькины интересы. «Оставь мальчишку», — спокойно сказал он, слегка приподымаясь на нарах. И эти слова были сопровождены таким красноречивым взглядом, что шахтер разразился потоком отборной ругани, но тем не менее отошел в сторону.

На платформу вместе с Васькой взошло еще пять человек. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувствовал во всем теле необычайную легкость, точно у него за спиною выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела платформа вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом сразу наступил глубокий мрак. Лампочки еле мерцали в руках молчаливых бородатых шахтеров, вздрагивая при неровных толчках падающей платформы. Затем Васька внезапно почувствовал себя летящим не вниз, а вверх. Этот странный физический обман всегда испытывается непривычными людьми в то время, когда платформа достигает середины ствола, но Васька долго не мог отделаться от этого ложного ощущения, всегда вызывавшего у него легкое головокружение.

Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на грунте. Сверху водопадом падали вниз стекавшиеся к главному стволу подземные источники, и шахтеры быстро сбегали с платформы, чтобы избегнуть этого проливного дождя.

Люди в клеенчатых плащах, с капюшонами на головах, вкатывали на платформу полные вагонетки. Дядя Хрящ кинул кому-то из них: «Здорово, Тереха», но тот не удостоил его ответом, и партия разбрелась в разные стороны.

Каждый раз, очутившись под землей, Васька чувствовал, как им овладевает какая-то молчаливая, гнетущая тоска. Эти длинные черные галереи казались ему бесконечными. Изредка мелькал где-то далеко жалкой бледно-красной точечкой огонек лампы и пропадал внезапно, и опять показывался. Шаги звучали глухо и странно. Воздух был неприятно сыр, душен и холоден. Иногда за боковыми стенами слышалось журчанье бегущей воды, и в этих слабых звуках Васька ловил какие-то зловещие, угрожающие ноты.

Васька шел следом за дядей Хрящом и Греком. Их лампочки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покрытые плесенью бревенчатые стены галереи тусклые желтые пятна, в которых причудливо метались взад-вперед, то пропадая, то вытягиваясь до потолка,

три уродливые неясные тени. Невольно все кровавые и таинственные предания шахты всплыли в памяти Васьки.

Вот здесь засыпало обвалом четырех человек. Трех из них нашли мертвыми, а труп четвертого так и не отыскался; говорят, что его дух ходит иногда по галерее № 5-й и жалобно плачет... Там в третьем году один шахтер размозжил кайлом голову своему товарищу, который отказал ему в глотке водки, пронесенной под землю контрабандным путем. Рассказывали также об одном старом рабочем, который много лет тому назад заблудился в галереях, знакомых ему, как свои пять пальцев. Его нашли только через три дня, обессилевшим от голода и сошедшим с ума. Говорили, что «кто-то» водил его по шахте. Этот «кто-то», — страшный, безыменный и безличный, как и породивший его подземный мрак, — несомненно существует в глубине шахт, но о нем никогда не станет говорить ни один настоящий шахтер — ни в трезвом, ни в пьяном виде. И каждый раз, когда Васька, идя следом за своей партией, думает «о нем», он чувствует на своем теле чье-то тихое, холодное дыханье, кидающее его в дрожь.

— Ну что, Ванька, хорошо погулял? — искательно спросил дядя Хрящ, оборачиваясь на ходу в сторону Грека.

Грек не ответил и только презрительно сплюнул сквозь зубы. Накануне он целых пять дней не приходил на работу, угарно и безобразно пропивая свое двухмесячное жалованье. За все это время он почти совсем не спал, и теперь его нервы были возбуждены до крайней степени.

— Н-да, братец мой, хорошо, нечего сказать, — не унимался дядя Хрящ. — Как это ты десятника-то облаял? Очень прекрасно...

— Не зуди, — коротко отрезал Грек.

— Чего зудить, я не зужу, — отозвался дядя Хрящ, которому всего обиднее было то обстоятельство, что ему не удалось принять участия во вчерашнем разгуле. — А только, братец ты мой, тебе теперь конторы не миновать. Позовут тебя, друга милого, к расчету. Уж это как пить дать...

— Отстань!

— Чего там отстань. Это, голубчик, не то что в трактире бильярды выворачивать. Сергей Трифоныч так и сказал: пускай, говорит, он теперь у меня хорошенько попросится. Пускай...

— Замолчи, собака! — вдруг резко обернулся к старику Грек, и его глаза злобно сверкнули в темноте галереи.

— Мне что ж! Я ничего, я молчу, — замялся дядя Хрящ.

До места работы было почти полторы версты. Свернув с главной магистрали, партия еще долго шла узкими коленчатыми галерейками. Кое-где нужно было нагибаться, чтобы не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой делался сырее и удушливее.

Наконец они дошли до своей лавы.

В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать ни стоя, ни сидя; приходилось отбивать уголь, лежа на спине, что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского искусства. Дядя Хрящ и Грек медленно и молча разделись, оставшись нагими до пояса, зацепили свои лампочки за выступы стенок и легли рядом. Грек чувствовал себя совсем нехорошо. Три бессонные ночи и продолжительное отравление скверной водкой мучительно давали себя знать. Во всем теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его палкой, руки слушались с трудом, голова была так тяжела, как будто ее набили каменным углем. Однако Грек ни за что бы не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое болезненное состояние.

Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами вбивал он кайло в хрупкий, звенящий уголь. Временами он как будто бы забывался. Все исчезало из его глаз: и низкая лава, и тусклый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпáл мгновениями, в голове однообразно, до тошноты надоедливо, звучали мотивы вчерашней шарманки, но руки сильными и ловкими движениями продолжали привычную работу. Отбивая над своей головой пласт за пластом, Грек почти бессознательно передви-

гался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой слабосильного товарища.

Мелкий уголь брызгами летел из-под его кайла, осыпая его вспотевшее лицо. Выворотив большой кусок, Грек только на минуту задерживался, чтобы оттолкнуть его ногой, и опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел уже два раза наполнить тачку и отвезти ее на главную магистраль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боковых галереях. Когда он возвращался во второй раз порожняком, его еще издали поразили какие-то странные звуки, раздававшиеся из отверстия лавы. Кто-то стонал и хрипел, как будто бы его душили за горло. Сначала у Васьки мелькнула в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в испуге, но его окликнул взволнованный голос дяди Хряща:

— Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорее.

Ванька Грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо его посинело, на тесно сжатых губах выступила пена, веки были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни громадные вращающиеся белки.

Дядя Хрящ совсем растерялся, он то и дело трогал Грека за холодную, трепещущую руку и приговаривал просительным голосом:

— Да, Ванька... да перестань же... ну, будет же, будет...

Это был страшный приступ падучей. Неведомая ужасная сила подбрасывала все тело Грека, искривляя его в безобразных, судорожных позах.

Он то изгибался дугой, опираясь только пятками и затылком о землю, то тяжело падал вниз телом, корчился, касаясь коленами подбородка, и вытягивался, как палка, дрожа каждым мускулом.

— Ах, господи, вот история, — бормотал испуганно дядя Хрящ. — Ванька, да перестань же... послушай... Ах ты, боже мой, как это его вдруг?.. Постой-ка, Кирпатый, — вдруг спохватился он, — ты останься постеречь его здесь, а я побегу за людьми.

— Дяденька, а как же я-то? — жалобно протянул Васька.

— Ну, поговори у меня еще! Сказано — сиди, и дело с концом, — грозно прикрикнул дядя Хрящ.

Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее в рукава, побежал из галереи.

Васька остался один над бьющимся в припадке Греком. Сколько времени прошло, пока он сидел, прижавшись в угол, объятый суеверным ужасом и боясь пошевельнуться, он не сумел бы сказать. Но понемногу конвульсии, трепавшие тело Грека, становились все реже и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страшные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, Грек вытянулся неподвижно.

Теперь Ваське стало еще жутче. «Господи, да уж не помер ли?» — подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий холод наежил волосы на его голове. Едва переводя дыхание, он подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть заметно.

— Дяденька Грек, а дяденька Грек, — прошептал Васька.

Грек не отзывался.

— Дяденька, вставайте! Позвольте, я вас поведу до больницы. Дяденька!..

Где-то в ближней галерее послышались торопливые шаги. «Ну, слава богу, дядя Хрящ возвращается», — подумал с облегчением Васька.

Однако это был не дядя Хрящ.

Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее высоко поднятой над головой лампой.

— Кто здесь есть? Живо выходи наверх! — крикнул он взволнованно и повелительно.

— Дяденька, — бросился к нему Васька, — дяденька, здесь с Греком что-то такое случилось!.. Лежит и не говорит ничего.

Шахтер приблизил свое лицо вплотную к лицу Грека. Но от него только пахнуло острой струей винного перегара.

— Эк его угораздило, — махнул головой шахтер. — Эй, Ванька Грек, вставай! — крикнул он, раскачивая руку больного. — Вставай, что ли, говорят тебе. В третьем номере обвал случился. Слышишь, Ванька!..

Грек промычал что-то непонятное, но не открыл глаз.

— Ну, некогда мне с ним, с пьяным, вожжаться! — нетерпеливо воскликнул шахтер. — Буди его, малец. Да поскорее только. Неровен час, и у вас обвалится. Пропадете тогда, как крысы...

Голова его исчезла в темном отверстии лавы. Через несколько секунд затихли и его частые шаги.

Ваське поразительно живо представился весь ужас его положения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его головою миллионы пудов земли. Рухнут и раздавят, как мошку, как пылинку. Захочешь крикнуть — и не сможешь раскрыть рта... Захочешь пошевельнуться — руки и ноги придавлены землей... И потом смерть, страшная, беспощадная, неумолимая смерть...

Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо всех сил трясет его за плечи.

— Дядя Грек, дядя Грек, да проснись же! — кричит он, напрягая все силы.

Его чуткое ухо ловит за стенами — и с правой и с левой стороны — звуки тяжелых, беспорядочно спешных шагов. Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужасом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спящего Грека и самому бежать очертя голову. Но тотчас же какое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останавливает его. Он опять принимается с умоляющим криком теребить Грека за руки, за плечи и за голову.

Но голова послушно качается из стороны в сторону, поднятая рука падает со стуком. В эту минуту взгляд Васьки замечает угольную тачку, и счастливая мысль озаряет его голову. Со страшными усилиями приподнимает он с земли грузное, отяжелевшее, как у мертвеца, тело и взваливает его на тачку, потом перебрасывает через стенки безжизненно висящие ноги и с трудом выкатывает Грека из лавы.

В галереях пусто.

Где-то далеко впереди слышен топот последних запоздавших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, чтобы удержать равновесие. Его худые детские

руки вытянулись и обомлели, в груди не хватает воздуха, в висках стучат какие-то железные молоты, перед глазами быстро-быстро вращаются огненные колеса. Остановиться бы, передохнуть немного, взяться поудобнее измученными руками.

«Нет, не могу!»

Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев.

Слава богу, последний поворот! Вон вдалеке мелькнул красный огонь факелов, освещающих подъемную машину.

Люди толпятся на платформе.

Скорей, скорей!

Еще одно последнее, отчаянное усилие...

Что же такое, господи! Платформа подымается... вот она исчезла совсем.

«Подождите! Остановитесь!»

Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные колеса перед глазами вспыхивают в чудовищное пламя. Все рушится и падает с оглушительным грохотом...

Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чьем-то овчинном зипуне, окруженный целой толпой народа. Какой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор Карл Францевич тоже присутствует здесь. Он ловит первый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут одобрительно:

— Oh, mon brave garçon! О, ти храбрий мальшик!

Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо Грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, связывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.

СЧАСТЛИВАЯ КАРТА

Игра окончилась. Барон фон Оксенбах (или что-то в этом роде: фамилии его никто наверное не знал, но многие уверяли, что он передергивает) общипал всю компанию дочиста. Когда кто-то стал просить его прометать еще одну талию на запись, этот длинный, худой немец, с белыми ресницами и водянистыми глазами, ответил, улыбаясь своей улыбкой скелета и стуча костяшкой среднего пальца по столу: «Денежки на стол, господа... на стол денежки...» Надо сказать, что такая бесцеремонная предусмотрительность была совершенно в духе того места, где велась игра, то есть отчаянного картежного вертепа, скрывавшегося под фирмой приличного, почти патриархального дома.

Было часов около восьми зимнего утра, и при его сером свете желтые огни оплывших свечей горели как на дневной панихиде. Отворенные форточки окон не давали тяги, а табачный дым, пропитавший всю залу своим едким запахом, висел в воздухе голубовато-прозрачными неподвижными пеленами. Все говорило о бессонной, беспорядочной ночи: раскрытые ломберные столы, сплошь исчерченные мелом и закапанные вином, пол, усеянный окурками и перегнутыми, разорванными, скомканными картами, опрокинутые стулья, утомленные фигуры лакеев, заспанные лица которых были бледны до того, что приняли зеленовато-влажный, мертвенный оттенок.

Двое игроков еще оставались в зале. Увлеченные до сих пор азартом, они только теперь почувствовали, что сильно проголодались и, стоя у подоконника, наскоро закусывали холодной телятиной, запивая ее большими глотками красного вина. В этом доме каждый постоянный посетитель чувствовал себя в то же время полновластным хозяином, потому что здесь и обстановка, и буфет, и прислуга содержались исключительно на средства, получаемые от продажи карт.

— Однако вам сегодня чертовски не везло, Влас Ильич, — сказал один из них, толстый, выхоленный и веселый брюнет.

Он недавно только начал постигать сокровенные таинства баккара, макао и фараона и сильно волновался во время игры. Другой, наоборот, одинаково хладнокровно встречал удачу и неудачу. Когда он метал, то, глядя на его спокойное, скучающее, преждевременно старческое лицо, всегда казалось, что он играет только из снисхождения к усиленной просьбе партнеров. Между тем в душе он был самым страстным игроком, и молодежь зеленого поля, удивляясь ему, в то же время охотно признавала его авторитет в спорных вопросах. Первого звали Григорием Михайловичем Жедринским, а в товарищеском кругу просто — Гри-Гри. Фамилия второго была Миллер.

В ответ на замечание собеседника Миллер лениво зевнул. Минуты две спустя он сказал:

— Да. Не особенно. Этому немцу такое дурацкое счастье валит, что никаким уменьем не поможешь...

— Уменьем? — живо переспросил Гри-Гри. — Неужели вы, Влас Ильич, серьезно верите в это уменье?.. Я давно уже слышу о каком-то знании игры, о выдержке, об умении ставить вовремя большие и маленькие куши... Но, признаться, я во все это плохо верю... Даже — простите мою смелость — меня смешит, когда об этом говорят такие опытные игроки, как вы...

Миллер улыбнулся.

— Молодости свойственны легкомысленные суждения, Гри-Гри. Это изрек еще какой-то очень древний философ. Но не беспокойтесь, вы когда-нибудь, лет этак через десять, сами на практике удостоверитесь,

что у карт есть свои особые законы, привычки и симпатии, к которым нужно зорко присматриваться. Откуда это? — я не знаю. Может быть, карта складывается так или этак в зависимости от индивидуальной тасовки каждого из партнеров? Понаблюдайте хорошенько, и вы убедитесь, что игра одного вечера совершенно не похожа на предыдущую: сегодня выигрывает только банкомет, завтра наоборот — понтирующие; сегодня бьются большею частью фоски и черные масти, завтра — фигуры и красные; вчера банкомет бил каждые ваши две карты, а третью давал, нынче же он бьет четыре, а дает пятую. Сумейте поймать характер, настоящий характер игры и пользуйтесь им. Вот вам и все уменье. Впрочем...

Миллер замолчал.

— Что впрочем? Что такое? — заинтересовался Жедринский.

— Дело в том, что бывают изредка такие случаи, которые разбивают вдребезги всю эту научно-азартную теорию... Необъяснимые, ужасные случаи... Представьте себе, у меня выпала однажды такая колея, что я бил подряд около пятидесяти карт!.. Ах, это самое несчастное воспоминание во всей моей жизни...

— Это воспоминание — не секрет? — спросил Гри-Гри.

— Если хотите, действительно секрет... Однако нам с вами пора уже расходиться. Идемте, и я по дороге расскажу вам эту странную историю. Кстати подышим свежим воздухом.

Вот что рассказал Миллер.

«Если бы вы были постарше лет на пятнадцать, то вы, наверное, в свое время сильно интересовались бы процессом моего брата — Николая Ильича. Теперь это — пропащий, опустившийся человек. Катастрофа, разразившаяся над его головой, превратила его в развалину. Хотя срок его ссылки давно уже окончился, но он прозябает до сих пор в Сибири, сделавшись кабацким завсегдатаем, каким-то темным, подпольным адвокатом. Никто не поверит, что раньше это был светский человек с блестящей карьерой впереди и остроумнейший из собеседников... Дело в том, что он, состоя ди-

ректором одного крупного общественного учреждения, растратил вверенные ему деньги. Есть основание думать, что преступление было совершено с ведома и чуть ли даже не с участием более высших лиц и что мой брат добровольно принял на себя всю ответственность. Говорили, что это была с его стороны дурацкая, но все-таки рыцарская жертва ради одной женщины. Конечно, не мне об этом судить. Скажу только одно, что в то время, когда случилось это несчастие, не только родственники принимали участие в судьбе брата, но даже личности, на первый взгляд, как будто бы совершенно ему посторонние.

Всем, кому надо было дать, чтобы потушить дело, мы роздали более или менее крупные суммы. Иных прельстили вниманием и промессами[1], других обработали через женщин. Таким образом в конце концов оказалось, что нити жизни или смерти моего брата держит в своих руках одна чрезвычайно значительная особа... Фамилия этого человека вам, я думаю, не интересна?.. Что же касается до имени, то... то назовем его, пожалуй, хоть Сергеем Ивановичем...

Но когда мы навели справки — результаты получились самые плачевные. «Не берет! — ни прямо, ни явно, ни тайно. И ни на какие соблазны не клюнет...»

Одно время дело казалось совсем погибшим. Но, к счастью, свет изобилует добрыми советчиками, и кто-то — я теперь уже не помню, кто именно, — натолкнул нас на мысль, что если Сергей Иванович и «не берет», то во всяком случае выиграть в штосс несколько тысяч рублей не откажется. Когда же он узнает, что обыгранный им партнер — родной брат такого-то, то уже, против воли, ему будет неловко вредить и так далее. Одним словом, вы понимаете эту комбинацию?..

Меня представили ему в Английском клубе. Высокий, красивый старик, с почтенной седовласой наружностью, но в глазах, в цвете лица, в очерке губ есть что-то такое... неуловимое... что понятно только завзя-

[1] Обещаниями (*от франц.* promesse).

тым игрокам и говорит о постоянной, запойной картежной страсти.

Мы сели. Игра шла исключительно между мной и Сергеем Ивановичем. Другие игроки были почти подставными персонажами, потому что вели копеечную игру.

Мы играли в старинный классический штосс. Тогда еще не было других игр, кроме штосса и ландскнехта. Он метал. Я сразу убедился, что имею дело с противником, обладающим прекраснейшей выдержкой. В этом отношении обмануться невозможно, потому что известные манеры и приемы в игре вырабатываются только долголетним опытом.

Но, как назло, мне повалила великолепная карта. Чуть ли не каждую сдачу я брал у него куши по второй карте. Тогда произошла курьезнейшая вещь: я стал изо всех сил стараться проиграть, но не тут-то было! Когда я шел от маленьких кушей, выигрывал Сергей Иванович, но чуть только, рассчитывая проиграть, я увеличивал ставку и шел углом, или транспортом, или в цвет и в масть и абцугами, или на очки, — тотчас же выигрыш падал на мою сторону... Все мои обыкновенные наблюдения и вычисления оказывались тут пуфом. Но так как проиграть надо было во что бы то ни стало, то я, сделав очень ловкий маневр, сам завладел колодой. Для меня было очевидным, что в тот вечер должен проигрывать банкомет... И вот тут и подошла эта сверхъестественная колейка... Понимаете ли, Гри-Гри, в течение часа я не дал ему ни одной карты! Не знаю, что обо мне подумал Сергей Иванович, но даю вам слово, что, если когда-нибудь так нелепо повезло бы моему партнеру, я не усомнился бы, что имею дело с шулером, и пустил бы ему в голову колодой, если не бутылкой или шандалом.

Менее чем через час все наличные деньги Сергея Ивановича — если не ошибаюсь, тысяч двенадцать с чем-то — лежали около меня. Он встал и хотел уйти из клуба, сохраняя при этом совершенно равнодушный вид джентльмена и старого игрока. Я уже знал, что Сергей Иванович никогда не играет на запись, но тем не менее, на авось, стал его упрашивать продолжать

игру. К моему удивлению, он согласился. У него недостало обычной выдержки.

Я предложил ему на выбор: понтировать или держать банк. Он предпочел последнее, и колоды — уже второй раз за этот вечер — перешли к нему... И опять повторилась та же чудовищная штука: он давал мне карту за картой в самом начале талии.

Я уже перестал думать о расчете. Эти сумасшедшие карты окончательно сбили меня с толку. Я все время шел на-пе и все выигрывал, выигрывал и выигрывал...

Наконец Сергей Иванович захотел посчитаться. Мы подвели итог, и когда получилась сумма, превышающая сто тысяч, Сергею Ивановичу вдруг изменило его спокойствие. Он побледнел, весь как-то осунулся и проговорил еле слышно, с напряженной улыбкой на губах:

— Это больше, чем я могу вам завтра отдать...

Он встал, но пошатнулся и должен был ухватиться за спинку стула, чтоб не упасть.

— Э, сто́ит ли из-за таких пустяков прекращать игру! — воскликнул я веселым тоном. — Садитесь-ка и сдавайте карты.

Но он молчал, по-прежнему улыбающийся и почти такой же белый, как его седые, шелковистые усы.

Тогда я приподнял с колоды несколько карт и сказал:

— Хотите все насмарку? — я указал свободной рукой на запись. — Красная моя — черная ваша. Идет?

Момент был ужасный. Все присутствующие затихли и глядели, как привороженные, в лицо Сергея Ивановича, ожидая ответа.

— Идет, — прошептал он еле слышно. — Только... простите... нас познакомили, но я не ясно расслышал вашу фамилию.

Я назвался. Мне показалось, что, услышав мою фамилию, Сергей Иванович вздрогнул. Несколько секунд он как будто бы колебался. Может быть, он понял весь смысл сегодняшней игры? Почем знать?

— Идет, — произнес он вдруг более твердым тоном. — Черная масть.

Я еще раньше заметил, что у восьмерки пик слегка надорвался угол, и очень ловко перевернул на ней

колоду. Сергей Иванович вздохнул во всю грудь и вдруг опустился, точно осел на стул.

— Ого! Счастье переменилось... Будемте продолжать! — вскричал я веселым тоном. — Берите колоду...

Но он быстро оправился от овладевшей им минутной слабости духа. Как я его ни уговаривал отыграть у меня обратно свои двенадцать тысяч, он не согласился. Простился он со мной чрезвычайно сухо, почти пренебрежительно. Я пробовал намекнуть о брате, но он сделал вид, что не слышит. Я упомянул было вскользь о том, что мы можем сойтись на другой день, но он тотчас же меня обрезал, отчеканивая каждый слог:

— Нет-с, *мы с вами* больше играть не будем-с...»

Миллер замолчал.

— Чем кончилась вся эта история? — спросил Гри-Гри.

— Ну, а как вы думаете, юноша, чем она могла кончиться? Разве мог простить этот влиятельный, самолюбивый и корректный человек, этот впоследствии министр с почти неограниченной властью, разве он мог простить, что я, тогда еще совсем мальчишка — ну, вот вроде вас, — подарил ему, шутя, все его состояние, а может быть, даже и честь. Разве забываются такие унизительные моменты, какой пережил он, когда согласился играть на «черную и красную», заявивши раньше, что уже проиграл более, чем может отдать. Напротив, я слышал впоследствии, что самый настойчивый и — если хотите — самый пристрастный голос, раздавшийся в обвинение моего брата, принадлежал именно Сергею Ивановичу...

ПОГИБШАЯ СИЛА

Яркие краски весеннего заката уже начали понемногу закрадываться сквозь огромные византийские окна пустого собора, оживляя позолоту причудливых орнаментов и согревая розовый мрамор иконостаса, когда Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с высоких подмостков, художник отошел шагов на тридцать от своей картины и приковался к ней внимательным, напряженным взглядом своих маленьких, острых, чуть-чуть прищуренных глаз. Прямо перед ним во всю высоту запрестольной стены рельефно выделялось на золотом фоне почти оконченное изображение богоматери с младенцем на руках. Все дышало наивной и глубокой верой в этой картине: и золотое небо — торжественное, полное чудес и тайн библейское небо, и синие, тонкие утренние облака, служащие престолом группе, и трогательное сходство в лицах матери и ребенка, и милые изумленные личики кудрявых ангелов. И тем могущественней, тем неотразимей должно было очаровывать и умилять зрителя божественно-прекрасное лицо богоматери — кроткое и вместе с тем строгое, с этими как будто проникающими в глубь времен очами, полными безмолвной, покорной скорби.

В соборе было тихо. Только где-то высоко, под самым куполом, щебетали вперебой неугомонные воробьи. Лучи солнца наискось тянулись из окон золотыми пыльными полосами. Савинов все стоял и глядел на

картину. Теперь он со своими длинными, небрежно откинутыми назад волосами, с бледными, плотно сжатыми губами на худом аскетическом лице как нельзя больше походил на одного из тех средневековых монахов-художников, которые создавали бессмертные произведения в тишине своих скромных келий, вдохновляясь только горячей верой в бога и бесхитростной любовью к искусству и не оставляя потомству даже инициалов своих имен... Священный восторг и радостная гордость удовлетворенного творчества наполнили душу Савинова. Мечты об этой *русской* богоматери он лелеял давно, чуть ли не с самого детства, и вот она возвышается перед ним во всей своей строгой и чистой красоте, и все убранство огромного храма, вся его царственная роскошь как будто бы служат для нее сплошной великолепной рамкой. Здесь, в этой гордости, не было места мелочному профессиональному тщеславию, потому что Савинов относился очень холодно к своей известности, давно перешагнувшей за пределы России. Здесь артист благоговел перед своим произведением, почти не веря тому, что он сам, своими руками создал его.

Между тем восьмичасовая беспрерывная работа на подмостках давала себя знать: руки у художника ныли, ноги и спину ломило от долгого и неудобного сиденья. Савинов вышел на широкое гранитное крыльцо собора и жадно, всей грудью вдохнул свежеющий весенний воздух. Как все звонко, радостно, ароматно и красиво было вокруг! Около собора разноцветными красками пестрел ковер подстриженной декоративной зелени; дальше через дорогу тянулись в два ряда высокие, стройные пирамидальные тополя бульвара, обнесенного легкой сквозной решеткой; еще дальше виднелись густые шапки деревьев общественного сада. Среди дня прошел крупный дождик, и теперь обмытые листья тополей и каштанов блестели точно по-праздничному. Откуда-то неслось благоухание мокрой, освеженной дождем сирени. Небо стало к вечеру гуще и синее, а тонкие белые ленивые облака порозовели с одного бока. В воздухе зигзагами низко носились, чуть не задевая лица, резвые, проворные ласточки, и как-то

странно гармонировал с их веселым стремительным визгом протяжный и грустный звон отдаленного колокола.

Савинов тихо пошел вдоль бульвара, расправляя уставшую грудь медленными, глубокими вздохами и с наслаждением любуясь видом красивого южного города, томно отдающегося наступающему весеннему вечеру. Уроженец дальнего севера, выросший в привольно бесконечных сосновых лесах, он все-таки страстно любил своеобразную красоту больших городов. Он любил кровавый и безветренный закат солнца после студеного зимнего дня, когда здания фантастически тонут в легкой сизой дымке, пронзительно визжат полозья и дым из труб идет, не колеблясь, прямо вверх густым белым столбом; любил большие улицы в жаркие летние праздничные дни, с нарядной толпой, с яркой пестротой женских туалетов, с морем раскрытых цветных зонтиков, насквозь пронизанных солнечным светом и теплом; любил летние лунные ночи: резкие синие тени от домов, лежащие зубчатой полосою на мостовой, отражение месяца в черных стеклах окон, осеребренные крыши, черные силуэты прохожих; любил ранним летним утром забраться на рынок и любоваться на груды сочной мокрой зелени с ее острыми, пронзительными и приятными запахами, на свежие лица торговок, на мелочную и живую базарную суету; любил среди кипучего городского водоворота неожиданно отыскать тихий архаический переулок, уединенную старинную церковь, поросшую влажным мхом, или натолкнуться на яркую, полную движения народную сцену.

— Пардон, мусью! — раздался вдруг над ухом Савинова хриплый мужской голос, и в лицо художнику пахнул такой букет перегорелого вина, что он невольно остановился и отшатнулся.

Перед ним стоял мужчина в рваном холщовом летнем пиджаке, в разорванных на коленях панталонах и в опорках на босу ногу, еще не старый, но уже согнутый той обычной согбенностью бродяг и нищих, которая приобретается от привычки постоянно ежиться на холоде, тесно прижимая руки к бокам и груди. Лицо у него было испитое, пухлое и розовое, шире внизу, с

набрякшими веками над вылинявшими, мокрыми глазами, с потресканными и раздутыми губами, с нечистой, свалявшейся в одну сторону черной бородой. Этот человек держал в руках рваную шапку. Черные спутанные волосы беспорядочно падали ему на лоб.

— Пардон, мусью, — продолжал он трагической интонацией и возвышенным языком «интеллигентного» нищего, — обращаюсь к вам не как презренный бродяга, а как некогда благородный и порядочный человек. Не откажите во имя человеколюбия уделить несколько сантимов на обед бывшему стипендиату Императорской академии художеств. Поверьте честному слову, мусью, — продолжал оборванец, следя жадными глазами за тем, как Савинов достает из кармана кошелек, — что только злая ирония судьбы заставляет меня протягивать руку за помощью. Бывшая надежда артистического мира и... уличный нищий — согласитесь, контраст поистине ужасный...

Чуть заметная добродушная усмешка тронула бескровные губы Савинова.

— Так вы были в академии? В котором же году?

Оборванец вдруг принял комически гордую позу.

— В 187*-м, милостивый государь, окончил оную, — воскликнул он с пафосом и с силою ударил себя кулаком в грудь. — А в 187*-м был отправлен на казенный счет в Италию-с.

Савинов пристальнее взглянул в лицо нищего и протянул ему несколько мелких серебряных монет.

— Охотно верю вам, что вы были в академии, — сказал он со свойственной ему мягкой улыбкой. — Только, видите ли... вам не совсем бы удобно было говорить мне об этом, потому что я сам... окончил академию годом позже вас, но... должен признаться, что не видел вас ни разу.

Глаза оборванца вдруг забегали по сторонам, пухлое лицо из розового сделалось красным и сразу все покрылось мелкими каплями пота.

— Вы мне не верите? — прошептал он, низко опуская голову. — Моя фамилия Ильин. Никифор Ильин.

— Ильин! — воскликнул Савинов так громко, что проходившая в это время какая-то дама вздрогнула и

обернулась. — Батюшки, да ведь я вас теперь совсем узнал. Что же это с вами, голубчик?

Только теперь Савинов дал себе отчет в том, что несколько минут тому назад ему на мгновение мелькнуло в лице оборванца что-то знакомое. И тотчас же, с присущей художникам яркостью зрительной памяти, перед ним всплыл тот момент, когда он в первый раз увидел Ильина. Академическая курилка, слоистые облака сизого табачного дыма, в котором движутся неясные силуэты, сплошной товор, смех... Кто-то торопливо толкает Савинова под локоть и шепчет: «Смотри, смотри... вон у подоконника стоит Ильин: черный, с длинными волосами... Теперь глядит в нашу сторону». Савинов быстро оборачивается и видит худощавую, гибкую фигуру, небрежно облокотившуюся на подоконник, бледное лицо, живописную гриву длинных волос, чуть-чуть пробивающиеся усы и бородку и пару чудных темных глаз. Ильин слушает какого-то коротенького краснощекого толстяка, и эти великолепные выпуклые блестящие глаза искрятся умом, вниманием и тонкой насмешкой... О, как все это было давно... И все-таки стоящий перед Савиновым бродяга — несомненно Ильин, тот самый легендарный Ильин, имя которого долго не сходило с языка у всех профессоров и студентов. Есть в каждом человеческом лице какие-то неуловимые, загадочные черточки, которые не изменяются в нем от детского возраста до старости, точно так же, как есть такие же нотки в тембре каждого голоса, по которым через десять, двадцать лет признаешь человека, как бы он ни огрубел, ни опустился, ни зачерствел и ни пал...

— Так вы Ильин? — растерянно и жалостливо бормотал Савинов. — Господи, как же это неожиданно... Ведь я вас помню, прекрасно помню.

— Что же делать... обстоятельства... покатился под гору, — отрывисто и угрюмо отвечал оборванец, отворачивая вбок свое расплывшееся лицо. — Встретишь кого из старых товарищей... перебегаешь на другую сторону... стыдно... образ человеческий потерял... Дозвольте, господин, — в голосе Ильина сразу зазву-

чала искательная, рабская интонация забитого человека, — дозвольте узнать вашу фамилию?

Савинов назвал себя. Ильин вдруг весь встрепенулся, и глаза его широко раскрылись.

— Савинов?.. Тот самый, что в соборе?.. Знаменитый?..

— Ну, уж и знаменитый. Это вы слишком сильно, голубчик.

— Но это вы? вы?

— Ну я, если хотите...

— Родной мой, видел. Своими глазами видел, — воскликнул Ильин, и что-то похожее на умиление затеплилось в его опухших глазах. — Господи, красота-то какая! Ручку мне пожалуйте, ручку... не откажите.

Савинов дружески открытым жестом протянул руку и не успел отнять ее, как почувствовал на ней холодное и мокрое прикосновение губ Ильина.

— Фу! Как вам не стыдно! — сказал он укоризненно и краснея. — Разве можно такие вещи делать?..

Ильин приложил обе руки к груди крестом и изо всей силы сжал их.

— Господин Савинов! Не вам руку целую, — выкрикнул он восторженно. — Русскому гению руку целую... Я — мертвый человек — новую зарю приветствую в вас.

Савинов в замешательстве оглянулся по сторонам. Вокруг них уже начала собираться глазеющая публика: мальчишка в белом переднике, с рогожным кульком под мышкой, две девицы в платочках, щелкающие подсолнушки, какой-то подержанный господин в цилиндре, торговка с двумя корзинами, надетыми на коромысло. Стоять здесь дольше было неловко. Но в то же время нельзя было оставить Ильина, бросить его на произвол судьбы, отделавшись от него несколькими копейками. Этого не позволяла Савинову его деликатная, бесконечно мягкая натура.

— Знаете что, Ильин, — вдруг нашелся он. — Идемте-ка ко мне в гостиницу. Я теперь один-одинешенек, и вечер у меня свободный. О старине потолкуем. Идемте...

— Одет-то уж я больно того... — замялся Ильин.

— Э, пустяки какие. Да, наконец, у меня есть, кроме общего хода, свой отдельный ход, и ключ постоянно в кармане. Закусим чем бог послал, поболтаем. Может быть, и придумаем что-нибудь сообща. Идем. До меня отсюда всего два шага.

— Видел я вашу картину. Созерцал, наслаждался и плакал, — беспорядочно и восторженно бормотал Ильин, идя рядом с Савиновым и поминутно сбегая с тротуара на мостовую, чтобы дать дорогу встречному прохожему. — Потрясла она меня до самого нутра. До остолбенения. И ведь как это случилось странно. Иду я мимо собора. Глядь, подъезжают четыре коляски, всё собственные, и останавливаются у входа. Вылезают какие-то дамы, должно быть аристократки, и с ними генерал и два штатских. Пошли они в собор. Ну, сторожа, понятно, за ними следом кинулись. А я тем временем — шмыг и проскочил во внутрь. Что греха таить, пьяненький я в ту пору был, а потому и храбрый, а на счастье и полиции кругом не случилось. Да-с. Вошел я в собор, да так, знаете, к полу и прирос. В дрожь меня кинуло. Стоит она на высоте, точно парит в воздухе, непорочная, чистая, прекрасная, и глаза большие такие, ясные, кроткие, прямо на меня в упор смотрят, но не гневно... Нет! Смотрят печально так, жалостно. О господи! А я-то нетрезвый, гаденький, грязный, в отрепьях, только из вертепа вырвался... Жутко мне сделалось, а глаз отвести не могу... И вдруг меня точно толкнуло что-то. «Боже мой, — думаю я, — да ведь это *моя* мечта, ведь этот самый идеал я носил в душе, когда она еще была чиста, ведь и я мог бы создать что-нибудь похожее на этот божественный образ». Страшный это был момент, господин Савинов. Страшный потому, что я вдруг сразу необычайно ясно понял, ощутил и измерил ту глубину, в которую я полетел вверх тормашками... Заплакал я... Ну, конечно, подошел сторож. «Тебе чего здесь нужно, босяк, пьяная морда?» Мигом выволок меня из собора и с лестницы. А я... что же мне еще оставалось? Нарезался я в этот день, как скотина,

и все ревел. Потом подняли меня без памяти... ночевал я в участке. Эх! и говорить-то гадко!

Савинов слушал, не перебивая, эту горькую, отрывистую речь, и все больше и больше стеснялось его сердце болезненным состраданием к этому несчастному человеку. Через какой длинный ряд унижений и нравственных пыток должен был он пройти, прежде чем очутиться на улице в своем холщовом пиджачке и разодранных панталонах? А ведь в нем, без сомнения, погиб огромный самобытный талант. Савинову вдруг вспомнился отзыв об Ильине, еще в тогдашнее академическое время, одного старого, пунктуального, заматерелого в классических традициях профессора: «Из этого Ильина талантище так и прет. Ни с каким масштабом к нему не подойдешь», — говорил обыкновенно профессор. И это мнение безмолвно разделяла вся — обыкновенно так жадно ревнивая к успеху — злоязычная среда товарищей художников. В то время когда другие робко шли за великими мастерами, в Ильине уже намечался крупными чертами оригинальный, свежий талант, вырабатывающий свои убеждения, свои приемы, свой рисунок и свое понимание натуры. Он как будто бы на целую голову стоял выше своих сверстников. К нему прислушивались, ему подражали, его удивительные работы привлекали всеобщее внимание. Около него уже образовался небольшой кружок новаторов, презиравших всякие «измы», направления и школы и требовавших от искусства безграничной широты замысла и смелости исполнения. Однако в вожаки партии Ильин никогда не лез; он был слишком скромен, мягок и застенчив для этого. Жизнь он вел суровую, почти спартанскую, и отдавался работе с каким-то священным упоением. Правда, были и в то время в академии бездарные работяги, которые отсутствие таланта заменяли раболепством перед профессорами и упорной, нечеловеческой усидчивостью. Они возбуждали в товарищах жалость и презрение. Но к Ильину, к его аскетическому образу жизни, к его изумительному трудолюбию, к его отчужденности от безалаберной художнической богемы все относились с внимательным почтением. Чувствовалось, что он не

хочет разбрасывать даром своих огромных сил, а посвящает их исключительно на служение искусству.

Савинов помнил, каким шумом была встречена на конкурсной выставке картина Ильина «Праздник у Степана Разина». Весь художественный Петербург сбегался смотреть на нее. Газетные критики называли ее эпохой в истории русской живописи. Ильина отправили на казенный счет в Рим. Потом он как в воду канул, требуемой работы в академию не представлял и не давал по этому поводу никаких объяснений. Никто не мог сказать утвердительно, возвратился ли он обратно в Россию, или остался за границей; даже не знали, жив ли он. О нем, правда, изредка вспоминали в своих тесных кружках старые художники. Бывало, когда уже достаточно позлословили насчет отсутствующих, кто-нибудь вздохнет о том, что с каждым годом переводятся старые таланты, а новых что-то не видно. «А прежде-то, господа, помните?» И тут непременно выступал на сцену Ильин, личность и талант которого сквозь призму времени приняли размеры прямо-таки легендарные. Одно время пронесся было слух, что кто-то из художников видел Ильина в одесской гавани, таскающим кули, но слух этот скоро замер, и на него большого внимания не обратили.

Лакей во фраке и в белом галстуке вошел в номер с приборами в обеих руках и ногой прихлопнул за собой дверь. Он был настолько хорошо выдрессирован, что не позволил себе грубой выходки (к тому же Савинов хорошо давал на чай), но по тому, как он умышленно небрежно ставил на стол тарелки, по тому, как смотрел искоса на Ильина, не поворачивая к нему головы, по холодному достоинству, с каким он выслушивал заказ, видно было, что он возмущен и за себя и за репутацию заведения до глубины души. Ильин сидел на кончике кресла, стараясь далеко запрятать под него свои ноги, и прикрывал ладонями прорванные колени. Он растерянно улыбался, поминутно краснел и вытирал рукавом вспотевшее лицо.

Когда лакей вышел, Савинов подвинул к Ильину водку и сказал ласково:

— Пейте, голубчик, не стесняйтесь меня. Я знаю, что это вам теперь необходимо.

Горлышко графина звенело о стекло рюмки, когда Ильин наливал водку. Опрокинув дрожащей рукой водку в рот, он долго ее не проглатывал, сморщив лицо в брезгливую гримасу; потом сразу проглотил с каким-то особенно громким звуком, сморщился еще сильнее и часто-часто задышал через полусжатые губы, точно отдуваясь от чего-то горячего. Теперь, при свете огня, Савинов хорошо рассмотрел его лицо. Оно страшно отекло от скул до подбородка; щеки и угреватый нос были покрыты мелкой сетью красных извилинок и маленьких вздутых синих жилок. Пиджак был у ворота заколот булавкой, и белья под ним не замечалось. От всех этих лохмотьев шел какой-то грязный, масленистый запах, похожий на запах замазки с примесью скверного табака.

— Простите... я с похмелья, — потянулся Ильин за другой рюмкой.

— Пожалуйста, пожалуйста, голубчик. Я ведь нарочно для вас...

По мере того как Ильин пил рюмку за рюмкой, лицо его, к удивлению Савинова, мало-помалу принимало более нормальный вид, руки перестали трястись, голос прояснился, глаза стали живее и точно расширились. Ел он жадно и неряшливо, запихивая в рот большие куски и чавкая, как едят наголодавшиеся и отвыкшие от приличного стола люди. Чтобы не смущать его, Савинов нарочно уселся так, что между ним и Ильиным приходилась высокая лампа с длинным висячим красным абажуром.

— Хотите еще? — спросил он, когда Ильин окончил есть и обтер губы наружной стороной рукава.

— Нет, мерси. Благодарствуйте. Сыт. А вот если папиросочку...

Он закурил, глубоко и поспешно затянулся несколько раз подряд и вдруг рассмеялся продолжительным тихим смехом.

— Чему это вы? — спросил Савинов.

— Да вот гляжу я на вас, Иван Григорьевич (Ильин и в самом деле выглянул из-за абажура), и

вижу, что вам хочется спросить меня: «Как дошла ты до жизни такой?» Только деликатность не позволяет... Правда ведь? А? Ха-ха-ха...

— Поверьте, что я не хочу быть нескромным, — вежливо возразил Савинов.

— Ну, что там за нескромность... со мной-то? Да, кроме того, мне и самому хочется рассказать. Почем знать, может быть, вы, когда все узнаете, не презрение ко мне почувствуете, как к попрошайке уличному, а пожалеете... Ту конетр [1]... как это дальше? Ну, да черт с ним, все равно... Слушайте мою исповедь, господин Савинов.

Ильин поискал глазами пепельницу и, не найдя ее, потихоньку, чтобы не видел Савинов, потушил папиросу об ножку стула и спрятал окурок из вежливости в карман.

— Как это пишут смешно в романах: «В зале воцарилась мертвая тишина. Полковник закурил свою трубку, провел рукой по длинным седым усам и, глядя на огонь камина, начал...» Так ведь? Ха-ха-ха...

Он отрывисто рассмеялся, потом помолчал несколько секунд, и, когда опять начал говорить, в его голосе совсем неожиданно послышались горькие, грустные, искренние ноты.

— Замотала меня женщина, Иван Григорьевич. Женщина — и моя собственная глупость. Вы, может, слышали, каков я в академии был? Одно слово — анахорет. Только в искусство да в труд и верил. Этого сочинителя, что сказал, будто гений может озарять голову безумца, гуляки праздного, я бы тогда, кажется, на части разорвал... Как лошадь работал...

— У вас был замечательный талант, Ильин, — мягко вставил Савинов.

— Был! Верно! — Ильин горячо ударил себя в грудь кулаком. — И я знаю, что был. Я в себя всех больше верил. В звезду свою верил, черт побери! Совершенства добивался. Всего себя этому проклятому искусству закабалил. Кошачьей колбасой питался, идиот, на чердаках мерз. Другие умней были: тот —

---

[1] Все понять... *(франц.)*

иллюстрации, тот — виньеточки, тот — карикатурки... У них веселье, попойки, на острова поехали, женщины, хохот, а я сижу, завернувшись поверх пальто в одеяло, и теорию перспективы изучаю. Трогательно!.. Виньеточки-то за позор считал. Как же, помилуйте, унижение искусства, профанация!..

Ильин опять рассмеялся, но смех перешел в спазматический кашель, который длился минут пять. Отдышавшись, он продолжал:

— Отправили меня в Рим. Ведь вы там, конечно, были, Иван Григорьевич? Господи, красота-то, красота какая! Воздух прозрачный, небо синее-синее, краски на всем такие сочные, горы, платаны, развалины... хорошо! На что уж я всегда был лют на работу, а тут прямо осатанел. Бегаю целый день по галереям и по дворцам, копирую стариков, набрасываю этюды, пишу с натуры. Удивительно, как на это одного человека хватало. При этом, заметьте, паек самый скудный — кусок хлеба с сыром овечьим и стакан доброй старой воды, вот и все.

Потом, однако, угомонился, в русло вошел, стал подыскивать сюжет для картины. И нашел. Знаете, в этом роде, который нынче называют символическим (мне ведь тоже время от времени нет-нет да попадет в руки клочок газеты). Вообразите себе ниву, созревшую, спелую ниву, но всю истоптанную во вчерашнем сражении. Брезжит раннее утро, на востоке янтарная полоса, луна побледнела... А на ниве лужи крови, обломки оружия, трупы человечьи и лошадиные, вдали мерцают огни лагеря... И вот среди этой крови и этого ужаса медленно плывет туманная фигура Христа, с опущенной вниз головой и опечаленным ликом... Недурно ведь? А?

— Хорошо. Очень хорошо! — искренно воскликнул Савинов.

— Начал я работать. А у меня в то время была общая студия с одним тоже русским, Курбатовым. Он был пейзажист, — милый человек и необыкновенно талантливый. Царство ему небесное (Ильин перекрестился): в первый же месяц, как приехал в Россию, умер от скоротечной чахотки... Счастливец!.. Ну-с, за-

вязались у нас кое-какие знакомства с тамошним народишком, стали нами как будто интересоваться, оценили нас. В студии всегда, бывало, разные людишки болтаются. Сперва больше свой брат художник, а потом повалила и публика: знатные иностранцы и всякие путешественники. Даже один герцог какой-то посетил, ей-богу, не вру, Иван Григорьевич.

И вот однажды получаю я через комиссионера две визитных карточки. Какой-то князь Дуз-Хацимовский, женераль ан ретре[1], с женой Натальей Фаддеевной очень обо мне наслышаны, горят желанием видеть мою замечательную картину и потому покорнейше просят, не найду ли я возможным быть дома от двенадцати до двух часов. Я предупредительно соглашаюсь. В назначенное время являются. Генерал ничего себе — солидный генерал, басит, растягивает слова и отторбучивает нижнюю губу. Усы нафиксатуарены, яркий галстук, однако видно, что ножки сильно пошаливают. Он меня, конечно, «обласкал» и обещал покровительство. На нее я сначала не обратил внимания, потому что меня все заговаривал генерал. Вижу только — худая, гибкая, с великолепными рыжими волосами. Покамест я перед его превосходительством расшаркивался, она всё мои альбомы с эскизами рассматривала. Нехорошая это привычка, нескромная — все равно что в чужую записную книжку заглядывать, — ну, да что же поделаешь — терпи! Потом вдруг подзывает меня к себе. «Мсье Ильин, вы, должно быть, никогда не были влюблены?» Я оторопел. «Почему вы так думаете, мадам?» — «В вашем альбоме я не нашла следов любви». Я недоумеваю еще больше: «Виноват, какие же это следы?» — «Да мало ли какие: на каждой странице один и тот же профиль, одни и те же инициалы, строчки, написанные женской рукой... Ну? Права я или нет?»

И поглядела на меня. Знаете, Иван Григорьевич, — странная вещь: я лицо ее совершенно — ну, совсем-таки забыл, и никак не могу его себе представить, даже не знаю, была ли она дурна, или хороша собою, а этот взгляд вот как теперь вижу. Бесстыжий, понимаете ли,

---

[1] Генерал в отставке (от *франц.* en retraite).

открыто бесстыжий, и хищный, и насмешливый, и манящий, до безумия манящий. И вся она, как вино, бросилась мне в голову со своим змеиным телом, с рыжими волосами, с каким-то пряным запахом духов. И почувствовал я, что с этого момента «кончено мое земное странствие...»

А она все смотрит и глазами играет. «Я, говорит, сама немного рисую. Вы мне позволите иногда запросто заходить к вам посмотреть и поучиться? Папочка, ты позволишь?» Это она к генералу. Папочка позволяет с добродушной снисходительностью взрослого к капризу ребенка. «Ну, так я завтра зайду в это же время. Жаль, что вашего товарища в эти часы не бывает, я бы с ним охотно познакомилась». Ведь какова дерзость-то, Иван Григорьевич! Я ей об товарище решительно ни словечка не сказал, а она вдруг: «Жаль, что в эти часы не бывает». Да еще подчеркивает так, что и глухой понял бы и догадался на другой день убрать товарища куда-нибудь подальше.

И пошло писать! Подхватило меня, как соломинку ураганом, и понесло. Другой бы на моем месте остановился, а меня мое анахоретство сгубило. Нет у таких, как я, ни конца ни краю! Все в этом проклятом водовороте пропало: и силы непочатые, и честь, и здоровье, и талант. Не прошло и двух недель, как я перед ней пресмыкался гадом ползучим, за одну улыбку готов был идти на бесчестье, на преступление. И до того этой слепой любовью я ей опротивел, что она уж и стыдиться со мной перестала, всю свою циничную душонку передо мной наизнанку выворачивала. Знаете ли, дорогой Иван Григорьевич, я человек тертый, всякого народу на своем веку видал, во всех степенях падения — и воришек, и бродяг, и острожных, и каторжных. Но, клянусь вам, никогда и нигде я не встречал такой черствой, такой глубоко безнравственной натуры!..

Она гнала меня прочь — я возвращался, униженный, раболепный. Один раз она мне крикнула в бешенстве: «Убирайся вон! Ты нищий! Ты мне ни зачем не нужен!» Я ушел, продал свою картину за три тысячи (давно к ней подъезжал один американец), возвратился и швырнул ей в лицо сверток с золотом. За это я был лю-

бим целую неделю. С тех пор началась сумасшедшая погоня за деньгами, грошовые заказы, иллюстрации, самодурство меценатов — все, что хотите!

Как я ревновал ее, как мучился — ужасно, ужасно! (Ильин вдруг закрыл лицо руками и с минуту сидел молча, раскачиваясь телом взад и вперед.) Я все терпел... Сначала папский гвардеец, потом идиот-тенор, потом какой-то красавец, итальянский еврей из коммивояжеров... Я должен был им улыбаться и оказывать им такие услуги, которые обыкновенно возлагаются на слуг.

Горько мне было, тяжело... А компания всегда под боком... Напьешься — оно сначала как будто и весело, забудешься на минутку, споришь о чем-то, шумишь, обнимаешься с собутыльником. Потом слезы. Прижмешься к чьей-то засаленной груди и рыдаешь, и раскрываешь сердце какому-нибудь сапожнику. Это дело я очень скоро постиг.

Что дальше пошло, я и сказать не умею. Все в пьяном угаре было. Ездил я за ней следом и в Ниццу, и в Вену, и в Швейцарию, и в Париж. Меня уж больше не принимали, так я под окошками целые ночи простаивал. В Петербург, наконец, приехали. Как-то не утерпел я, пьяный к ним в дом ворвался. Вывели с участием полиции, а потом — генерал был все-таки со связями — и вовсе выселили административным порядком...

Вот я и мыкаюсь с тех пор, Иван Григорьевич. До вывесок спустился, до малярных работ. Да ведь сами посудите, где же пьяного будут держать? Барки пробовал грузить — силишки не хватает. Как-то раз на одной постоялке кто-то мне и говорит: «Да ты бы, братец, хоть стрелять выучился». — «Как это стрелять?» — «А так, очень просто: милостивый господин, не откажите помочь бывшему студенту, или там хоть артисту, или художнику, разбитому параличом и обремененному многочисленным семейством...» Трудно было сначала, совестно... Ну, а потом... Ко всему на свете привыкнешь... Да и что мне, Иван Григорьевич... — в голосе Ильина послышались глухие рыдания, — что мне в том, если бы вдруг каким-нибудь чудом мое положение

изменилось, если бы я даже получил возможность писать, как писал двадцать лет тому назад! Зачем мне все это, если она для меня навсегда потеряна? Понимаете ли, навсегда, навсегда, навсегда...

Он опять закрыл лицо руками и, весь сотрясаясь, раскачивался взад и вперед. Савинов спрятался за лампу и украдкой вытирал глаза платком. Вдруг Ильин стремительно сорвался с места и протянул Савинову руку.

— Прощайте, — злобно и отрывисто произнес он. — Извините, что расстроил. Прощайте.

Савинов встал и обеими руками крепко взял Ильина за плечи.

— Слушайте, голубчик, — заговорил он нежно. — Дайте мне слово, что вы завтра утром зайдете ко мне. Я теперь не даю вам денег только потому, что вы слишком возбуждены. Но ведь вам нетрудно будет от меня принять маленькую помощь, ну, хоть на одежду, на квартиру?

— Нет. От вас легко, Иван Григорьевич, — пробормотал Ильин, не подымая глаз.

— Так придете завтра?

— Да.

— Ну, господь вас храни. — Савинов крепко пожал Ильину руку. — До свидания. Милый вы, добрый, несчастный вы человек.

Он запер за Ильиным дверь, снял пиджак и жилет и уже сел на кровать, чтобы снять сапоги, как с улицы кто-то сильно постучал в оконное стекло. Савинов подбежал к окну и, увидев Ильина, отворил форточку.

— Что вам, Ильин? — спросил он тревожно.

На Ильине лица не было. Страшно бледный, с перекошенным лицом и воспаленными глазами, он весь с ног до головы трясся, точно в ознобе.

— Не надо... квартиры... — услышал Савинов хриплый, прерывающийся голос. — К черту... благодеяния... Трешницу... только трешницу... Не могу, душа горит... истерзался весь... Забыть не могу!..

Савинов вздохнул и молча стал отыскивать бумажник.

НА ПЕРЕЛОМЕ

(КАДЕТЫ)

I

Первые впечатления. — Старички. — Прочная пуговица. — Что такое маслянка. — Грузов. — Ночь.

— Эй, как тебя!.. Новичок... как твоя фамилия?

Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему — до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть поснисходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости, — говорила она, гладя в то же время бессознательно голову сына, — он у меня такой нежный... такой впечатлительный... он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое, просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призвякивал шпорами. По-видимому, он торопился уйти, но, в силу давнишней привычки, продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости...

Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели на подоконниках, одетые в самые раз-

нообразные костюмы: тут были желтые, голубые и красные косоворотки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. «Старички» в серых каламянковых блузах, подпоясанных ремнями, и таких же панталонах сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом и в особенности развязными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кепи на затылок; некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топочащая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом.

— Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом.

— Моя фамилия Буланин, — ответил новичок.

— Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?

— Нет...

— Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск — принеси.

— Хорошо, я принесу.

— И со мной поделись... Ладно?..

— Хорошо, с удовольствием.

Но старичок не уходил. Он, по-видимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина.

— Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, — сказал он, трогая одну из них пальцем.

— О, это такие пуговицы... — суетливо обрадовался Буланин. — Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть ее. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост,

в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой.

Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:

— Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, — крикнул он пробегавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, — посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!

Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур, я за Базуткой!» — крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели: «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» — и покамест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощелкивали от нетерпения пальцами.

Но пуговица держалась по-прежнему крепко.

— Позовите Грузова! — сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, — один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:

— Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

— Фамилия?..

— Что? — спросил робко Буланин.

— Дурак, как твоя фамилия?

— Бу... Буланин...

— А почему же не Савраскин? Ишь ты, фамилия-то какая... лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

— А ты, Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

— Н... нет... не пробовал.

— Как? Ни разу не пробовал?

— Ни разу...

— Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.

— Вот тебе маслянка, и другая, и третья!.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал все бо́льшие и бо́льшие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатились из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

— Эх ты, рева-корова! — произнес Грузов презрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце, — чувство, похожее на то, как будто бы он сам

только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью...

Одинокий, точно забытый всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы — рекреационная и чайная (они разделялись аркой) — были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше — розовой известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую — стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной истории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано... Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса...

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно длинных зал, Буланин вышел на плац — большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других — сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией

валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим — на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, — и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов, — вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чаю и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла угомониться. Старички в одних рубашках перебегали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу. Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, окликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду послышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволоклось новыми впечатлениями, — все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр — кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнили сердце Буланина. Ему припомнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен, непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы со-

брать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия — таким неуютным и суровым местом, а он сам — таким несчастным, заброшенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колючий клубок... Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на темноту. «Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какою гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон...» Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу.

Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями... Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете висячих ламп с контр-абажурами.

II

Заря. — Умывалка. — Петух и его речь. — Учитель русского языка и его странности. — Четуха. — Одежда. — Цыпки.

Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та...

Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою идти на перепелов... Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный, рыжий, веснушчатый солдат и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив.

Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо и желтая чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра.

В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры.

Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел.

Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились воспитанники, нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все не выспались; старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами. Несколько раз, когда Буланин, улучив минутку, становился под кран, кто-нибудь сзади брал его за ворот рубашки и грубо отталкивал. Умыться ему удалось только в самой последней очереди.

После чая пришли воспитатели, разделили всех новичков на два отделения и тотчас же развели их по классам.

Во втором отделении, куда попал Буланин, было двое второгодников: Бринкен — длинный, худой остзеец с упрямыми водянистыми глазами и висячим немецким носом, и Сельский — маленький веселый гимназист, хорошенький, но немного кривоногий. Бринкен, едва войдя в класс, тотчас же объявил, что он занимает «камчатку». Новички нерешительно толпились вокруг парт.

Вскоре появился воспитатель. Его приход был возвещен Сельским, закричавшим: «Тс... Петух идет!..» Петухом оказался тот самый военный в баках, которого вчера видел Буланин в приемной; его звали Яков

Яковлевич фон Шеппе. Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном и еще тем особенным не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семействах. Заложив правую руку в задний карман сюртука, а левой перебирая цепочку, висящую вдоль борта, и в то же время то поднимаясь быстро на цыпочки, то опускаясь на каблуки, Петух сказал небольшую, но прочувствованную речь:

— Ну, так вот, господа... э... э... как бы сказать... я назначен вашим воспитателем. Да было бы вам известно, что я им и останусь все... весь... э... как бы сказать... все семь лет вашего пребывания в гимназии. Поэтому смею думать и надеяться, что на вас со стороны учителей или, как бы сказать... преподавателей — да, вот именно: преподавателей... не будет... э... не будет поступать неудовольствий и... как бы сказать... жалоб... Помните, что преподаватели суть те же ваши начальники и, кроме доброго... э... э... как бы сказать... кроме добра, вам ничего не желают...

Он помолчал немного и несколько раз подряд то поднимался, то опускался на цыпочках, точно собираясь улететь (его за эту привычку, вероятно, и прозвали Петухом), и продолжал:

— Да-с! Так-то-с. Нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время... потому и постараемся... э... как бы сказать... не ссориться, не браниться, не драться-с.

Бринкен и Сельский первые поняли, что в этом фамильярно-ласковом месте речи надо засмеяться. Следом за ними захихикали и новички.

Бедный Петух вовсе не обладал красноречием. Кроме постоянных: «э»... слово-ериков и «как бы сказать», у него была несчастная привычка говорить рифмами и в одних и тех же случаях употреблять одни и те же выражения. И мальчишки, с их острой переимчивостью и наблюдательностью, очень быстро подхватили эти особенности Петуха. Бывало, по утрам, будя разоспавшихся воспитанников, Яков Яковлевич кричит: «Не копаться, не валяться, не высиживать!..», а целый хор из-за угла, зная заранее, какая реплика

следует далее, орет, подражая его интонациям: «Кто там высиживает?»

Окончив свою речь, Петух сделал всему отделению перекличку. Каждый раз, встретив более или менее громкую фамилию, он, подпрыгивая, по своему обыкновению, спрашивал:

— А вы не родственник такому-то?

И, получив большею частью отрицательный ответ, качал головою сверху вниз и говорил мягким голосом:

— Прекрасно-с. Садитесь-с.

Затем он разместил всех воспитанников на парты по двое, причем извлек Бринкена из «камчатки» на первую скамейку, и ушел из класса.

— Как тебя зовут? — спросил Буланин своего соседа, толстощекого румяного мальчика в черной куртке с желтыми пуговицами.

— Кривцов. А тебя как?

— Меня — Буланин. Хочешь, будем дружиться?

— Давай. У тебя родные где живут?

— В Москве. А у тебя?

— В Жиздре. У нас там сад большой, и озеро, и лебеди плавают.

При этом воспоминании Кривцов не мог удержать глубокого, прерывистого вздоха.

— А у меня есть собственная верховая лошадь, — Муцик зовут. Страсть какая быстрая, точно иноходец. И два кролика, ручные совсем, капусту прямо из рук берут.

Петух опять пришел, на этот раз в сопровождении дядьки, несшего на плечах большую корзину с книгами, тетрадями, перьями, карандашами, резинками и линейками. Книги уже были давно знакомы Буланину: задачник Евтушевского, французский учебник Марго, хрестоматия Поливанова и священная история Смирнова. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщовых переплетах писались новые фамилии, которые в свою очередь давали место новейшим. На многих книгах красовались

бессмертные изречения вроде: «Читаю книгу, а вижу фигу», или:

Сия книга принадлежит,
Никуда не убежит,
Кто возьмет ее без спросу,
Тот останется без носу, —

или наконец: «Если ты хочешь узнать мою фамилию, см. стр. 45». На 45 странице стоит: «См. стр. 118», а 118-я страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не приходит к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались также нередко обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, который трактовался учебником.

— Берегите ваши руководства, — сказал Петух, когда раздача кончилась, — не делайте на них различных... э... как бы сказать... различных неприличных надписей... За утерянный или попорченный учебник будет наложено взыскание-с и будут удержаны... э... как бы сказать... деньги-с... с виновного-с... Затем назначаю старшим в классе Сельского. Он — второгодник и все знает-с, всякие... как бы сказать... порядки-с и распорядки-с... Если вам будет что-либо непонятно или... как бы сказать... желательно-с, извольте обращаться ко мне через него. Затем-с...

Кто-то отворил двери. Петух быстро обернулся и прибавил полушепотом:

— А вот и преподаватель русского языка.

Вошел с классным журналом под мышкой длинноволосый блондин иконописного облика, в поношенном сюртуке, такой высокий и худой, что ему приходилось невольно горбиться. Сельский закричал: «Встать! Смирно!» — и подошел к нему с рапортом: «Господин преподаватель, во втором отделении первого класса N-ской военной гимназии все обстоит благополучно. По списку воспитанников тридцать, один в лазарете, налицо двадцать девять». Преподаватель (его звали Иваном Архиповичем Сахаровым) выслушал это, изобразивши всей своей нескладной фигурой вопросительный знак над маленьким Сельским, который поневоле дол-

жен был задирать голову кверху, чтобы видеть лицо Сахарова. Затем Иван Архипович мотнул головой на образ и буркнул: «Молитву!» Сельский совершенно тем же тоном, каким сейчас рапортовал, прочел «Преблагий господи».

— Садитесь! — приказал Иван Архипович и сам влез на кафедру (нечто вроде ящика без задней стенки, поставленного на широкую платформу. Сзади ящика помещался стул для преподавателя, ног которого таким образом класс не видел).

Поведение Ивана Архиповича показалось Буланину более чем странным. Прежде всего он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпятив вперед нижнюю челюсть, сделал на класс страшные глаза. «Точь-в-точь, — подумалось Буланину, — как великан в сапогах-скороходах, прежде чем съесть одного за другим всех мальчиков». Потом он широко расставил локти на кафедре, подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы:

— Ну-с, орлы заморские... ученички развращенные... Что вы знаете? (Иван Архипович неожиданно качнулся вперед и икнул.) Ничего вы не знаете. Ррровно ничего. И з-знать ничего не будете. Вы дома небось только в бабки играли да голубей гоняли по крышам? И прекра-а-асно! Чуд-десно! И занимались бы этим делом до сих пор. Да и зачем вам грамоте-то знать? Не дворянское дело-с. Учитесь не учитесь, а все равно корову через «ѣ» изображать будете, потому... потому... (Иван Архипович опять качнулся, на этот раз сильнее прежнего, но опять справился с собою), потому что ваше призвание быть вечными Ми-тро-фа-нушка-ми.

Поговорив в этом духе минут пять, а может быть, и более того, Сахаров вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его расскользнулись, голова беспомощно и грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Преподаватель был безнадежно пьян.

Это случалось с ним почти каждый день. Раза два или три в месяц он, правда, являлся трезвым, но эти

дни считались роковыми в гимназической[1] среде: тогда журнал украшался бесчисленными «колами» и нулями. Сам Сахаров бывал мрачен и молчалив и за всякое резкое движение высылал из класса. В каждом его слове, в каждой гримасе его опухшего и красного от водки лица чувствовалась глубокая, острая, отчаянная ненависть и к учительскому делу и к тому вертограду, который он должен был насаждать.

Зато воспитанники безнаказанно пользовались теми минутами, когда тяжелый сон похмелья овладевал больной головой Ивана Архиповича. Тотчас же кто-нибудь из «слабеньких» посылался «стеречь» у дверей, наиболее предприимчивые забирались на кафедру, переставляли в журнале баллы и ставили по своему усмотрению новые, вытаскивали из кармана преподавателя часы и рассматривали их, мазали ему мелом спину. Впрочем, к чести их надо сказать, едва только сторож, заслышав издали тяжелые шаги инспектора, пускал условное: «Тс... Толкач идет!..» — немедленно десятки услужливых, хотя и бесцеремонных рук принимались тормошить Ивана Архиповича.

Проспав довольно долгое время, Сахаров вдруг, точно от внезапного толчка, поднял голову, обвел класс мутными глазами и строго проговорил:

— Откройте ваши хрестоматии на тридцать шестой странице.

Все открыли книги с преувеличенным шумом. Сахаров указал кивком головы на соседа Буланина.

— Вот вы... господинчик... как вас? Да, да, вы самый... — прибавил он и замотал головой, видя, что Кривцов нерешительно приподнимается, ища вокруг глазами, — тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой... Как ваше заглавие? Что-с? Ничего не слышу. Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как, я спрашиваю?

— Фамилию говори, — шепнул сзади Сельский.

— Кривцов.

---

[1] Конечно, в настоящее время нравы кадетских корпусов переменились. Наш рассказ относится к той переходной эпохе, когда военные гимназии реформировались в корпуса. *(Прим. автора.)*

— Так и запишем. Что у вас там изображено на тридцать шестой странице, милостивый мой государь, господин Кривцов?

— «Чиж и голубь», — прочел Кривцов.

— Возглашайте-с.

Почти все преподаватели отличались какими-нибудь странностями, к которым Буланин не только привык очень быстро, но даже научился их копировать, так как всегда отличался наблюдательностью и бойкостью. Покамест в продолжение первых дней он разбирался в своих впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его мировоззрении: Яков Яковлевич фон Шеппе — иначе Петух — и отделенный дядька Томаш Циотух, родом литвин, которого воспитанники называли просто Четухой. Четуха служил, кажется, чуть ли не с основания прежнего кадетского корпуса, но на вид казался еще очень бодрым и красивым мужчиной, с веселыми черными глазами и черными кудрявыми волосами. Он свободно втаскивал каждое утро на третий этаж громадную вязанку дров, и в глазах гимназистов его сила превосходила всякие человеческие пределы. Он носил, как и все дядьки, куртку из толстого серого сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин долгое время думал, что эти куртки, от которых всегда пахло щами, махоркой и какой-то едкой кислятиной, выделываются из конского волоса, и потому мысленно называл их власяницами. Изредка Четуха напивался. Тогда он шел в спальню, забирался под одну из самых дальних кроватей (всем воспитанникам было известно, что он страшно боялся своей жены, которая его била) и спал там часа три, подложив под голову полено. Впрочем, Четуха не был лишен своеобразного добродушия старого солдата. Стоило послушать, как он, будя по утрам спящих воспитанников и делая вид, будто сдергивает одеяло, приговаривал с напускной угрозой: «Уставайтя! Уставайтя!.. А то я ваши булки зъим!.. Уставайтя!»

Первые дни Яков Яковлевич и Четуха только и делали, что «пригоняли» новичкам одежду. Пригонка оказалась делом очень простым: построили весь младший возраст по росту, дали каждому воспитаннику номер,

начиная с правого фланга до левого, а потом одели в прошлогоднее платье того же номера. Таким образом, Буланину достался очень широкий пиджак, достигавший ему чуть ли не до колен, и необыкновенно короткие панталоны.

В буднее время, осенью и зимой, гимназисты носили черные суконные курточки (они назывались пиджаками), без поясов, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными поясами и отличались от пиджаков золотыми галунами на петлицах и рукавах. Прослужив свой срок, мундир переделывался в пиджак и в таком виде служил уже до истления. Шинели с несколько укороченными полами выдавались гимназистам для ежедневного употребления под именем тужурок, или «дежурок», как их называл Четуха. В общем, в обыкновенное время младшие воспитанники имели вид чрезвычайно растерзанный и грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало против этого решительные меры. Зимою почти у всех «малышей» образовались на руках «цыпки», то есть кожа на наружной стороне кисти шершавела, лупилась и давала трещины, которые в скором времени сливались в одну общую грязную рану. Чесотка тоже была явлением нередким. Против этих болезней, как против всех остальных, принималось одно универсальное средство — касторовое масло.

III

Суббота. — Волшебный фонарь. — Бринкен торгуется. — Мена. — Покупка. — Козел. — Дальнейшая история фонаря. — Отпуск.

С поступления Буланина в гимназию прошло уже шесть дней. Настала суббота. Этого дня Буланин дожидался с нетерпением, потому что по субботам, после уроков, воспитанники отпускались домой до восьми с половиной часов вечера воскресенья. Показаться дома в мундире с золотыми галунами и в кепи, надетом набекрень, отдавать на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ, точно знакомому, будут прикладывать

руку к козырьку, вызвать удивленно-почтительные взгляды сестер и младшего брата — все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько стушевывало, оттирало на задний план предстоящее свидание с матерью.

«А вдруг мама не приедет за мной? — беспокойно, в сотый раз, спрашивал сам себя Буланин. — Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам? Или вдруг ей помешает что-нибудь? Пусть уж тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горничной, ну, да что уж делать, если без провожатого нельзя...»

Первый урок в субботу был закон божий, но батюшка еще не приходил.

В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелиного роя. Тридцать молодых глоток одновременно пело, смеялось, читало вслух, разговаривало...

Вдруг, покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик:

— Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! Совсем новый! Кто хочет купить? А? Продается по случаю очень дешево! Зам-мечательная парижская вещь!

Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста:

— Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, по случаю... Ей-богу, если бы не нужны были деньги, не продал бы. А то весь табак вышел, не на что купить нового. Волшебный фонарь с лампочкой и с двенадцатью зам-мечательными картинками... Новый стоил восемь рублей... Ну? Кто же покупает, братцы?

Долговязый Бринкен поднялся с своего места и потянулся к фонарю.

— Покажи-ка...

— Чего покажи? Смотри из рук.

— Ну, хоть из рук... а то в ящике-то не видно... Может быть, что-нибудь сломано...

Грузов снял крышку. Бринкен стал осматривать фонарь настолько внимательно, насколько это ему позволяли руки Грузова, крепко державшие ящик.

— Трубка-то... треснула, — заметил немец деловитым тоном.

— Треснула, треснула! Много ты понимаешь, немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста. Просто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю — за пятачок поправит.

Бринкен заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил:

— А сколько?

— Три.

— Рубля?

— А ты, может быть, думал — копейки? Ишь ловкий, колбасник!

— Н-нет, я не думал... я так просто... Больно дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?

Мена вообще была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах.

Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась полюбовно обеими сторонами. Нередко меновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые, гимназические, а тяжелые, накладные — буховские, первого и второго сорта, причем пуговицы с орлами ценились вдвое, или стальные перышки (и те и другие употреблялись для игры). Также меняли вещи — кроме казенных — на булки, на котлеты и на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взялись за руки, а третье, специально для этого приглашенное лицо разнимало их, произнося обычную фразу, освященную многими десятилетиями:

Чур, мена —
Без размена,
Чур, с разъемщика не брать,
А разъемщику давать.

Своеобразный опыт показывал, что присутствие при мене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным, если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться:

— А нас разнимал кто-нибудь?

— Нет, но были свидетели, — возражал другой менявшийся.

— Свидетели не считаются, — отрезывал первый, и его довод совершенно исчерпывал вопрос — дальше уже следовала рукопашная схватка.

— Ну, что ж? Будешь меняться? — приставал Бринкен.

Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу остзейца.

— На-ка-сь, выкуси.

— Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек, — торговался Бринкен, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой.

— Проваливай!

— И три десятка пуговиц. Все накладные и из них четырнадцать гербовых.

— А ну тебя к черту, перец. Отвяжись.

— И шесть булок.

— Пошел к черту...

— Утренних булок. Ведь не вечерних, а утренних.

— Полезь еще, пока я тебе в морду не дал! — вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. — Брысь, колбасник!.. Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтиной отдаю, так и быть...

Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой.

— Ну, последнее слово, ребята, — два целковых! — крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им. — Самому дороже... Ну — раз! два!

В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина.

— А-а! Буланка! — кивнул ему головой Грузов. — Покупай фонарь, Буланушка.

Буланин смутился.

— Я бы с радостью... только...

— Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?

— Да.

— Вот и возьми у родных. Эки деньги — два рубля! Небось два-то рубля тебе дадут? А? Дадут два рубля, Буланка?

Буланин и сам не мог бы сказать: дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст... Вывернусь как-нибудь», — успокаивал он последние сомнения.

— Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только...

— Ну вот и покупай, и прекрасно, — сунул ему Грузов в руки ящик. — Твой фонарь — владей, Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да уж очень ты мне, Буланка, понравился. А вы, братцы, — обратился он к новичкам, — вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чур, мена без размена... Слышите? Ты, гляди, не вздумай надуть, — нагнулся он внушительно к Буланину. — Отдашь деньги-то?

— Ну вот. Конечно, отдам.

— Забожись.

— Вот, ей-богу, отдам, честное слово...

— Ладно... А то у нас знаешь как!..

И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой.

Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки.

— А ну-ка, покажи фонарь, Буланка. Чего же ты его прячешь? Буланушка, дай посмотреть.

Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась: она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, нахо-

дившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости, — в руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее.

— Ты смотри, Буланка, — посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке, — смотри, деньги-то непременно принеси.

— Конечно, конечно, принесу.

— Смотри же... а то....

— А то что? — спросил шепотом Буланин, и его сердце сжалось от неясного предчувствия.

— Бить будет, — сказал Сельский также шепотом. — Ты его не знаешь... Он отчаянный. Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь.

— Нет, нет... зачем же? Я отдам... Что ж... — залепетал Буланин упавшим голосом.

После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке.

«И зачем мне было покупать этот фонарь? — думал он с бесполезной досадой. — Ну, пересмотрю я все картинки, а дальше что же? Во второй раз даже и неинтересно будет. Да и даст ли мама два рубля? Два рубля! Целых два рубля! А вдруг она рассердится, да и скажет: знать ничего не знаю, разделывайся сам, как хочешь. Эх, дернуло же меня сунуться!»

Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой, гимназический священник, а из посторонней церкви, по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил, маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая-угодника, человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором за провинившихся — почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминание.

Пещерский, собственно, даже и не был священником, а только дьяконом, но его все равно величали «батюшкой». Это был гигант, весь ушедший в гриву черных волос и в густую, огромную бородищу, причем капризная судьба, точно на смех, дала ему вместо креп-

кого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дискант. Вокруг его темных глаз — больших, красивых, влажных и бессмысленных — всегда лежали масленистые коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок не то елейности, не то разврата. Про силу Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, ниспосылаемых небом человеку, он прибавлял: «Внимайте, юноши, с усердием слову божию, и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах Пещерский вытаскивал из кармана медный пятак и тут же, на глазах изумленной аудитории, свертывал его в трубочку.

Но чем уж действительно его господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, с бесконечным «гм...» и «эге...», с повторениями одного и того же слова. Под его монотонное пиликанье невольно слипались глаза и голова сама собой опускалась на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, ниспосылаемых небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он «за всякую малость» записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за «кощунство, свиноподобие и строптивость». Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах, строптивость — в незнании урока, а кощунство — в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского «Козлом», — кто именно, осталось неизвестным.

На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя.

«А что будет, если мама не даст двух рублей? Тогда уже наверное одними маслянками не отделаешься, — размышлял Буланин. — Да, наконец, как я решусь ска-

зать ей о своей покупке? Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии не хватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета Сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря».

Но вдруг, точно искра, блеснуло в голове Буланина тревожное опасение, и даже сердце у него заекало от испуга... А что, если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинки или погнули что-нибудь? Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет...

Он поспешно, дрожащими руками, поднял крышку своего столика и, поддерживая ее головой, стал осматривать фонарь.

Нет, все в порядке... Трубка немного расходится по спаю, но это так и было... все слышали, на все отделение можно сослаться... И картинки все в целости — двенадцать штук... Вот еще лампочку надо осмотреть.

— Что это вы там у себя в столике делаете? — вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского.

Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распуская ее веером.

— Я... я... ничего... Я ничего не делаю... право, ничего, — залепетал Буланин.

— Что у вас там?.. Покажите, — сказал Козел, делая внезапно строгие и мутные глаза и кивком головы указывая на парту.

— Право же, ничего, батюшка! Ей-богу, ничего... Я просто... я книжку искал.

Бормоча эти несвязные слова, Буланин крепко держался за края крышки, но Козел с настойчивым, хотя и мягким усилием потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь.

— Так это вы говорите — ничего? А еще божитесь! Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и подавно... Я вам здесь слово божие объясняю, а вы

в игрушечки играетесь. Нехорошо. Очень нехорошо... Очень, очень нехорошо.

— Батюшка, позвольте... отдайте... Батюшка, я никогда не буду больше... Отдайте, пожалуйста, — взмолился Буланин.

— Сын мой, — произнес Козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, и его влажные глаза опять стали кроткими, — сын мой, я с удовольствием отдал бы вам вашу... вашу штучку... она мне ни на что не нужна, но... — на этом «но» Козел повысил голос и прижал ладони к груди, — но, подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от лиц, коим непосредственно вверено ваше воспитание? Нет! — Он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. — Я не могу принять этого на свою совесть, положительно не могу... нет, нет, и не просите... не могу-с...

В зале резко и весело прозвучала труба, играющая отбой [1]. Воспитанники высыпали из всех четырех отделений шумной, беспорядочной гурьбой. В течение десяти минут «переменки», полагавшейся между двумя уроками, надо было успеть и напиться, и покурить, и сыграть целую партию в пуговки, и подзубрить урок. Густая толпа обступила большую медную, с тремя кранами, вазу, наполненную водой. Около этой вазы всегда была привязана на цепи тяжелая оловянная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. Каждый нагибался к одному из кранов, брал его в рот и, напившись таким образом, уступал свое место следующему. Второклассники, наполнив «капернаум» и разбившись там на кучки, курили под прикрытием сторожа, поставленного у дверей.

Буланин не выходил из отделения. Он стоял у окна, заделанного решеткой, и рассеянно, с стесненным сердцем глядел на огромное военное поле, едва покрытое скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, видневшуюся неясной полосой сквозь серую пелену августовского дождя. Вдруг кто-то закричал в дверях:

---

[1] Перед каждым уроком горнист или барабанщик играл сбор, а после урока отбой. *(Прим. автора.)*

— Буланин! Здесь нет Буланина?

— Здесь. Что нужно? — обернулся тот.

— Ступай скорее в дежурную. Петух зовет.

— Батюшка нажаловался?

— Не знаю. Должно быть. Они между собой что-то разговаривают. Иди скорее!

Когда Буланин явился в дежурную, то Петух и Козел одновременно встретили его, покачивая головами: Петух кивал головой сверху вниз и довольно быстро, что придавало его жестам укоризненный и недовольный оттенок, а Козел покачивал слева направо и очень медленно, с выражением грустного сожаления. Эта мимическая сцена продолжалась минуты две или три. Буланин стоял, переводя глаза с одного на другого.

— Стыдно-с... совестно... Мне за вас совестно, — заговорил, наконец, Петух. — Так-то вы начинаете учение? На уроке закона божия вы... как бы сказать... развлекаетесь... игрушечками занимаетесь. Вместо того чтобы ловить каждое слово и... как бы сказать... запечатлевать его в уме, вы предаетесь пагубным забавам... Что же будет с вами дальше, если вы уже теперь... э... как бы сказать... так небрежно относитесь к вашим обязанностям?

— Нехорошо. Очень нехорошо, — подтвердил Козел, упирая на «о».

«Не пустит в отпуск», — решил в уме Буланин, и Петух, как бы угадывая его мысль, продолжал:

— Собственно говоря, я вас должен без отпуска оставить...

— Господи-ин капитан! — жалобно протянул Буланин.

— То-то вот — господин капитан. На первый раз я уж, так и быть, не стану лишать вас отпуска... Но если еще раз что-либо подобное — помните, в журнал запишу-с, взыскание наложу-с, под арест посажу-с... Ступайте!..

— Господи-ин капитан, позвольте мой фонарь.

— Нет-с. Фонаря вы более не получите. Сейчас же я прикажу дядьке его сломать и бросить в помойную яму. Идите.

— Я-к Як-лич, пожалуйста... — просил Буланин со слезами в голосе.

— Нет-с и нет-с. Идите. Или вы желаете (тут Петух сделал голос строже), чтобы я действительно... как бы сказать... оставил вас на праздник в гимназии? Ступайте-с.

Буланин ушел. Справедливость требует сказать, что Петух не сдержал своего слова относительно фонаря. Четыре года спустя Буланину по какому-то делу пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Там, в углу гостиной, была свалена целая горка игрушек, принадлежащих маленькому Карлуше — единственному чаду Петуха, — и среди них Буланин без труда узнал свой злополучный фонарь. Он содержался в образцовом порядке и, по-видимому, мог рассчитывать на почтенную долговечность в бережливом немецком семействе. Но сколько горьких, ужасных впечатлений вызвал тогда в отроческой памяти Буланина вид этого невинного предмета!..

Шестой урок в этот день был настоящей пыткой для новичков. Они совершенно не могли усидеть на месте, поминутно вертелись и то и дело с страстным ожиданием оглядывались на дверь. Глаза взволнованно блестели, пальцы одной руки нервно мяли пальцы другой, ноги под столом выбивали нетерпеливую дробь. Со всех сторон вопрошающие лица обращались к лопоухому Страхову, сидевшему на задней скамейке (у него одного во всем отделении были часы, вообще запрещенные в гимназии), и Страхов, подымая вверх растопыренные пятерни и махая ими, показывал, сколько еще минут осталось до трех часов.

Общее волнение до такой степени сообщилось Буланину, что он даже позабыл о несчастном фонаре и о связанных с ним грядущих неприятностях. Он, так же как и другие, суетливо болтал ногами, тискал ладонями лицо и судорожно ерошил на голове волосы, чувствуя, как у него в груди замирает что-то такое сладкое и немного жуткое, от чего хочется потянуться или запеть во все горло.

Но вот раздаются звуки отбоя, все вскакивают с мест, точно подброшенные электрическим током. Как

бы ни был строг и педантичен преподаватель, как бы ни был важен объясняемый им урок, у него не хватит духу испытывать в эту минуту выдержку учеников. «Благодарим тебе, создателю», — читает на ходу, с трудом пробираясь между скамейками, Сельский, но никому даже и в голову не придет перекреститься... С хлопаньем открываются и закрываются пюпитры, увязываются веревками книги и тетради, которые нужно взять с собою, а ненужные, как попало, швыряются и втискиваются в ящик.

Молитва кончена. Двадцать человек летят сломя голову к дверям, едва не сбивая с ног преподавателя, который с снисходительной, но несколько боязливой улыбкой жмется к стене. Из всех четырех отделений одновременно вырываются эти живые, неудержимые потоки, сливаются, перемешиваются, и сотня мальчишек мчится, как стадо молодых здоровых животных, выпущенных из тесных клеток на волю...

Прибежать в спальню, надеть мундир, шинель и кепи, разложенные Четухою заранее по кроватям отпускных, — дело одной минуты. Теперь остается пойти в «дежурную», где уже сидят все четыре воспитателя, и «явиться» Петуху.

— Господин капитан, честь имею...

— А почему у вас пуговицы не почищены?

Ах, эти проклятые пуговицы! Опять нужно бежать в спальню, оттуда в умывалку. Там на доске всегда лежат два больших красных кирпича.

Буланин быстро и крепко трет их один о другой, потом обмакивает мякоть ладони в порошок и так торопливо чистит пуговицы, что обжигает на руке кожу. Большой палец делается черным от меди и кирпича, но мыться некогда, можно и после успеть...

— Господин капитан, честь имею явиться. Воспитанник первого класса, второго отделения, Бу...

— А-а! Почистились? Хорошо-с. А за вами пришли или прислали кого-нибудь?

О господи, опять ожидание — вот мука!

В чайную залу, примыкающую к дежурной, то и дело выходят снизу из приемной дядьки и громогласно вызывают воспитанников:

— Свергин, Егоров, пожалуйте, за вами приехали; Бахтинский — в приемную!

«Неужели обо мне забыли дома? — шепчет в тревоге Буланин, но тотчас же пугается своей мысли. — Нет, нет, этого быть не может: мама знает, мама сама соскучилась... Ну, вот, идет снова дядька... Теперь уж наверно меня».

Сердце Буланина от ожидания бьется в груди до боли.

— За Лампарёвым приехали, — возвещает дядька равнодушным голосом, и это равнодушие кажется Буланину оскорбительным, почти умышленным.

«Это он нарочно так... видит ведь, как мне неприятно, и нарочно делает».

Наконец нервное напряжение начинает ослабевать. Его заменяют усталость и скука. В шинели становится жарко, воротник давит шею, крючки режут горло... Хочется сесть и сидеть, не поворачивая головы, точно на вокзале.

«Все кончено, все кончено, — с горечью думает Буланин, — я самый несчастный мальчик в мире, всеми забытый и никому не нужный...»

Досадные слезы просятся на глаза. Дядька выкликивает все новые и новые фамилии, но появление его уже не вызывает нетерпеливого подъема всех чувств: Буланин смотрит на него мутными, неподвижными и злобными глазами.

И вот, — как это всегда бывает, если ждешь чего-нибудь особенно страстно, — в ту самую минуту, когда Буланин уже собирается идти в спальню, чтобы снять отпускную форму, когда в его душе подымается тяжелая, удручающая злость против всего мира: против Петуха, против Грузова, против батюшки, даже против матери, — в эту самую минуту дядька, от которого Буланин нарочно отворачивается, кричит на всю залу:

— За Буланиным приехали! Просят поскорее одеваться!

И уж на этот раз голос дядьки кажется Буланину не умышленно равнодушным, а веселым, сочувственным, даже радостным.

IV

Триумф Буланина. — Герои гимназии. — Пари. — Мальчишка-сапожник. — Честь. — Опять герои. — Фотография. — Уныние. — Несколько нежных сцен. — На шарап! — Куча мала! — Возмездие. — Попрошайки.

Отпуск был великолепен. Кепи, надетое набекрень, и черная военная шинель внакидку привлекали на улице всеобщее внимание. Все, положительно все: и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок — с почтительным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина (во всяком случае, ему так казалось). В их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание: «Посмотрите, посмотрите — военный гимназист!.. Удивительно — такой молодой и уже носит военный мундир. Ведь у них, говорят, ужасная строгость, и даже учат маршировать с настоящими ружьями».

Дома, перед младшей сестрой, а в особенности перед восьмилетним Васенькой, Буланин старательно выдерживал внешнее достоинство и несколько суровый тон молодчинищи-старичка.

Когда Васенька, прельщенный видом золотых галунов, хотел их потрогать немного пальцем, старший брат заметил ему недовольным басом:

— Отстань! Чего лезешь? Испортишь мундир, а мне после достанется. «Каптенармус» нового ни за что не выдаст.

Эти новые технические слова, вроде как «каптенармус», «ранжир», «правый фланг», «горнист» и тому подобные, он особенно часто, иной раз без всякого повода, но с очень небрежным видом вставлял в свой разговор, чем Зина и Васенька были окончательно подавлены. Он рассказал им также и про Грузова, и про его изумительную силу (ведь вечер воскресенья был еще так далеко!), и понятно, что в доверчивых, порабощенных умах слушателей фигура Грузова приняла размеры какого-то мифического чудовища, чего-то вроде Соловья Разбойника, с «такими вот» — чуть ли не с человеческую голову величиной — кулаками.

— Это что еще! — продолжал Буланин удивлять свою маленькую аудиторию, и без того вытаращившую глазенки и разинувшую рты. — Это еще что-о! А вот у нас есть воспитанник Солянка, — его, собственно, фамилия Красногорский, но у нас его прозвали Солянкой, — так он однажды на пари съел десять булок. Понимаете ли, *малыши:* десять французских булок! И ничем не запивал! А?

— Десять булок! — повторили шепотом малыши и переглянулись почти в ужасе.

— Да, и выиграл пари. А другой — Трофимов — поспорил на двадцать завтраков, что он три недели ничего не будет есть... И не ел... Ни одного кусочка не ел.

Буланин в сущности только лишь слегка преувеличивал цифры в своих поразительных рассказах. Подобные пари были в гимназической жизни явлением обычным и предпринимались исключительно из молодечества. Один спорил, что он в течение двух дней напишет все числа от 1 до 1 000 000, другой брался выкурить, подряд и непременно затягиваясь всей грудью, пятнадцать папирос, третий ел сырую рыбу или улиток и пил чернила, четвертый хвастал, что продержит руку над лампой, пока досчитает до тридцати,... Порождались эти пари мертвящей скукой будничных дней, отсутствием книг и развлечений, а также полнейшим равнодушием воспитателей к тому, чем заняты вверенные их надзору молодые умы. Спорили обыкновенно на десятки, иногда даже на сотни утренних и вечерних булок, на котлеты, на третье блюдо, реже на гостинцы и деньги. За исходом такого пари весь возраст следил с живейшим интересом и не позволял мошенничать.

Мать Буланина была в полном упоении, — в том святом и эгоистическом упоении, которое овладевает всякой матерью, когда она впервые видит своего сына в какой бы то ни было форме, и к которому примешивается доля горделивого и недоверчивого удивления. «Как? Это *мой* сын? — говорит каждый их красноречивый взгляд. — Это-то и есть то самое странное существо, что когда-то жадно сосало мою грудь и прыгало босыми ножонками на моих коленях? И неужели

именно *его* я вижу теперь одетым в форму, почти членом общества, почти мужчиной?»

— Ах ты, мой кадет! Ах ты, кадетик мой милый! — поминутно говорила Аглая Федоровна, крепко прижимая голову сына к своей груди.

При этом она даже закрывала глаза и стискивала зубы, охваченная той самой внезапной, порывистой страстью, которая неудержимо заставляет молодых матерей так ожесточенно целовать, тискать, душить, почти кусать своих новорожденных ребят.

А Буланин сурово мотал головой и отпихивался.

В воскресенье утром она повезла его в институт, где учились ее старшие дочери, потом к теткам на Дворянскую улицу, потом к своей пансионской подруге, madame Гирчич. Буланина называли «его превосходительством», «воином», «героем» и «будущим Скобелевым». Он же краснел он удовольствия и стыда и с грубой поспешностью вырывался из родственных объятий.

Точно так же, как и вчера, все, кого только Буланин ни встречал на улицах, были приятно поражены видом новоиспеченного гимназиста. Буланин ни на секунду не усомнился в том, что весь мир занят теперь исключительно ликованием по поводу его поступления в гимназию. И только однажды это триумфаторское шествие было несколько смущено, когда на повороте в какую-то улицу из ворот большого дома выскочил перепачканный сажей мальчишка-сапожник с колодками под мышкой и, промчавшись стрелой между Буланиным и его матерью, заорал на всю улицу:

— Кадет, кадет, на палочку надет!..

Погнаться за ним было невозможно — гимназисту на улице приличествует «солидность» и серьезные манеры, — иначе дерзкий, без сомнения, получил бы жестокое возмездие. Впрочем, самолюбие Буланина тотчас же получило приятное удовлетворение, потому что мимо проезжал генерал. Этого случая Буланин жаждал всей душою: ему еще ни разу до сих пор не довелось стать во фрунт.

Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не за четыре законных, а по крайней мере за пятнадцать шагов, он прикладывал руку к козырьку,

высоко задирая кверху локоть, и таращил на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто бы усталый вид, точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, не понятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенных глубоких знаний. И так как он был совсем еще неопытен в разбирании погонов и петличек, то с одинаковым удовольствием отдавал честь и фельдфебелям и акцизным чиновникам, а один раз даже козырнул казачьему денщику, несшему судки с офицерским обедом, на что денщик тотчас же ответил без малейшего знака смущения, но чрезвычайно вежливо, переложив судки из правой руки в левую.

Случилось так, что мать дернула его за рукав и тревожно шепнула:

— Миша, Миша, смотри, ты прозевал офицера (она испытывала при этих встречах совершенно те же наивные, гордые и приятные ощущения, как и ее сын).

Буланин отозвался презрительным басом:

— Ну, вот! Стоит о всяком офицеришке заботиться. Наверно, только что произведенный.

Он, конечно, слегка важничал перед матерью, бравируя своей смелостью и просто-напросто повторяя грубоватое выражение, слышанное им от старых гимназистов. У старичков, особенно у «отчаянных», считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже, если можно, сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой.

— Как я его здорово надул! — рассказывал часто какой-нибудь Грузов или Балкашин. — Прохожу мимо — нуль внимания и фунт презрения. Он мне кричит: «Господин гимназист, пожалуйте сюда». А я думаю себе: «На-ка-сь, выкуси». Хòду! Он за мной. Я от него. Он вскакивает на извозчика. «Ну, думаю: дело мое — табак, поймает». Вдруг вижу сквозные ворота, моментально — шмыг! и калитку на запор... Покамест

он стоял там да ругался, да дворника звал, я давно уж удрать успел.

В тот же день Аглая Федоровна повела сына в фотографию. Нечего и говорить о том, что фотограф был несказанно поражен и обрадован честью сделать снимок с такого великолепного гимназиста. После долгих совещаний решили снять Буланина во весь рост: правой рукой он должен опираться на колонну, а в левой, опущенной вниз, держать кепи. Во все время сеанса Буланин был полон неподражаемой важности, хотя справедливость требует отметить тот факт, что впоследстви, когда фотография была окончательно готова, то все двенадцать карточек могли служить наглядным доказательством того, что великолепный гимназист и будущий Скобелев не умел еще как следует застегнуть своих панталон.

За обедом были исключительно блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, навеки потерял свой доселе непобедимый аппетит... Он уже чувствовал, что мало-помалу приближается конец отпуска, и перед ним вставало арестантское лицо Грузова — клыкастое, желтое и грубое, его энергично сжатый кулак и зловещая угроза, произнесенная сиплым голосом: «А то... у нас знаешь как!..»

По мере того как стрелка стенных часов приближалась к семи, возрастала тоска Буланина, прямо какая-то животная тоска — неопределенная, боязливая, низменная и томительная. После обеда Зина села за рояль разучивать свои экзерсисы. Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись, бесконечно повторяясь все снова и снова, скучные гаммы. Мутные сумерки вползли в окна и сгустились по дальним углам... Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом в жесткую и холодную спинку кожаного дивана.

— Миша, отчего ты? Что с тобой, Мишенька? — спросила, подбежав к нему, встревоженная Аглая Федоровна.

Момент был очень благоприятный, и Буланин это чувствовал. Теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключение с волшебным фонарем, но стран-

ная, стыдливая робость сковала его язык, и он только пробормотал, возя носом:

— Так себе... мне тебя жалко, мамочка...

В половине седьмого он и Аглая Федоровна стали собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы: десяток яблоков, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья.

— Смотри, Миша, — внушала мать, — варенье понемножку кушай... с чаем... вот тебе и хватит на целую неделю... Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют...

Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что «кадет... *Буланин...* в течение отпуска находился... *у меня* и вел себя... *очень хорошо.* Подпись родителей или лиц, их заменяющих... *А. Буланина».*

Ехать пришлось через весь город. И мать и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустыннее становилась местность... Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка; в ней дрожали, расплываясь, отражения уличных фонарей. Потом по обеим сторонам мостовой потянулись длинные, низкие, однообразные казармы с неосвещенными окнами. Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии, бывший кадетский корпус, а еще раньше — дворец екатерининского вельможи. Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы; ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи.

У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг заговорил ложный стыд: сцена могла показаться чересчур нежной, может быть даже смешной, во всяком случае не в духе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалостливой любовью к матери и болью своего близкого одиночества, он тем не менее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и «в случае чего-

нибудь» немедленно писал (на что ему были уже даны конверты с заранее написанными адресами и с приклеенными марками), он, скрываясь в дверях, буркнул:

— Хорошо... Ладно, ладно...

Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими, частыми крестами.

Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чугунной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким, беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу, около покинутой им матери.

«Вот она села в пролетку, вот извозчик круто заворачивает лошадь назад, вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд», — думал Буланин, глотая слезы, и все-таки ступенька за ступенькой подымался вверх.

Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не сознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына.

Наконец он «явился» к дежурному воспитателю (в каждом возрасте дежурили по очереди свои воспитатели), который осмотрел очень тщательно его узелок. Так как вечерняя молитва уже кончилась, то отпускные из дежурной шли прямо в спальню.

Там, у самых дверей, их дожидалось человек двенадцать второклассников. На Буланина, едва только он вошел со своим белым узелком, эта орава накинулась, как стая голодных волков.

— Новичок, угости! Новичок, поделись! Дай гостинчика, Буланка!..

И все руки тянулись к узелку, сталкиваясь и цепляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться вперед и отпихивал плечом мешавшего товарища.

— Господа... да позвольте же... я сейчас, — бормотал растерянный, оглушенный Буланин, — я сейчас... только... пустите же... я не могу всего...

Он поспешно развязал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырывавших его, и сунул в чью-то руку яблоко. Но в это время на всю копошащуюся вокруг Буланина массу налетел какой-то огромный рыжий малый и закричал неистовым голосом:

— На шарап!

В ту же секунду белый узелок, подброшенный снизу сильным ударом, взвился на воздух. Яблоки и лепешки разлетелись из него во все стороны, точно из лопнувшей ракеты, а банка с вареньем треснула, ударившись об стену. Свалка тотчас же закипела на полу, в темноте слабо освещенной спальни. Старички на четвереньках гонялись за катящимися по паркету яблоками, вырывая их один у другого из рук и изо рта; некоторые немедленно вступили врукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку с вареньем, поднял ее и, запрокинув голову назад, лил варенье прямо в свой широко раскрытый рот. Другой заметил это и стал вырывать. Банка окончательно разбилась в их руках; оба обрезались до крови, но, не обращая на это внимания, принялись тузить друг друга.

На шум общей свалки прибежало еще трое старичков. Однако они быстро сообразили, что пришли слишком поздно, и тогда один из них, чтобы хоть немного вознаградить себя за лишение, крикнул:

— Куча мала, ребята!..

Произошло что-то невообразимое. Верхние навалились на нижних, нижние рухнули на пол и делали судорожные движения руками и ногами, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Те, кому это удавалось, в свою очередь карабкались на самый верх «мала-кучи». Некоторые хохотали, другие задыхались под тяжестью давивших их тел, ругались, как ломовые извозчики, плакали и в остервенении кусали и царапали первое, что им попадалось, — все равно, будь это рука или нога, живот или лицо неизвестного врага.

Повергнутый сильным толчком на землю, Буланин почувствовал, как чье-то колено с силою уперлось

в его шею. Он пробовал освободиться, но то же самое колено втиснуло его рот и нос в чей-то мягкий живот, в то время как на его спине барахтались еще десятки рук и ног. Недостаток воздуха вдруг придал Буланину припадочную силу. Ударив кулаком в лицо одного соседа и схватившись за волосы другого, он рванулся и выскочил из кучи.

Он не успел еще подойти к своей кровати, как его окликнули:

— А! Буланка! А ну-ка, иди сюда.

Это был Грузов. Буланин сразу узнал его голос и почувствовал, что бледнеет и что у него задрожали колени. Однако он подошел к Грузову, стоявшему в амбразуре окна и раздиравшему зубами половину курицы.

— Принес? — лаконически спросил Грузов, вытирая руки о грудь пиджака.

— Голубчик... ей-богу, не мог, — жалобно забормотал Буланин. — Ну, вот честное, благородное слово, никак не мог. В следующее воскресенье уж непременно принесу... непременно...

— Отчего же ты не мог сегодня? Отжилить хочешь, подлец? Давай назад фонарь...

— У меня его нет, — прошептал Буланин. — Петух отобрал... я...

Он не успел договорить. Из его правого глаза брызнул целый сноп ослепительно белых искр... Оглушенный ударом грузовского кулака, Буланин сначала зашатался на месте, ничего не понимая. Потом он закрыл лицо руками и зарыдал.

— Слышишь, чтобы в следующий раз ты мне или фонарь возвратил, или принес деньги. Только уж теперь не два, а два с полтиной, — сказал Грузов, опять принимаясь за курицу. — У тебя есть гостинцы-то по крайней мере?

— Нет... были яблоки и лепешки... и банка малинового варенья была... Я хотел все тебе отдать, — невольно солгал Буланин, — да у меня их сейчас только отняли старички...

— Эх, ты!.. — протянул Грузов презрительно, и вдруг, с мгновенно озверевшим лицом, ударив изо всех сил Буланина по затылку, он крикнул: — Убирайся ты

к черту, жулябия! Ну... живо!.. Чтобы я тебя здесь больше не видел, турецкая морда!..

До глубокой ночи шныряли старички между кроватями первоклассников, подслушивая и подглядывая, не едят ли они что-нибудь тайком. Некоторые действовали партиями, другие — в одиночку. Если новичок отказывался «угостить», то его вещи, шкафчик, кровать и его самого подвергали тщательному обыску, наказывая за сопротивление тумаками.

У своих одноклассников они хотя и не отнимали лакомств, но выпрашивали их со всевозможными унижениями, самым подлым, нищенским тоном, с обилием уменьшительных и ласкательных словечек, припоминая тут же какие-то старые счеты по поводу каких-то кусочков.

Буланин уже лежит под одеялом, когда над его головой останавливаются двое второклассников. Один из них называется Арапом (фамилии его Буланин не знал). Он, громко чавкая и сопя, ест какие-то сладости. Другой — Федченко — попрошайничает у него.

— Ара-ап, да-ай кусочек шоколаду, — тянет Федченко умильным тоном.

Арап, не отвечая, продолжает громко обсасывать конфету.

— Ну, Арапчик... ну, голубчик... Са-амый маленький... хоть вот такой вот...

Арап молчит.

— Это свинство с твоей стороны, Арап, — говорит Федченко. — Это подлость.

Арап, сопя носом и продолжая сосать шоколад, отвечает своим картавым голосом:

— Убирлайся к черлту!

— Арапушка!

— Убирлайся, убирлайся... Нынче не суббота, не подают.

— Ну, хоть са-амый маленький. Дай хоть из рук откусить.

— Не прлоедайся.

— Ладно же, сволочь ты этакий! — говорит Федченко, вдруг рассвирепев. — Попросишь ты у меня когда-нибудь гостинца!

— Даже и не подумаю прлосить, — сосет равнодушно Арап свой шоколад.

— Я тебе это припомню, дрянь, — не унимается Федченко. — Ты небось забыл, как я тебя, подлеца, угощал? Забыл?

Арап вдруг оживляется, и слышно, что он с хлопаньем вынимает шоколад изо рта.

— Ты?.. Меня?.. Угощал?.. Когда?

— Когда? — с задором переспрашивает Федченко.

— Да, когда?

— Когда?

— Ну, когда же? Ну?

— Когда? А помнишь, у меня были пирожки с капустой. Что ж, скажешь, я с тобой не поделился? А? Не поделился?

— Все ты врлешь. Никаких у тебя пирложков не было, — хладнокровно отвечает Арап и опять принимается за шоколад.

Наступает длинное молчание, в продолжение которого — Буланин чрезвычайно живо себе это представляет — Федченко не сводит жадных глаз со рта Арапа. Потом снова раздается тот же униженный, нищенский голос:

— Ара-апчик... голу-убчик... ну, дай же маленький кусочек... Ну, хоть вот такой крошечный... Самую капельку...

Слышно, как Федченко цепляется за рукав Арапа и как Арап отталкивает его локтем.

— Ну, чего в самом деле прлистал? Сказано: убирлайся, и убирлайся. Я у тебя на прлошлой неделе прлосил мячик, а ты мне что сказал?

— Ей-богу, Арапчик, не мой мячик был. Вот тебе крест — не мой. Это Утконоса был мячик, а он не велел никому давать. Ты знаешь, я тебе всегда с удовольствием... Ну, Арапчик, дай же откусить кусочек.

Неизвестно, что надоедает Арапу: шоколад или приставанье товарища, но он неожиданно смягчается.

— Черлт с тобой, кусай. Вот до этих пор, где я ногтем дерлжу. На.

— Ишь ты, ловкий. Обсосанный конец даешь, — обижается Федченко. — Дай с другого.

— А! Не хочешь — не нужно.

— Ну, ладно уж, ладно, — испуганно торопится Федченко. — Давай, все равно. Скупердяй.

Слышится хрустение откусываемого шоколада и ожесточенное чавканье. Спустя минуту опять слышится молящий голос:

— А что же апельсинчика-то, Арапчик? Дай хоть пол-ломтика.

Но конца этой торговли Буланин уже не слышит. Перед его глазами быстрым вихрем проносятся городские улицы, фотограф с козлиной бородкой, Зиночкины гаммы, отражение огней в узкой, черной, как чернило, речке, Грузов, пожирающий курицу, и, наконец, милое, кроткое родное лицо, тускло освещенное фонарем, качающимся над подъездом... Потом все перемешивается в его утомленной голове, и его сознание погружается в глубокий мрак, точно камень, брошенный в воду.

V

Нравственная характеристика. — Педагогика и собственный мир. — Имущество и живот. — Что значит дружиться и делиться. — Форсилы. — Забывалы. — Отчаянные. — Триумвират. — Солидные. — Силачи.

Каждые три месяца все воспитатели и учителя гимназии собирались, под председательством директора, внизу, в общей учительской, на педагогический совет. Там устанавливались воспитательные и учебные приемы, определялось количество уроков по различным предметам, обсуждались важнейшие проступки воспитанников. Ввиду последнего каждый отделенный воспитатель обязан был вести «характеристики» своих воспитанников. Для этого ему и выдавались, по числу гимназистов его отделения, несколько десятков синих с желтыми корешками тетрадок, на обложке которых печатным шрифтом было обозначено: [1]

---

[1] Конечно, держались эти характеристики в строжайшем секрете от воспитанников и их родственников, — от вторых, вероятно, по причинам похвальной авторской стыдливости. (*Прим. автора.*)

Нравственная характеристика

воспитанника N-ской военной гимназии
«   » класса «   » отделения

Имя:
Фамилия:

Воспитателю оставалось только заполнить на обложке пустые места и затем излагать общими фразами свои бесхитростные наблюдения. И воспитатель, добросовестно относясь к своему долгу, писал: «золотое сердце, но ленив крайне»; «видно дурное влияние домашней среды» (и это чаще всего писалось в характеристиках); «с небольшими способностями, но весьма старательный» и так далее. Затем успехи в науках и благонравие поощрялись на публичном акте 30 августа похвальными листами и разрозненными томами Брема, а лентяев, шалунов и порочных оставляли без отпуска, лишали обедов и завтраков, ставили под лампу, ставили за обедом к барабанщику, сажали в карцер и даже изредка посекали. И все это взятое вместе составляло, по мнению начальства, *«твердо обдуманную воспитательную систему, принятую педагогическим советом на основании глубокого и всестороннего изучения вверенных его руководству детских натур и прочного доверия, питаемого воспитанниками к их воспитателям».*

А между тем внутренняя, своя собственная жизнь детских натур текла особым руслом, без ведома педагогического совета, совершенно для него чуждая и непонятная, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное русло было тесно и точно ограничено двумя недоступными берегами: с одной стороны — всеобщим безусловным признанием прав физической силы, а с другой — также всеобщим убеждением, что начальство есть исконный враг, что все его действия предпринимаются исключительно с ехидным намерением учинить пакость, стеснить, урезать, причинить боль, холод, голод, что воспитатель с бо́льшим аппетитом ест обед, когда рядом с ним сидит воспитанник, оставленный без обеда...

И как это ни покажется странным, но «свой собственный» мальчишеский мирок был настолько прочнее и устойчивее педагогических ухищрений, что всегда брал над ними перевес. Это уже из одного того было видно, что если и поступал в число воспитателей свежий, сильный человек с самыми искренними и гуманными намерениями, то спустя два года (если только он сам не уходил раньше) он опускался и махал рукой на прежние бредни.

Капля за каплей в него внедрялось убеждение, что эти проклятые сорванцы действительно его вечные, беспощадные враги, что их необходимо выслеживать, ловить, обыскивать, стращать, наказывать как можно чаще и кормить как можно реже. Таким образом собственный мир торжествовал над формалистикой педагогического совета, и какой-нибудь Грузов с его устрашающим давлением на малышей, сам того не зная, становился поперек всей стройной воспитательной системы.

Каждый второклассник имел над собственностью каждого малыша огромные права. Если новичок не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок безнаказанно вырывал их у него из рук или выворачивал наизнанку карманы его панталон. Большинства вещей новичка, по своеобразному нравственному кодексу гимназии, старичок не смел касаться, но коллекционные марки, перышки и пуговицы, как предметы отчасти спортивного характера, могли быть отбираемы наравне с гостинцами. На казенную пищу также нельзя было насильственно покушаться: она служила только предметом мены или уплаты долга.

Вообще сильному у слабого *отнять* можно было очень многое — почти все, но зато весь возраст зорко и ревниво следил за каждой «пропажей». Воровство было единственным преступлением, которое доводилось до сведения начальства (не говоря уже о самосуде, производимом над виновными), и к чести гимназии надо сказать, что воров в ней совершенно не было. Если же кто и грешил нечаянно, то потом уже закаивался на всю жизнь. Но и здесь наряду с суровой честностью по отношению к товарищам «своя собственная»

нравственность давала вдруг неожиданный скачок, разрешая и даже, пожалуй, поощряя всякого рода кражу у воспитателей. Конечно, крали чаще всего съестное из шкафчиков в офицерских коридорах. Крали вина и наливки, и крали обыкновенно со взломом висячих замков.

Кроме прав имущественных, второклассник пользовался также правами и над «животом» малыша, то есть во всякое время дня и ночи мог сделать ему из лица «лимон» или «мопса», покормить «маслянками» и «орехами», «показать Москву» или «квартиры докторов «ай» и «ой», «загнуть салазки», «пустить дым из глаз» и так далее.

Новичок с своей стороны обязывался переносить все это терпеливо, по возможности вежливо и отнюдь не привлекать громким криком внимания воспитателя. Выполнив перечисленную выше программу увеселений, старичок обыкновенно спрашивал: «Ну, малыш, чего хочешь, смерти или живота?» И услышав, что малыш более хочет живота, старичок милостиво разрешал ему удалиться.

Всякий новичок считался общим достоянием второго класса, но бывали случаи, что один из «отчаянных» всецело завладевал каким-нибудь особенно питательным малышом, брал его, так сказать, на оброк. Для этого отчаянный оказывал сначала новичку лестное внимание, ходил с ним по зале обнявшись и в конце концов обещал ему свое великодушное покровительство.

— Обижает тебя кто-нибудь, малыш? — спрашивал заботливо отчаянный. — Ты мне скажи правду, не бойся...

— Нет... то есть, конечно, обижают... Вот в воскресенье пирожные отняли...

— Кто же отнял-то?

— Я и сам не знаю... Человек пять... Открыли парту и насильно отняли...

— Ну, уж это подлость! — возмущался отчаянный. — Разве же можно так поступать? А?

— Конечно, нельзя...

— Прямо — свинство... Раз пирожные твои — никто не смеет их брать... Правда ведь?

— Конечно, правда... А то вот еще, — вспоминает новичок, делаясь смелее, — Занковский вчера мне руку вывернул и очень больно по спине ударил...

— Вот скотина-то! — негодовал отчаянный. — А ты знаешь что? Если тебя кто-нибудь тронет, ты мне скажи... Я уж за тебя заступлюсь. Слышишь?

— Я скажу. Спасибо тебе.

— И знаешь, что еще? Давай с тобой будем дружиться... Ты мне очень понравился с первого раза.

— Давай. Конечно, давай, — радостно соглашался новичок.

— Дружиться и делиться? Ладно?

— Да, да, — ликовал новичок. — Вот-то будет хорошо!

Новые друзья протягивали друг другу руки, и ближайший свидетель, которому вкратце объясняли дело, разнимал их, освящая этой формальностью обоюдный договор.

Но заключенная дружба вовсе не требовала, чтобы старичок, получив где-нибудь кусок пирога или десяток слив, тотчас же принес молодому другу половину, — молодой друг из этой добычи не получал ни крошечки. Зато если младший дольщик приносил из дому кулечек с провизией, то по крайней мере семь восьмых его содержимого отбиралось старшим дольщиком, глядевшим на них как на своего рода постоянный доход. Конечно, эти самые гостинцы мог «вытрясти из новичка» и первый встречный второклассник, но, как уже сказано было выше, авторитет физической силы стоял в гимназии настолько высоко, что ему подчинялись не только за страх, но и за совесть.

Этот всеобщий культ кулака очень ярко разделил всю гимназическую среду на *угнетателей* и *угнетаемых,* что особенно было заметно в младшем возрасте, где традиции нерушимо передавались из поколения в поколение. Но как между угнетателями, так и между угнетаемыми замечались более тонкие и сложные категории.

Над слабейшим можно было не только «форсить», но можно было и «забываться», и Буланин весьма скоро уразумел разницу между этими двумя действиями.

«Форсила» редко бил новичка по злобе или ради вымогательства и еще реже отнимал у него что-нибудь, но трепет и замешательство малыша доставляли ему лишний раз сладкое сознание своего могущества.

— Эй, молодой человек, псст!.. Молодой человек, пожалуйте сюда! — окликает форсила новичка, который в длинный осенний вечер бесцельно бродит по зале и с тоской заглядывает через запотевшие окна в холодную непроницаемую тьму.

Новичок вздрагивает, оборачивается, неуверенно подходит к рослому второкласснику и останавливается молча в двух шагах от него.

— Хочешь орешков, малыш? — спрашивает форсила.

Новичок молчит. Он предчувствует, что орехи, предложенные ему так внезапно, неудобоваримы.

— Ну, чего рот разинул? Корова влетит. Хочешь орехов, я тебя спрашиваю?

— Я... не знаю... — бормочет, заикаясь, новичок.

— Не знаешь, так надо попробовать... Держи пошире карман: раз — орех! два — орех! Три, четыре...

Форсила методически щелкает малыша в лоб, пока у того на глазах не выступят слезы.

— Довольно? Накушался? Ну, а теперь для пищеварения не хочешь ли на скрипке поиграть?

И на этот раз, не дожидаясь согласия малыша, он берет в руку последние суставы его пальцев и, поочередно нажимая на них, заставляет импровизированную скрипку гримасничать и взвизгивать от боли.

— Хорошая скрипка, — говорит он, оставив, наконец, в покое руку новичка. — Ты ее береги, братец: это скрипка дорогая...

Но форсила все это проделывает «не изо всех сил» и не со зла, потому что сейчас же он совсем добродушным тоном спрашивает:

— Послушай-ка, малыш, а ты знаешь какие-нибудь истории?

— Что? — удивляется и не понимает новичок.

— Умеешь ты рассказывать какие-нибудь истории? Ну... там.. про разбойников или про войну... про дикарей тоже есть хорошие повести...

И вот форсила ложится на подоконник и закрывает глаза, а новичок стоит в это время около своего случайного повелителя и рассказывает, вспоминая читанное или изобретая из своей головы занимательные эпизоды. Едва он замолчит, как повелитель спрашивает полусонным голосом:

— А дальше?

Гораздо страшнее для первоклассников (кроме второгодних: этих не только не трогали, но, в память прошлого года, позволяли им даже заходить во второй класс) были «забывалы». Их насчитывалось меньше, чем первых, но вреда они причиняли несравненно больше. Забывала, «изводя» новичка или слабенького одноклассника, занимался этим не от скуки, как форсила, а сознательно, из мести или корыстолюбия, или другого личного мотива, с искаженной от злости физиономией, со всей беспощадностью мелкого тирана. Иногда он по целым часам мучил новичка, чтобы «выжать» из него последние, уцелевшие от расхвата жалкие остатки гостинцев, запрятанные где-нибудь в укромном уголке. Шутки забывалы носили жестокий характер и всегда оканчивались синяком на лбу жертвы или кровотечением из носу. Особенно и прямо-таки возмутительно злы были забывалы по отношению к мальчикам, страдающим каким-нибудь физическим пороком: заикам, косоглазым, кривоногим и т. п. Дразня их, забывалы проявляли самую неистощимую изобретательность.

Но и забывалы были ангелами в сравнении с «отчаянными», этим бичом божиим для всей гимназии, начиная с директора и кончая самым последним малышом. Удивительно, какими только путями, вследствие каких причин и уродливых нравственных воздействий мог сложиться этот безобразный тип! Вероятнее всего, он остался как печальное и извращенное наследие прежних кадетских корпусов, когда дикие люди, выросшие под розгой, в свою очередь розгой же, употреблявшейся в ужасающем количестве, подготовляли дру-

гих диких людей к наилучшему служению отечеству; а это служение опять-таки выражалось в неистовой порке подчиненных... И такое предположение о происхождении отчаянных тем более справедливо, что сами отчаянные изредка называли себя «закалами» или «закаленными» — термин, как свидетельствуют мемуары николаевских майоров, возникший в корпусах именно в первой половине прошлого столетия, в эпоху знаменитых суббот, когда героем считался тот, кто «назло начальству» без малейшего стона выдерживал сотни ударов.

Прежде всего отчаянные выделялись от товарищей наружностью и костюмом. Панталоны и пиджак у них всегда бывали разорваны в лохмотья, сапоги с рыжими задниками, нечищеные пуговицы позеленели от грязи... Чесать волосы и мыть руки считалось между отчаянными лишней, пожалуй даже вредной, роскошью, «бабством», как они говорили... Кроме того, так как отчаянный принадлежал в то же время к страстным игрокам, то правый рукав пиджака у него был постоянно заворочен, а в карманах всегда бренчали десятки пуговиц и перьев.

Воспитатели побаивались отчаянных, потому что отчаянный «никому не спускал». Если к нему кто-нибудь из воспитателей и учителей обращался на «ты» (это иногда случалось), то отчаянный обрывал хриплым басом:

— Ты мне не тычь! Я тебе не Иван Кузьмич!

В конце концов начальство «махало на них рукой» и дожидалось только, когда отчаянный, не выдержав вторично экзамена в одном и том же классе, оставался на третий год. Тогда его отправляли в Ярославскую прогимназию, куда ссылали из всех гимназий России все, что было в них неспособного и порочного. Но Ярославская прогимназия — и та сортировала отчаянных и спроваживала их в свою очередь в Вольскую прогимназию. Об этой Вольской прогимназии между воспитанниками ходили самые недостоверные, но ужасные слухи. Говорили, что там прогимназистов обучают различным ремеслам простые кузнецы, слесаря и плотники, которым предоставлено право бить своих учени-

ков; говорили также, что там по субботам обязательно дерут всех учеников: виноватых — в наказание, а правых — в поощрение, на что будто бы каждую субботу истребляются целые воза ивовых прутьев.

Каждый отчаянный знал, что рано или поздно ему не миновать Вольской, и постоянно бравировал этим, бравировал, если только можно привести такое сравнение, с тем же напускным самохвальством, с каким арестант, осужденный на каторгу за крупное убийство, хвастается и куражится перед мелкими воришками:

— Ну что ж, в Вольскую так в Вольскую! — говорил отчаянный, сплевывая сквозь зубы. — Не боюся никого, кроме бога одного!

Трое отчаянных особенно резко запечатлелись в памяти Буланина, и впоследствии, уже окончив гимназию, он нередко видел во сне, как ужасный кошмар, их физиономии. Эти трое были: Грузов, Балкашин и Мячков — все трое без роду, без племени, никогда не ходившие в отпуск и взятые в гимназию из какого-то благотворительного пансиона. Вместе они составляли то, что в гимназии называлось «партией».

Грузова товарищи прозвали Волком (конечно, никому из «слабеньких» не приходило в голову назвать его так), и действительно, в нем было много общего с этим ночным грабителем: и развалистая походка, и взгляд исподлобья, и хищные инстинкты, и подлая смесь наглости с трусостью. Перед силачами, перед богатыми товарищами он униженно заискивал. Некоторые, не без основания, подозревали его в двух-трех кражах, но оставляли его в покое частью по неимению улик, частью из боязни его злопамятства. Из всей партии он был бесспорно самый глупый, самый сильный и самый трусливый. Весь возраст отлично помнил, что однажды, когда Грузова вели сечь, он ползал у директора в ногах и целовал его сапоги. При каждом слове, на каждом шагу он ругался, как пьяный солдат, самой площадной бранью, и это служило ему оружием, при помощи которого он держал в руках даже силачей. Всякий намек на сентиментальность, всякое проявление порядочности: жалость к обижаемому мальчику, сострадание к истязуемому животному, участие к боль-

ному преподавателю — в какой бы форме эти чувства ни выразились — он встречал их таким градом сквернословия, что виновный невольно начинал стыдиться своего хорошего движения. И его глумление действовало тем неотразимее, что Грузов все-таки обладал хотя и грязным и циническим, но несомненным юмором.

Второй из партии — Балкашин — был прямо-таки чудовищем. Все животные инстинкты, какие себе только можно представить, развились у этого двенадцатитринадцатилетнего мальчика до невероятной степени. Награбив целую гору сластей и домашней провизии, он прятал всю добычу в постель и потом, покрывшись с головой одеялом, поедал ее потихоньку, как настоящий зверь. После рождественских праздников он выкидывал из своего стола все учебные пособия, так как туда иначе не могли бы вместиться нахватанные им гостинцы. И он ел их с утра до вечера, во время уроков и в переменки, до обеда и после него. Едва успев обглодать курицу, он брался за смоквы, потом без малейшей передышки переходил к свиному салу, которое тотчас же закусывал тянучками и калужским тестом. Случалось, что среди этой оргии лицо Балкашина вдруг принимало бледно-зеленый оттенок, а глаза становились мутными и страдальческими... Но и тогда, прежде чем стрелой выскочить из класса, он находил в себе настолько самообладания, чтобы запереть свой столик на огромный висячий замок. При добывании гостинцев Балкашин не брезговал никакими средствами, а за обедом и завтраком подбирал и выпрашивал всякие огрызки.

Если он не ел, то непременно спал где-нибудь: или под лавкой в «камчатке», или в нише коридора под ворохом шинелей. Он был развращен действительно уж «до мозга костей». Невозможно описать всех тех гадостей, какие он проделывал с некоторыми из первоклассников, проделывал открыто, так сказать всенародно, нимало не смущаясь вниманием собравшейся публики.

Точно на смех, судьба подарила этому негодяю физиономию настоящего херувима: нежные шелковистые волосы льняного оттенка, большие голубые глаза с длинными, загнутыми вверх ресницами, очаровать-

ного рисунка рот. К тому же он обладал прекрасным голосом и считался в гимназическом церковном хоре постоянным солистом.

Душою «партии», инициатором всех совершаемых ею пакостей был бесспорно Мячков, самый изобретательный и самый зловредный член триумвирата. Мячков несомненно носил в себе зачатки лютой наследственной чахотки: об этом говорила его узкая, впалая грудь, землисто-желтый цвет лица, сухие губы, облипшие вокруг резко очерченных челюстей, и большие черные глаза с желтыми белками и нехорошим блеском. Очень может быть, что сознание болезни и смутное предчувствие близкой смерти (он тогда уже покашливал, а умер шестнадцати лет) поддерживали в нем эту нечеловеческую, беспощадную, вечную озлобленность. Своей утонченной жестокостью он возбуждал отвращение даже в тех из старичков, нервы которых, казалось, притерпелись ко всему на свете... Своих жертв он даже не мучил, а прямо пытал — обдуманно, постепенно, с очевидным наслаждением, стараясь как можно более продлить этот приятный акт. В нем было что-то ненормальное, болезненное и страшное... Это все чувствовали, но никто не умел свести свои наблюдения даже в метком прозвище.

Одна из любимых штук Мячкова заключалась в том, что он подходил к новичку и заводил с ним длинный дружелюбный разговор. Новичок таял. Между прочим и как будто бы вскользь Мячков хвалил сложение своего собеседника:

— А ты, должно быть, очень сильный, братец. Гляди, в будущем году из первых силачей станешь. Только ты, наверно, силу скрываешь. Грудь-то, грудь у тебя какая молодецкая!

Новичок, польщенный комплиментом, краснел от удовольствия и еще больше выпячивал грудь.

— Ишь ты, просто как печка, — продолжал расхваливать Мячков. — Я думаю, если тебя по груди кто ударит — тебе это пустяки? А? Наверно, и не почувствуешь? Правда?

— Разумеется, правда, — хорохорился новичок. — Я... все могу...

— Можешь?
— Могу!
— Вытерпишь, значит?
— О! Я! Я все вытерплю!..

Зловещие огоньки в зрачках Мячкова разгорались сильнее, и он спрашивал нежным голосом:

— А можно попробовать?

— Пожалуйста... Сколько угодно! — продолжал храбриться новичок. — Валяй, сделай одолжение. Мне это все равно что ничего. — И он выгибал грудь колесом.

Тогда Мячков размахивался и изо всех сил ударял наивного хвастуна, но не в грудь, а под ложечку, как раз туда, где кончается грудная клетка и где у детей такое чувствительное место. Несколько минут новичок не мог передохнуть и с вытаращенными глазами, перегнувшись пополам, весь посиневший от страшной боли, только раскрывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. А Мячков около него радостно потирал руки, кашлял и сгибался в три погибели, заливаясь тоненьким ликующим смехом.

Мячков ел очень мало, а сладкого и совсем не мог есть, по причине дурных зубов. Однако для того, чтоб лишний раз насладиться чьим-нибудь горем, он грабил новичков наравне с двумя прочими членами партии, уступая им «свою порцию».

Пожалуй, к категории угнетателей можно было отнести и немногочисленную группу «солидных». Под «солидностью» в гимназии подразумевалась несколько напыщенная важность, происходящая от глубокого сознания собственного достоинства; впрочем, тот смысл, который придавали этому слову воспитанники, почти непереводим на обычный язык. Принадлежа большею частью к порядочным и зажиточным семействам, солидные были настолько сильны и настолько самоуверенны, что умели ограждать себя от насильственных действий отчаянных, форсил и забывал. Солидные очень заботились о своей наружности, танцевали на гимназических балах и создавали господствующую в возрасте моду. Так, например, один год самой модной считалась прическа с пробором на левой стороне и

с большим коком, взбитым на правой. На следующий год эту прическу сменила другая — ежиком, и весь возраст принялся усердно взъерошивать волосы кверху щетками. Самыми шикарными панталонами считались «штаны с колоколами», то есть узкие, в обтяжку до колен, а от колен расходящиеся вниз трубой. Переделкой казенных панталон в модные «штаны с колоколами» занимались за умеренное вознаграждение гимназические портные, приходившие каждую ночь чинить разорванное за день платье.

Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, а говорили, картавя и ломаясь и заменяя «а» и «о» оборотным «э», что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности.

Собственно, солидных нельзя было назвать угнетателями в тесном смысле этого слова, но все же в их обращении с новичками всегда слышалось наигранное, оскорбительное пренебрежение. Столкнувшись где-нибудь в коридоре или на лестнице с разбежавшимся новичком, солидный брал его осторожно двумя пальцами за рукав и говорил с брезгливой гримасой на лице:

— Что ж ты стал, мэльчишка? Прэхэди п'жалста. — И затем пускал ему вдогонку одну из любимых фраз солидных: — Глюп, туп, нерэзвит... эттэго, что мэло бит.

И только в самом крайнем случае, действительно рассердившись, солидный замечал сердито:

— Этэ мэльчишество! Я вам, мэлэдой чээк, все ушонки эбэрву!

Еще снисходительнее к малышам были «силачи», настоящие, признанные всем возрастом, так сказать, патентованные силачи. Эти считали ниже своего достоинства форсить или забываться. И гостинцев у малышей они не отнимали, а довольствовались добровольными приношениями — данью восхищения и обожания.

В каждом отделении был свой первый силач, второй, третий и так далее. Но, собственно, силачами считался только первый десяток. Затем были главные силачи в каждом возрасте, и, наконец, существовал великий, богоподобный, несравненный, поклоняемый — первый силач во всей гимназии. Вокруг его личности реяла легенда. Он подымал страшные тяжести, одолевал трех дядек разом, ломал подковы. Малыши из младшего возраста глядели на него издали во время прогулок, разинув рты, как на идола.

Чтобы повыситься в лестнице силачей, было одно верное, испытанное средство — драка. И часто впоследствии во время урока приходилось Буланину писать такие, например, летучие записочки, передаваемые из рук в руки по адресу:

«Козлов, ты свинья. После Буркена выходи драться».

Дрались обыкновенно в ватерклозете. Все отделение присутствовало при этом. Иногда дерущимся туго перевязывали веревкой основание кисти для того, чтобы кулак налился кровью и стал тяжелее. Строго соблюдались правила: подножку не давать, лежачего не бить, не переходить в «обхватку», за волосы не хватать, голову под мышку не зажимать, лица рукавом не закрывать. Свидетели следили за правильностью драки; они же решали, на чьей стороне победа. Надо сказать, что злобы в этих драках вовсе не было, и часто Буланин и Козлов, омыв разбитые носы у общего умывальника, спокойно и дружелюбно играли через пять минут в пуговки или ездили верхом друг на друге. Но существовало и еще одно строгое правило для такого рода драк. Если, например, пятнадцатый силач победил десятого, то он должен был потом драться последовательно с четырнадцатым, тринадцатым, двенадцатым и одиннадцатым. И бывший десятый проделывал то же самое, но в обратном порядке.

Угнетаемые также разделялись на несколько классов. Между ними были «фискалы», или «суки», были «слабенькие» (у этих существовало и другое, совсем неприличное название), «тихони», «зубрилы», «подлизы», и, наконец, «рыбаки», или «мореплаватели».

VI

Фискалы. — Письмо Буланина. — Дядя Вася. — Его рассказы и пародии на них.— Блинчики дяди Васи.— Сысоев и Квадратулов.— Заговор. — Сысоева «накрывают». — Зубрилы. — Рыбаки. — Еще об угнетаемых. — Подлизы.

В гимназической жизни не было более тяжкого и опасного преступления, как «фискальство». Фискала не принимали ни в одну игру; не только дружиться с ним или миролюбиво разговаривать, но даже подавать ему руку считалось унизительным. Единственное обращение, допускаемое с фискалом, были подзатыльники, сопровождаемые известным сатирическим куплетом:

Фискал.
Зубоскал,
По базару кишки таскал.

Таким образом, фискал считался навсегда исключенным из общества, и только какая-нибудь особенно дерзкая выходка, направленная к спасению «попавшегося» товарища или ко вреду нелюбимого воспитателя, могла заслужить ему полное прощение.

Надо заметить, что сознательного фискальства — из выгод, из желания отличиться или приобрести доверие воспитателя — в гимназии совсем не было, и устное предание не запомнило ни одного такого случая. Большею частью репутация фискала приобреталась невольно.

По издавна укоренившемуся правилу, воспитанник, получивший в драке или по другому поводу здоровенный синяк под глазом, должен был на вопрос воспитателя о причине такого украшения отвечать, что, мол, упал с лестницы и расшибся (и почему-то виноватой всегда оказывалась лестница, так что даже воспитатели к этому привыкли и спрашивали иронически: «Что? С лестницы упали?»). Но иногда, по неопытности или движимый чувствами боли, мести или раздражения, он называл истинную причину возникновения синяка. С этого момента он уже становился фискалом.

Гимназическая среда ломала по-своему характеры и привычки. Чрезвычайно редко попадали в нее такие

нервные, самостоятельные и чуткие ко всякому оскорблению натуры, которые отказывались мириться с жестоким деспотизмом самодельных обычаев. Одному богу известно, как калечила их в нравственном смысле гимназия и какой отпечаток клало на всю их жизнь вечное истерическое озлобление, поддерживаемое в них беспощадной травлей целого возраста.

Начиналось это с того, что прибитый кем-нибудь мальчик шел к воспитателю и жаловался. Его били за это вторично, били в третий и в четвертый раз.... По мере побоев росла упорная, безумная ненависть фискала к его мучителям и доходила в конце концов до того, что он сам выискивал случая пойти наперекор установившимся законам. Покинутый, обегаемый и презираемый всеми, он молча разжигал в себе жгучую злобу против окружавшего его маленького мира. Завязывалась страшная, неравная борьба между истерзанным, полубольным, слабым мальчиком и целой ордой бесшабашных сорванцов...

Такого фискала, конечно, остерегались, потому что, если в его присутствии совершалось что-нибудь противозаконное, он говорил со злорадным торжеством: «А вот я пойду и пожалуюсь воспитателю!» И несмотря на то, что его стращали самыми ужасными последствиями, он шел и действительно фискалил. Наконец обоюдная ненависть достигала таких пределов, что дальше ей идти было некуда. Тогда против фискала употреблялось последнее зверское средство: его, выражаясь гимназическим жаргоном, «накрывали».

Один такой случай остался неизгладимо в памяти Буланина, даже запомнился месяц и число, потому что на другой же день Буланин писал своей сестре-институтке поздравление и вскользь упоминал о «случае».

«Милая Любочка!

Поздравляю тебя с днем твоего ангела и от души желаю тебе всего-всего хорошего. Хотел бы очень поздравить тебя лично, но, к несчастью, невозможно. Посылаю тебе две налепные картинки: кошечку и цветы. Извини, что ничего лучше не посылаю. А у нас был вчера случай. Второклассники накрыли фискала, и он

теперь в лазарете, чтобы не фискалил. Картинки я выменял у Чижова на две дюжины перьев с Наполеоном. А били его ночью, когда все воспитанники заснули, только я все слышал. Засим целую тебя крепко... Твой любящий тебя брат М. Буланин».

Поздравление это было послано Буланиным 16 сентября, а событие, о котором он в нем писал, произошло днем раньше, на дежурстве «дяди Васи».

«Дядей Васей» прозвали Василия Васильевича Бинкевича, одного из двух штатских воспитателей младшего возраста. У него также имелось два других прозвища: «Черномор» — за густую длинную бороду, и «Вральман» — за его отчаянно неправдоподобные рассказы «из прежней жизни».

Действительно, дядя Вася за свою долгую воспитательскую практику изолгался до такой степени, что если бы он и вздумал рассказать когда-нибудь о настоящем, невымышленном происшествии, — ему не поверил бы ни один малыш. Врал он вовсе не для снискания популярности, а искренно и бескорыстно, как заправский художник. Импровизируя рассказы о самых изумительных, чудовищных приключениях, которые заставили бы покраснеть самого барона Мюнхгаузена, дядя Вася увлекался до того, что, без сомнения, не только глубоко верил в подлинность этих приключений, но даже как будто бы переживал их вторично.

Для дяди Васи вовсе не было тайной, что воспитанники чуть ли не в глаза смеются над ним, но все же, несмотря на это, он не мог воздержаться от неистового вранья. Трудно сказать, каким образом эта черта родилась в нем и разрослась до таких удивительных размеров. Явилась ли она в те долгие зимние вечера, когда дежурные воспитатели, ошалев от скуки, бесцельно по целым часам бродили взад и вперед по залам или изводили кипы бумаги, изображая сотни раз подряд свою фамилию с каким-либо замысловатым росчерком? Было ли это вранье следствием редкого перевеса фантазии над рассудком и волей? Или, может быть, в нем, в этом вранье, находил себе позднее своеобразное утешение бывший честолюбец, которому не улыбнулась

судьба?.. Или, наконец, не скрывался ли за почтенной наружностью дяди Васи тихий, безопасный маньяк?

В своих рассказах дядя Вася весьма небрежно обращался как с историческими фактами, так и с данными, вытекавшими из его предыдущих рассказов. Иногда он фигурировал в них в качестве гражданского инженера, строившего мост через Волгу и реставрировавшего Исаакиевский собор; в другой раз он отправлялся чрезвычайным посланником в Париж; в следующий вечер участвовал в венгерской кампании, будучи блестящим офицером гвардейской кавалерии. И если, например, постройка моста через Волгу совпадала по времени с чрезвычайной миссией в Париже и кто-нибудь из слушателей лукаво замечал это, дядя Вася отвечал, нимало не смущаясь:

— Ну да... что же тут особенного? Я так и делал: неделю строю мост, — потом еду в Париж; там проведу неделю, — и опять на Волгу. Все на экстренных поездах... По сто семидесяти верст в час!..

Ему ничего не стоило рассказать хотя бы о том, как он по желанию императора Николая I читал лекции инженерного искусства и небесной механики его сыну Александру. При этом дядю Васю вовсе не стесняло то обстоятельство, что он был приблизительно лет на десять моложе своего ученика.

Любовью гимназистов дядя Вася не пользовался, так же как не пользовался ею ни один воспитатель. Но так как дядя Вася большого вреда не делал, не устраивал «курилам» ловушек и, зная гимназические нравы, не жаловал фискалов, то и вражды к нему возраст не питал. А вранье его даже привлекало всегда многочисленных слушателей.

Обыкновенно после обеда, когда до вечерних занятий давалось два часа свободного времени, кто-нибудь из второклассников «собирал компанию» слушать дядю Васю. Охотники сейчас же находились. Они разыскивали дядю Васю в дежурной или в одном из классов, окружали его и просили:

— Василь Василич, расскажите что-нибудь из вашей прежней жизни.

Дядя Вася сначала, для виду, отнекивался, говорил, что ему некогда, что он все давно и забыл и, наконец (уже начиная сдаваться), что «не знает, о чем бы это рассказать». Тогда его понемногу наталкивали на тему:

— Ну, расскажите что-нибудь про дворец. Вы же ведь бывали во дворце, Василь Василич?

И он принимался рассказывать, сперва вяло, как будто бы нехотя, но потом закусывал удила и создавал одну вдохновенную импровизацию за другой. Тем временем слушатели подбегали со всех сторон, и вскоре вокруг дяди Васи образовывалось густое сплошное кольцо. Некоторые шли по бокам дяди Васи, другие сзади, протискивая головы вперед, чтобы лучше слышать, третьи, обнявшись и образовав неразрывную цепь, пятились задом. Каждый раз, дойдя до одного из концов залы, дядя Вася медленно топтался на месте, чтобы дать время повернуться всему окружавшему его живому ядру.

— Был однажды я приглашен на парадный бал во дворец, — говорил он, расправляя на обе стороны свою длинную бороду, придававшую ему вид библейского патриарха. — Ну, понятно, вся знать здесь: иностранные кронпринцы, дипломатический корпус, генералитет и все прочее... И уж, конечно, танцы танцуют не какие-нибудь, а, например, экоссез, полонез и все в этом роде. Стою я на одном конце залы, а на другом сидит на бархатном малиновом диване маркграфиня Бранденбургская. Ну, прямо — писаная красавица... в белом атласном платье и шлейф аршин в девять... Только вдруг, вижу я, маркграфиня роняет веер... Тут сейчас же кидаются к ней князья там разные... графы, бароны... Понятно, каждому лестно услужить. А я и думаю себе: «Нет, думаю, хоть вы и бароны и графы, но вы еще не знаете Василь Василича Бинкевича...» А зала, надо вам сказать, шагов пятьсот имела в длину. Разбежался я, знаете ли, подпрыгнул этак вверх и через всю залу пролетел на одной шпоре. Пролетел, схватил раньше всех веер и уже несу маркграфине. А посланник американский... забыл его фамилию... страшный богач, миллионер... отводит меня в сторону и говорит тихонько:

«Послушайте, передайте мне этот веер, мне необходимо для политических видов, а я вам за него тотчас же выдам чистоганом пятьсот тысяч долларов». Ну, уж я его и обрезал: «Нет, говорю, мистер... эх, беда, забыл фамилию-то!.. ну, да у меня дома записано, потом припомню... нет, мистер, русского гвардейского офицера не только за полмиллиона, а даже за все сокровища Нового Света нельзя купить...» После этого государь меня к себе подзывает. «Здравствуй, Василь Василич, давно мы с тобой не видались». Я говорю: «Давненько, ваше величество». Ну, конечно, поговорили мы немного. Потом государь и говорит: «Знаешь, Василь Василич, я ведь тебя давно хотел видеть. Не желаешь ли ты занять пост министра путей сообщения?» А я отвечаю: «Нет, ваше величество, эта должность хлопотливая, и притом многие будут мне завидовать, дайте мне лучше место воспитателя в военной гимназии». — «Ну, хорошо, — говорит государь, — будь по-твоему. А за то, что ты американца сконфузил, объявляю тебе мое спасибо»...

На темы рассказов дяди Васи ходили между воспитанниками пародии, преувеличенные до абсурда. В одной из них говорилось, например, о том, как дядю Васю во время его путешествия со Стенли выбросило на *необитаемый* остров. Тотчас же сбежались дикари, а дикари на этом необитаемом острове были поголовно людоеды. Сначала они кинулись было на дядю Васю с томагауками, но тотчас же опомнились. «Ах, это вы, Василь Василич! Извините, пожалуйста, а мы было вас совсем не узнали». — «То-то же, негодяи, смотрите у меня в другой раз, — заметил им строго дядя Вася. — А где же здесь пройти в Петербург?» — «А вот-с, сюда пожалуйте, сюда... Ступайте по этой дорожке, все прямо, прямо, так и дойдете до самого Петербурга», — отвечали дикари, падая на прощанье в ноги дяде Васе.

Шестнадцатого сентября, после обеда, дядя Вася ходил взад и вперед по зале, окруженный, по обыкновению, густой толпой воспитанников. Он рассказывал о том, как во время блокады Парижа прусской армией осажденные — в том числе, конечно, и дядя Вася — принуждены были питаться кониной и дохлыми кры-

сами и как потом, по совету дядя Васи, его задушевный друг Гамбетта решился сделать путешествие на воздушном шаре.

Рассказ изобиловал комическими штрихами, и Бинкевич, поощряемый неумолкаемым дружным хохотом публики, врал особенно затейливо. Но он и не догадывался, что причиной смеха служили вовсе не комические места его импровизации, а те рожи, которые за его спиной строил второклассник Караулов (для чего-то перековерканный товарищами в Квадратулова).

Особенная прелесть штук, откалываемых Квадратуловым, заключалась в том, что он только что стащил в дежурной комнате со стола целый десяток блинчиков с вареньем, принесенных на обед дяде Васе в виде третьего блюда. (Дяде Васе постоянно приносили обед в возраст из дому, и это, между прочим, служило поводом некоторого уважения к нему со стороны воспитанников. Были и такие воспитатели, как, например, Утка, которые съедали казенный обед в удвоенной порции.) И теперь за спиной дяди Васи Квадратулов поедал эти блинчики, то отправляя в рот сразу по две штуки и делая вид, что давится ими, то улыбаясь, как будто бы от большого удовольствия, до ушей и поглаживая себя по животу, то, при поворотах, изображая лицом и всей фигурой страшнейший испуг.

Дядя Вася, набросив с живописными подробностями процедуру надувания шара, перешел уже к тем трогательным словам прощанья, которые он сказал отлетавшему Гамбетте. Но как раз на этом интересном месте его прервал дежурный воспитанник, подбежавший с докладом, что директор осматривает спальню младшего возраста. Дядя Вася поспешно выбрался из облепившей его толпы, обещав досказать воздушное путешествие Гамбетты как-нибудь в другой раз.

Буланин был в это время здесь же и видел, как второклассники со смехом окружили Квадратулова, поспешно доедавшего последний блин, и вместе с ним шумной гурьбой вошли в отделение. Но минуту или две спустя этот смех как-то вдруг оборвался, потом послышался сердитый голос Квадратулова, закричавшего на весь возраст: «А тебе что за дело, свинья?!» —

затем, после короткой паузы, раздался бешеный взрыв общей руготни, и из дверей стремительно выбежал второклассник Сысоев.

Этот Сысоев, ненавидимый товарищами за неисправимое фискальство и постоянно ими избиваемый, всегда и как-то мучительно тревожил любопытство Буланина. Гимназическая шлифовка не положила своего казенного отпечатка на его красивое, породистое и недетски серьезное лицо с нездоровым румянцем, выступавшим неровными розовыми пятнами на щеках и под бровями. Для Буланина не была новостью открытая, непримиримая вражда, шедшая между этим худым, нежным мальчиком и всем вторым классом. И в этой-то самой припадочной, безумной дерзости, с которой Сысоев восставал против «всех», и заключалось для Буланина то загадочное, страшное и притягивающее, что так часто привлекало его внимание.

Выбежав из класса, весь бледный, трясущийся, с разорванным чьими-то руками воротником пиджака, Сысоев остановился в дверях и выкрикнул, задыхаясь от злобы:

— А вот нарочно... и пойду, и пожалуюсь... Скажу, кто украл, скажу!.. Вот нарочно профискалю... Назло, назло, назло...

Из класса со свистом и гиканьем выскочило человек десять с Квадратуловым во главе. Сысоев бросился от них, точно заяц, преследуемый собаками, весь скорчившись, неровными скачками, спрятав голову между плеч и поминутно оглядываясь. За ним гнались через обе залы, и только тогда, когда он с разбегу влетел в «дежурную», преследователи так же быстро рассыпались в разные стороны.

В этот вечер среди второклассников было замечено странное, необычное, но глухое оживление. В те свободные полчаса, что давались до вечернего чая, они ходили кучками, по-четверо и по-пятеро, обнявшись. Говорили о чем-то чрезвычайно горячо, но вполголоса, наклоняясь один к другому и боязливо озираясь по сторонам; при приближении новичка они замолкали с враждебным видом. Другие в одиночку шныряли между этими кучками, подходили к ним поочередно,

бросали на лету какие-то слова, производившие еще большее волнение, и торопливо, с таинственным лицом, спешили к следующим кучкам. Новички с боязливым любопытством наблюдали за этой загадочной суетой. Чувствовалось, что приготовляется что-то большое, серьезное и нехорошее.

Буланин зазвал за классную доску Сельского, всегда благоволившего к нему, и стал просить умоляющим тоном:

— Послушай, Сельский, голубчик, что такое во втором классе делается? Ну, миленький, ну, расскажи, пожалуйста...

— Много будешь знать — скоро состаришься, — сухо ответил Сельский.

— Сельский, душечка, ей-богу, никому не скажу. Прошу тебя... пожалуйста...

Сельский отрицательно покачал головой и хотел уйти из-за доски. Но Буланин ухватился за его рукав и еще настойчивее пристал к нему. В конце концов твердость Сельского не выдержала, тем более что у него самого, по-видимому, чесался язык поделиться секретом.

— Ну, так и быть... ладно, — сказал он, сдавшись окончательно. — Только смотри, помнить уговор: чур, никому ни полсловечка.

И, обернувшись во все стороны с недоверчивым видом, Сельский добавил, понижая голос:

— Сегодня ночью старички хотят «накрыть» Сысоева.

Буланин не понял всего смысла, заключавшегося в словах Сельского, но тон, каким они были произнесены, и этот незнакомый термин сразу произвели на него впечатление чего-то сверхъестественного и ужасного, подобно тем простым словам, которые иногда в лихорадочных снах принимают такое зловещее, потрясающее значение.

— Накрыть? Ты сказал — накрыть? — повторил Буланин, широко раскрывая глаза. — Что это значит?

Доброе, миловидное лицо Сельского нахмурилось, и он отвечал с напускной суровостью:

— А очень просто. Накроют голову одеялом или подушкой, чтоб не кричал, и отдуют по чем попало... И так и нужно, — добавил он, нарочно разогревая в себе злобное чувство. — Так и нужно. В другой раз пусть не фискалит, каналья.

Буланин вдруг почувствовал странный, раздражающий холод в груди, и кисти его рук, мгновенно похолодев, сделались влажными и слабыми. Ему представилось, что на его собственное лицо наложили мягкую подушку и что он задыхается под ней.

— Про кого ж он... профискалил? — спросил, справившись, наконец, со своим воображением, Буланин.

— Про Караулова. Караулов спер у дяди Васи какие-то там блинчики, что ли, а этот пошел и профискалил.

— Зачем же он это сделал? Ему-то что?

— Ну, вот, поди же!.. Одно слово — *псих!* — решил Сельский, выговаривая это определение с невыразимым презрением. — Еще куда бы ни шло, если б он самому дяде Васе сказал, — дядя Вася не обратил бы внимания, — а то он в дежурной прямо на директора наткнулся, да и бухнул при нем. А директор взял да и оставил Караулова до рождества без отпуска. Может быть, даже погоны снимут...

Сельский повернулся, чтобы выйти из-за доски, но Буланин еще раз остановил его:

— Сельский, подожди... А очень больно ему будет, когда его... накроют? — спросил он с выражением страдания в глазах.

— Н-да-а... Уж в другой раз позабудет, как и фискалить... Наверно, в лазарет завтра пойдет. А ты, Буланка, вот что: если будешь болтать, плохо тебе придется. Понимаешь?

За вечерним чаем все отделения возраста сидели обыкновенно на разных столах. Буланин со своего места видел лицо Сысоева и его длинные тонкие пальцы, крошившие нервными движениями булку. Пятна румянца выступили резче на его щеках, глаза были опущены вниз, правый угол рта по временам судорожно подергивался. «Знает ли он? Предчувствует ли он что-нибудь? — думает Буланин, не отводя испуган-

ных глаз от этого лица. — Что он будет чувствовать всю эту ночь? Что он будет чувствовать завтра утром?» И нестерпимое, жадное любопытство овладело Буланиным. Ему вдруг до мучения, до боли захотелось узнать *все,* решительно все, что теперь делается в душе Сысоева, ставшего в его глазах каким-то необыкновенным, удивительным существом; захотелось отожествиться с ним, проникнуть в его сердце, слиться с ним мыслями и ощущениями.

Под влиянием пристального взгляда Сысоев медленно поднял ресницы и повернул голову. Глаза его в упор встретились с глазами Буланина и остановились, и в ту же секунду Буланин совершенно ясно понял, что Сысоев уже *знает,* что будет с ним сегодня вечером, знает даже, что и Буланину это известно, знает даже и то, что теперь происходит в душе самого Буланина. Как бы в ответ на долгий взгляд Буланина какая-то чудная улыбка, слабая, грустная и ласковая, чуть-чуть тронула губы Сысоева, а ресницы его опять медленно опустились вниз с болезненным и усталым выражением.

После молитвы в спальне младшего возраста не было обычной возни, хохота и беготни. К одиннадцати часам все стихло. Дядя Вася в последний раз обошел все проходы спальни и ушел в дежурную. Следом за ним по коридору прокрался кто-то босой, в одной рубашке, с головой, закутанной тужуркой. Буланин догадался, что это «сторож». Действительно, через пять минут «сторож» вернулся и, не открывая головы, протяжно свистнул. Тотчас же в том отделении, где спал второй класс, послышался звук, в значении которого Буланин не мог ошибиться: кто-то опустил висячую лампу вниз и затем быстро толкнул ее вверх, чтобы она потухла. Вслед за первой потушили и вторую лампу. В спальне стало темнее.

Буланин лежал, чутко прислушиваясь, но ничего не мог разобрать, кроме дыхания спящих соседей и частых, сильных ударов своего сердца. Минутами ему казалось, что где-то недалеко слышатся медленные крадущиеся шаги босых ног. Тогда он задерживал дыхание и напрягал слух. От волнения ему начинало представляться, что на самом деле и слева, и справа, и из-за стен кра-

дутся эти осторожные босые ноги, а сердце еще громче, еще тревожнее стучало в его груди.

И вдруг среди этого жуткого безмолвия раздался громкий, прерывающийся голос Сысоева, в котором слились вместе и страх, и тоска, и ненависть:

— Кто там? Я вижу... Я вижу тебя! Зачем ты прячешься?..

Буланин приподнялся и сел на кровати, со страхом вглядываясь в темноту. Нижняя челюсть его, против воли, часто и сильно стучала о верхнюю.

— Оставь! — закричал пронзительно Сысоев. — Оставь меня!.. Ос...

Крик внезапно оборвался, окончившись глухим стоном. «Они подушкой его... подушкой», — мелькнуло в голове Буланина, охваченного жалостью и ужасом. Потом послышался сдержанный шум молчаливой, ожесточенной возни, тяжелое дыхание, шлепанье босых ног и частые, как град, тупые удары.

Сколько времени это продолжалось, Буланин не мог определить: может быть — минуту, может быть — полчаса. Вдруг «сторож» опять свистнул. Десятки босых ног беспорядочно, быстро и звонко зашлепали по паркету, где-то повалили табуретку, кто-то задел за кровать, и тотчас же все опять стихло.

До слуха Буланина долетели слабые протяжные стоны... Сысоев уже не мог кричать.

Сельский был прав: на другой же день фискала отправили в лазарет, а через месяц родные вовсе взяли его из гимназии. Непонятным, поразительным казалось Буланину, почему, покидая навек гимназию, Сысоев не воспользовался последней местью, остававшейся у него в руках, почему он ни слова никому не сказал о том, что с ним делали в ту страшную ночь: без сомнения, зачинщиков по меньшей мере сильно высекли бы. И в этом умолчании Буланину чудилось присутствие того же загадочного, таинственного, что так тянуло его к Сысоеву за вечерним чаем.

Довольно сильным утеснениям с разных сторон подвергались и «зубрилы-мученики».

В то время когда форсилы и отчаянные не без хвастливой гордости декламировали:

Единица да нули —
Вот и все мои баллы.
Двоек, троек очень мало,
А пятерок и «шеперок»
Совершенно не бывало, —

для зубрилы единица казалась самым страшным предметом в мире. Чтобы избежать «кола», зубрила каждый вечер так старался, что на него и жалко и забавно было смотреть. Заткнув оба уха большими пальцами, а остальными плотно придавив зажмуренные глаза и качаясь взад и вперед, зубрила иногда в продолжение целого часа повторял одну и ту же фразу: «Для того чтобы найти общее наименьшее кратное двух или нескольких чисел... для того чтоб найти... чтоб найти... чтоб найти...» Но смысл этих слов оставался для него темен и далек, а если, наконец, и запечатлевалась в уме его целая фраза, то стоило резвому товарищу подбежать и вырвать книгу из-под носа зубрилы или стукнуть его мимоходом по затылку, как все зазубренное с таким великим трудом мгновенно выскакивало из его слабой головы. Несмотря на все старания зубрилы избежать единицы, он все-таки на другой день получал ее и каждый раз неизменно, садясь на место, заливался горькими слезами, вызывавшими дружный хохот отделения.

Из числа угнетаемых больше всего могли бы вызывать сожаление «рыбаки», или «мореплаватели». Так назывались несчастные мальчики, страдавшие весьма нередким в детском возрасте недостатком, заключавшимся лишь в неумении вовремя просыпаться ночью. Нет сомнения, что каждый из этих робких, запуганных, нервных детей, — будь поменьше за ним надзора и побольше снисхождения к нему, — без труда выучился бы сдерживать свои невольные отправления. Но по отношению к ним и начальство и товарищи делали все от них зависящее, чтобы рыбаки ни на минуту не забывали о своем недостатке...

Прежде всего начальство распорядилось отделить рыбаков от товарищей и отвести им отдельное место, поближе к умывалке. Затем обыкновенные волосяные матрацы у рыбаков были заменены соломенными тюфяками, конечно, ввиду экономии. Тюфяки эти не обновлялись в течение целого года (и даже чуть ли не переходили из поколения в поколение), так что солома в них окончательно сгнивала, обращаясь в зловонную густую массу. Проходя мимо «рыбацкой слободки», каждый воспитанник непременно зажимал крепко нос и на несколько секунд затаивал дыхание. Нервных субъектов прямо-таки тошнило от этого ужасного запаха.

Нечего и говорить о том, как «травили» и «изводили» бедных мореплавателей товарищи. Каждый проходивший вечером около их кроватей считал своим долгом бросить по адресу рыбаков несколько обидных слов, а рыбаки только молчали, глубоко сознавая свою вину перед обществом. Иногда кому-нибудь вдруг приходила в голову остроумная мысль — заняться лечением рыбаков. Почему-то существовало убеждение, что от этой болезни очень хорошо помогает, если пациента высечь ночью на пороге дверей сапожным голенищем. И вот, часов в двенадцать, целая орда хватала спящего рыбака за руки и за ноги, влекла его к дверям, распластывала поперек порога и начинала под общий хохот, свист и гиканье симпатическое лечение.

Товарищи все-таки обращали на рыбаков больше внимания, чем начальство. Они, хотя и в дикой форме, но проявляли своеобразную заботливость об их здоровье. Начальство же и медицинский персонал глядели на этот вопрос с невозмутимым равнодушием.

«Тихони» и «слабенькие» были в гимназии такими же, как и во всех учебных заведениях. На «подлиз» смотрели несколько строже. Если замечали, что воспитанник чересчур часто суется к преподавателям с предложением ножичка и карандашика или лезет к ним с просьбами объяснить непонятное место, или постоянно подымает кверху руку, говоря: «Позвольте мне, господин преподаватель, я знаю...», в то время когда спрошенный товарищ только хлопает в

недоумении глазами, — когда замечали за кем-нибудь такое поведение, его считали подлизой...

Но «подлизываться» слишком долго и слишком откровенно было и невыгодно и невозможно, потому что в конце концов весь класс ожесточался против подлизы. Тогда стоило ему только встать с предложением услуг или поднять кверху руку, как весь класс начинал топать ногами и кричать: «Садись!.. На место, на место...» В то же время бесцеремонные руки хватались за фалды его пиджака и тянули его обратно на скамейку. С целым классом шутить было опасно, и если преподаватель в этих случаях спрашивал подлизу, что он хотел сказать или сделать, подлиза, поспешно садясь на место, бормотал:

— Нет, нет, ничего, господин преподаватель. Я ошибся... я так...

Так сортировала эта бесшабашная своеобразная мальчишеская республика своих членов, закаляя их в физическом отношении и калеча в нравственном. И много-много выпало на долю Буланина колотушек, голодных дней, невыплаканных слез и невысказанных огорчений, пока он сам не огрубел и не сделался равноправным человеком в этом буйном мире. Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная, родственная связь. Так это или не так — это покажет будущее. Настоящее ничего не показало.

VII

Военные гимназии. — Кадетские корпуса. — Фиников. — «Иван Иваныч». — Труханов. — Рябков. — Дни рабства. — Катастрофа.

Как раз в этом же году военные гимназии превратились в кадетские корпуса. Сделалось это очень просто: воспитанникам прочитали высочайший указ, а через несколько дней повели их в спальни и велели вместо старых кепи пригнать круглые фуражки с красным околышем и с козырьком. Потом появились цветные пояса и буквы масляной краской на погонах.

Это было время перелома, время всевозможных брожений, страшного недоверия между педагогами и учащимися, распущенности в строю и в дисциплине, чрезмерной строгости и нелепых послаблений, время столкновения гуманного милютинского, штатского начала с суровым солдатским режимом.

Большая неразбериха господствовала в отношениях. Штатские преподаватели еще продолжали учить фронту, произнося командные слова на дьяконский распев. Между ними были большие чудаки, которым оставалось год-два до полной пенсии; на этих воспитанники чуть не ездили верхом. И состав преподавателей всѐ еще был каким-то допотопным. Чего, например, стоил один Фиников, учитель арифметики в младших классах. Приходил он в класс оборванный, нечесаный, принося с собою возмутительный запах грязного белья и никогда не мытого тела. Должно быть, он был вечно голоден. Однажды кадеты положили ему в выдвижной ящичек около кафедры, куда обыкновенно клали мел и губку, кусок крупяника, оставшегося от завтрака. Фиников, как будто по рассеянности, съел его. С тех пор его прозвали «крупяником», но зато мальчишки никогда уж впоследствии не забывали Финикова: если на завтрак давали какое-нибудь нелюбимое блюдо, например кулебяки с рисом или зразы, то из числа тех кусков, которые уделялись дядькам, один или два шли непременно в пользу Финикова.

Ставя отметки, он терпеть не мог середины — любимыми его баллами было двенадцать с четырьмя плюсами или ноль с несколькими минусами. Иногда же, вписав в журнал круглый ноль, он окружал его со всех сторон минусами, как щетиной, — это у него называлось «ноль с сиянием». И при этом он ржал, раскрывая свою огромную грязную пасть с черными зубами.

Про него между кадетами ходил слух, что он, производя какой-то физический опыт, посадил свою маленькую дочь в спирт и уморил ее. Это, конечно, было мальчишеским враньем, но в Финикове и вправду чувствовалось что-то ненормальное; жизнь свою он кончил в сумасшедшем доме.

Многие из учителей «зашибали». Этим пороком страдал добрейший в мире человек — Иван Иваныч, учитель истории. Но он никогда не терял внешнего приличного вида. В синем форменном фраке с золотыми пуговицами, в безукоризненном белье, он, бывало, ходит-ходит по классу от окон к дверям и вдруг, точно мимоходом, юркнет за доску. Вынет из бокового кармана склянку, глотнет из нее несколько раз и опять выходит наружу, пожевывая какую-то лепешечку. По классу проносится струя спиртного запаха, кадеты гогочут, а Иван Иваныч говорит жалобным тоненьким голоском, прижимая пальцы к вискам:

— Не смейтесь, господа, нехорошо смеяться. Я человек больной, у меня порок сердца. Если я не буду принимать лекарства, я могу каждую минуту умереть.

Ставил он исключительно высшие баллы, а в старших классах перед экзаменами предлагал кадетам написать ему на общей бумажке, кто что хочет отвечать. На уроках его каждый делал, что хотел: читали романы, играли в пуговки, курили в отдушник, ходили с места на место. Он только нервно потирал свои виски пальцами и упрашивал:

— Господа, господа, потише... Пожалуйста, потише... Инспектор услышит...

У него было два прозвища: «Фан Фаныч» и — почему-то — «Елена с ушами». Он был маленький, белокурый, лысенький, в пенсне, которое у него поминутно спадало. Но у этого кроткого, забитого человека водилось одно редкое и симпатичное пристрастие — любовь к истории Петра Великого. На ее прохождение он тратил почти весь год в седьмом классе и читал ее, конечно, не по Иловайскому, а по серьезным научным источникам. Когда кадет, отвечая урок о Полтавской битве, приводил знаменитый петровский указ, кончающийся словами: «а о Петре ведайте, что Петру жизнь не дорога, жила бы только Россия, ее слава, честь и благоденствие», Иван Иваныч неизменно останавливал его и, потирая виски, со слезами на глазах восклицал тоненьким, восторженным голосом:

— Ах, какие слова! Повторите, пожалуйста, еще раз это прекрасное место. Господа, господа, прислушайтесь, прошу вас.

И уж, конечно, ставил отвечавшему двенадцать баллов.

Иногда, прерывая свою лекцию о Петре, он вдруг восклицал мечтательно:

— Ах, господа! Всегда самая моя заветная мысль была — это приобрести хорошую английскую гравюру с портрета Петра Великого. Но я человек бедный. Я бедный человек, господа...

На почве этой его необузданной любви к памяти великого царя произошел однажды смешной и трогательный эпизод. Кадет Трофимов — рыжий длинный балбес со ртом до ушей и в веснушках — встал, науськанный кем-то, и спросил:

— Иван Иваныч, а правда, что Петра назвали великим за то, что он был большого роста?

— Болван! — вдруг завизжал Иван Иваныч и побагровел, и затопал ногами. — Негодяй! Шут!

И, схвативши с тумбочки губку, он запустил ею в Трофимова. Но этого ему показалось мало. Он быстро взбежал на кафедру, развернул журнал и одним движением пера влепил Трофимову такую единицу — первую единицу за всю свою учительскую деятельность, — которая растянулась по крайней мере на шесть чужих клеток вверх и вниз.

Пил и другой учитель — русского языка — Михаил Иванович Труханов, и пил, должно быть, преимущественно пиво, потому что при небольшом росте и узком сложении отличался чрезмерным животом. У него была рыжая борода, синие очки и сиплый голос. Однако с этим сиплым голосом он замечательно художественно читал вслух Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лоботрясы, слушали его чтение, как зачарованные, боясь пошевельнуться, боясь пропустить хоть одно слово. Какой удивительной красоты, какой глубины чувства достигал он своим простуженным, пропитым голосом. Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе.

Учителя немецкого языка, все как на подбор, были педантичны, строги и до смешного скупы на хорошие отметки. Их ненавидели и травили. Зато с живыми, веселыми французами жили по-дружески, смеялись, острили на их уроках, хлопали их по плечу. Если французский язык был в начале и в конце классных занятий, то особенным шиком считалось вместо молитвы до и после ученья прочитать, например, «Чижика» или «Эндер бэндер козу драл».

Однако были и свирепые преподаватели, например учитель географии, подполковник Лев Васильевич Рябков. Сухой, желчный, вспыльчивый человек. Он решительно всем воспитанникам, даже в старших классах, говорил «ты», младших дергал за уши и вытягивал линейкой между плеч, а иногда даже лягался шпорой. Но любимым для него развлечением было вытащить к карте кадета с польской фамилией и непременно католика. В течение целого часа изощрялся над ним Рябков, зло и грубо карикатуря его язык, национальность и религию. Тут бывало и «жечь посполита», и «от можа и до можа», и «крулевство польске», и «матка боска Ченстоховска, змилуйся над нами, над поляками, а над москалями, як собе хцешь».

Этот Рябков удивительно красиво и точно чертил на доске мелом географические карты — прямо точно печатал.

Но бедному Буланину было в этот год не до науки. Над ним стряслась жестокая и позорная катастрофа.

Чем дальше тянулось время, тем менее находил он в себе решимости признаться матери в своем долге Грузову за волшебный фонарь. Он смутно понимал, что Аглая Федоровна, по своему властному, придирчивому и чувствительному характеру, во что бы то ни стало выпытает у Миши все подробности и тогда уж непременно полетит жаловаться самому директору корпуса. Что ей за дело до того, что она навеки погубит товарищескую репутацию Буланина в его тесном, замкнутом кадетском мирке. Конечно, она считает все эти железные внутренние законы просто мальчишескими выдумками, которые разлетятся прахом, стоит только открыть глаза начальству. Так думал за нее Буланин, и не

ошибался, и был в данном случае мудрее и проницательнее своей матери.

И он не открывался ей. Он предпочитал приходить в корпус с пустыми руками и получать жестокие побои от Грузова. Иногда ему удавалось внести в счет долга гривенник, или пару яблоков, или пяток украденных у матери папирос. Но долг от этого уменьшался едва заметно, потому что Грузов запутал своего должника сложной системой ростовщичьих процентов.

Наконец однажды, зимним утром, в понедельник, после чаю, когда во всех классах и залах горели лампы, а кадеты уныло дрожали от холода, Грузов ткнул Буланина кулаком в зубы и сказал:

— Слушай меня, ты, жулябия! Вижу, что деньги мои ты зажилил. Начнем счет снова. Ну, вот я тебе говорю: утренняя булка две копейки, вечерняя — копейка, завтрак — три копейки, второе блюдо за обедом — две, третье — три. Когда хочу — тогда спрашиваю. Согласен? И это пусть будет за проценты. А два рубля отдашь потом.

— Хорошо, — сказал Буланин, не поднимая глаз.

— Кроме того, будешь мне каждый день чистить сапоги. Это тоже за проценты... Да?

— Хорошо.

Наступило для Буланина жуткое, тяжелое время. Грузов отбирал у него все утренние булки, все вкусные завтраки и непременно третье блюдо за обедом, а иногда и третье и второе. Сапоги он должен был чистить Грузову до совершеннейшего глянца, иначе тот бил его и прогонял чистить вторично. Все это, вместе с недоверием к матери, с невозможностью объясниться с нею и попросить помощи, сильно угнетало мальчика. Он опустился, стал рассеян, сделался неряхой, перестал учиться. Его постоянно наказывали, то ставя под лампу, то лишая пищи. И случалось нередко, что за целый день он питался только тарелкой супа и двумя кусками черного хлеба — остальное шло Грузову и школьному правосудию.

Он побледнел, погрубел, обозлился и, сам не желая этого, очутился на счету отчаянного. Его все чаще и чаще лишали отпуска. Нельзя сказать, чтобы эта воспи-

тательная мера помогала его расстроенной душе. Когда же он изредка приходил в отпуск, то Аглая Федоровна с вечера субботы до вечера воскресенья выговаривала ему о том, каковы бывают дурные мальчики и какими должны быть хорошие мальчики, о пользе труда и науки, о мудрости опыта, в которую надо слепо верить, а впоследствии благодарить за преподанные уроки, и о прочем. Все это были золотые, но ужасно скучные и неубедительные истины.

Буланин и сам уж не так охотно ходил в отпуск в те редкие недели, когда это ему разрешалось. Он изнервничался, стал шутовать перед товарищами, терял мало-помалу вкус к жизни и детское самоуважение. Тут-то над ним и разразилась катастрофа.

В воскресенье он был без отпуска. После обедни устраивали «слона», играли «в горки», переодевались в вывернутые наизнанку мундиры, мазали себе лица сажей из печки. Буланиным овладела какая-то пьяная, истерическая скука. Стали ездить верхом друг на друге. Буланин сел на плечи рослому Конисскому и долго носился на нем по залам, пуская бумажные стрелы.

В арке, между залами, стоял штатский воспитатель Кикин, — так, безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчишками, так и перед начальством. Буланину бросились в глаза пряди его масленистых, бурых, разноцветных волос, спускавшихся с затылка на воротник. Он велел своей «лошади» остановиться и взял осторожно двумя пальцами одну косичку. Для чего он это сделал, он и сам не знал. Против Кикина он не имел злобы. Молодечествовать тоже было не перед кем, потому что кругом не было зрителей. Просто он это сделал от темной, острой тоски, которая переполняла его душу.

Но Кикин вдруг обернулся, побледнел, крикнул: «Что вы делаете!» — и поспешно побежал в дежурную. Через полчаса Буланина отвели в карцер, где продержали сутки.

А в четверг, после утреннего чая, всех кадет младшей роты, вместо того чтобы распустить по классам, построили в рекреационной зале. Собрались воспитатели всех четырех отделений, первого и второго класса,

и наконец — и это было уж совсем необыкновенным явлением — пришел директор. Было еще не светло, и в классах горели лампы.

Директор вынул из-за обшлага какую-то бумагу, и Буланин вдруг задрожал мелкой, противной, безнадежной дрожью.

— По постановлению педагогического комитета, кадет Буланин, позволивший себе такого-то числа возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию в размере десяти ударов розгами.

Случилось вдруг отвратительное чудо. Прежде было сто мальчиков, ничем друг от друга не отличавшихся, и между ними равный всем Буланин, — и вот он выделился, далеко отошел ото всех, заклейменный исключительным позором. Тяжесть навалилась на него, пригнула его к земле, приплюснула.

— Кадет Буланин, выйдите вперед! — приказал директор.

Он вышел. Он в маленьком масштабе испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной казни. Так же его вели, и он даже не помышлял о бегстве или о сопротивлении, так же он рассчитывал на чудо, на ангела божия с неба, так же он на своем длинном пути в спальню цеплялся душой за каждую уходящую минуту, за каждый сделанный шаг, и так же он думал о том, что вот сто человек остались счастливыми, радостными, прежними мальчиками, а я *один, один* буду казнен.

В спальне, в чистилке, стояла скамейка, покрытая простыней. Войдя, он видел и не видел дядьку Балдея, державшего руки за спиной. Двое других дядек — Четуха и Куняев — спустили с него панталоны, сели Буланину на ноги и на голову. Он услышал затхлый запах солдатских штанов. Было ужасное чувство, самое ужасное в этом истязании ребенка, — это сознание неотвратимости, непреклонности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая боль...

Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да, полно, зажила ли?

ТАПЕР

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не мое дело... У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

— Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка,

подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

— Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно комунибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых — большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии,

которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

— Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно» [1] и «брютально» [2], и потому равнодушно «иньорировала» его, развлекаясь

[1] Пошло (от *франц.* mesquin).
[2] Грубо (от *франц.* brutal).

визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, и по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

— Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вече-

ром, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады[1] дурного тона». Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

— Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году[2] с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось

[1] Проказы (от *франц.* escapade).

[2] Рассказ наш относится к 1885 году. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. З—вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. *(Прим. автора.)*

ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука в свою очередь оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоро-

вый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

— Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

— Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного...А потом я ее сама как-нибудь заменю.

— Благодарю покорно, — насмешливо возразила Лидия. — Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

— Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

— Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

— Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

— Только, барышня, не браните меня, — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня бог — в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать — двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

— Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

— Да... я играл, — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

— Ах нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

— Четырнадцать-с.

— Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

— О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

— Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.

— Умею-с.

— И вальс умеете?

— Да-с.

— Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

— Да, и польку тоже.

— А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

— Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible[1], — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

— Если вам угодно, mademoiselle, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полек и кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

— Воображаю! — деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

— Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от

---

[1] Перестаньте же, Лидия, вы невозможны *(франц.)*.

радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

— Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, — упрашивала она сестру и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

— Угодно вам «Rapsodie Hongroise» [1] № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

— Где вы достали этого карапуза?

— Это тапер, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет?

---

[1] «Венгерская рапсодия» *(франц.)*.

— Тапер? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев. — Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

— Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

— Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. — Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

— Азагаров, Юрий Азагаров.

— Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и

бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

— Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

— Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

— Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда историческим событием, — продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича:

— Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие *того,* властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-

помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

— Вот что, голубчик Азагаров, — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, — возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, — в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

— Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, — возразил было мальчик.

— Тсс!.. — закрыл глаза Руднев. — Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

— Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

Дорогой друг мой!

Опять, как и прошлой весной, я приехала сюда, на берег моря, в нашу санаторию. Даже и номер мне попался тот же самый. Только в нем зимой переменили обои, и потому в комнате до сих пор слегка пахнет клеем. Не знаю, как у других, но у меня этот запах всегда вызывает ту сладкую и тихую грусть, которая так неразрывно связана с воспоминаниями детства. Может быть, это осталось у меня еще с института. Помню, как, бывало, привозили меня туда после долгих летних каникул. Ходишь по давно знакомым дортуарам, по классам, по коридорам и везде слышишь запах клея, свежей краски, известки и лака. И чувствуешь с тревожной грустью, что опять переступаешь через какую-то новую грань жизни и смутно жалеешь о прошедшем, оставшемся по ту сторону — сером, будничном, неприятном, но уже потому бесконечно милом, что оно прошло и никогда-никогда не повторится... Ах, это прошлое! Какое таинственное, неотразимое обаяние сохраняет оно над нашей душой! Ведь и вам, мой дорогой, я только потому осмеливаюсь писать, что сегодня с самого утра чувствую себя во власти прошлогодних воспоминаний.

Я сижу в настоящую минуту за письменным столом, но стòит мне оторвать от него глаза, и я вижу море, то самое море, в которое мы с вами — помните? — были так поэтически влюблены. Впрочем, даже и не глядя, я чувствую его. Оно как будто бы подымается вверх

ровной, темно-синей пеленой до половины моего окна, раскрытого настежь. Над ним — голубое небо, совсем безоблачное и торжественно-спокойное. А под окном цветет яблоня. Одна из ее ветвей — такая пышная, вся сплошь покрытая нежными цветами, прозрачно-белыми на солнце и чуть-чуть розовыми в тени, — заглядывает ко мне в комнату. Когда с моря набегает легкий ветерок, она слабо раскачивается, точно кланяясь мне с тихим дружеским приветом, и еле слышно шуршит о зеленый решетчатый ставень. Я смотрю и не могу досыта насмотреться на эти плавные движения белой, осыпанной цветами ветки, которая с такой мягкой, прелестной отчетливостью, так грациозно рисуется на глубокой, могучей и радостной синеве моря... И мне просто хочется плакать от умиления перед этой незатейливой красотой.

Наша санатория тонет (простите за старенькое сравнение) в белых волнах цветущих груш, яблонь, миндаля и абрикосов. Говорят, что на языке прежних обитателей-черкесов эта очаровательная приморская деревушка называлась «Белой невестой». Какое милое и какое верное название! Так и веет от него колоритным языком восточной поэзии, чем-то выхваченным прямо из «Песни песней» царя Соломона.

Дорожки нашего сада густо покрыты падающими с деревьев легкими белыми лепестками, а когда подымается ветер, то кажется, будто снег крупными хлопьями медленно опускается с деревьев на землю. Эти легкие снежинки залетают ко мне в комнату, осыпают письменный стол, садятся на платье и на волосы... и я не могу, да и не хочу отделаться от воспоминаний, которые волнуют меня и кружат мне голову, как старое ароматное вино...

Это было прошлой весной, на третий или на четвертый день после вашего приезда в санаторию. Было такое же тихое, прохладное, сияющее утро. Мы сидели на южной веранде, я — в кресле-качалке, крытом голубой парусиной (помните это кресло?), а вы — на перилах веранды, прислонившись к угловому столбу и обхватив его рукой. Боже мой! Вот и сейчас, написав эти строчки, я остановилась, закрыла на несколько мгновений глаза руками, и опять передо мною с необыкно-

венной ясностью встало ваше тогдашнее лицо — худое, бледное, с тонкими, изящными чертами, с прядью темных волос, небрежно свесившихся на белый лоб, и с глубокими, печальными глазами. Я представляю себе даже ту задумчивую и рассеянную улыбку, которая чуть заметно трогала ваши губы, когда вы говорили, мечтательно глядя на падающие лепестки белых цветов:

— Вот и яблони осыпаются... А весна ведь только в самом начале. Отчего этот быстрый и пышный расцвет южной весны всегда возбуждает во мне такое болезненное ощущение тоски и неудовлетворенности? Кажется, не далее, как вчера, я с волнением глядел, как наливаются первые почки, а сегодня уже облетают цветы, и знаешь, что завтра придет холодная осень. Не правда ли, как это похоже на нашу жизнь? Смолоду живешь одними надеждами, все думаешь, вот-вот настанет что-то великое, захватывающее, а потом вдруг точно проснешься и видишь, что у тебя ничего не осталось, кроме воспоминаний и тоски по прошлому, и сам не можешь сказать, в какую пору прошла твоя настоящая жизнь — полная, сознательно-прекрасная жизнь.

Видите, как хорошо помню я ваши слова. Все, что связано с вами, запечатлелось в моей душе яркими, выпуклыми образами, которыми я так же дорожу, любуюсь и наслаждаюсь, как скупой своим золотом. Я вам признаюсь даже, что и приехала я сюда только потому, что мне хотелось еще раз увидеть хоть из окна кусочек нашего моря и нашего неба, чувствовать тонкий аромат цветущей яблони, слышать по вечерам сухое стрекотание кузнечиков и... без конца переживать воображением те наивные, бледные воспоминания, над мелочностью которых рассмеялся бы здоровый человек. Ах, эти здоровые люди!.. С их грубым аппетитом к жизни, с бездной могучих ощущений, испытываемых их крепким телом и равнодушно-расточительной душой, они даже и представить себе не могут тех неуловимо-тонких, непередаваемо-сложных оттенков настроений, которые постоянно испытываем мы, обреченные чуть ли не с самого дня рождения на однообразное прозябание в больницах, курортах и санаториях!..

Здесь все по-прежнему. Только вас нет, мой дорогой друг и учитель. Вы, конечно, догадываетесь, что я, по газетным вестям, узнала о том, что ваше здоровье поправилось и что вы снова заняли кафедру. Наш милейший, жизнерадостный, как и всегда, доктор подтвердил это, сияя от самодовольствия. Без сомнения, он приписывает ваше выздоровление своей системе теплых ванн и изобретенному им пищевому режиму. Ни в то, ни в другое, как вам известно, я не верю, но тем не менее готова была расцеловать этого добродушного эгоиста и наивного корыстолюбца за его сообщение о вашем здоровье.

Зато мной он совсем недоволен: это я видела по тому, как он покачивал головой, морщил губы и громко, с озабоченной серьезностью, дышал носом, когда выслушивал и выстукивал мою грудь. В заключение он советовал мне перебраться куда-нибудь на настоящий юг — в Ментону или даже в Каир; советовал с неуклюжей и шутливой осторожностью, плохо, однако, маскировавшей беспокойство, которое бегало в его глазах. Очевидно, он боится того плохого впечатления, которое произведет среди его пациентов моя смерть, и заранее хочет избавить их от этой неприятности. Мне очень жаль будет причинить невольно ущерб доброй репутации его заведения, но все-таки я считаю себя вправе позволить себе роскошь умереть именно в этом месте, освященном трогательной прелестью ранней весны.

Тем более что это случится гораздо скорее, чем он предполагает; может быть, даже раньше, чем облетят последние белые лепестки с моей яблони. Скажу вам по секрету, что я уже не хожу никуда дальше веранды, да и это мне страшно трудно, хотя у меня все же хватает мужества отвечать беспечной улыбкой на тревожно-вопросительные взгляды доктора. Но не думайте, что я жалуюсь вам в себялюбивой надежде вызвать к себе сострадание. Нет! Я просто хочу воспользоваться правом умирающей говорить то, о чем из условной стыдливости молчат здоровые люди. Кроме того, мне хочется сказать вам, что смерть совсем не страшит меня и что вам, мой друг, только вам я обязана этим философским спокойствием. Я теперь вполне понимаю

ваши слова: «Смерть есть наиболее простое и нормальное из всех жизненных явлений. Человек рождается на свет и живет вследствие одних случайностей, но только умирает по неизбежному закону». Этот прекрасный афоризм стал мне теперь особенно понятен.

Да, вы многому научили меня. Без вас я никогда не постигла бы тех тонких, медленных наслаждений, которые может дать прочитанная книга, изящная и глубокая мысль творческого ума, вдохновенная музыка, красота солнечного заката, аромат цветка и, главное — самое главное, — духовное общение двух утонченных натур, у которых благодаря тяжелому недугу нервная восприимчивость доходит до степени экзальтации, а взаимное понимание принимает характер безмолвного ясновидения.

Помните ли вы наши долгие, неторопливые прогулки вдоль морского берега, под отвесными лучами солнца, в те знойные, ленивые, полуденные часы, когда все, кажется, замирает в бессильной истоме и только волны с тихим шелестом и шипением набегают на желтый горячий песок и уходят назад в сверкающее море, оставляя после себя влажную зубчатую кайму, которая так же быстро исчезает, как след от дыхания на стекле? Помните ли, как тайком от доктора, не позволявшего никому оставаться на воздухе после солнечного заката, мы пробирались в теплые лунные ночи на террасу? Свет месяца прорезывал густые шпалеры из дикого винограда и причудливым легким кружевом ложился на полу и на белой стене. В темноте мы не видели, но угадывали друг друга, и боязливый шепот, которым мы должны были из предосторожности разговаривать, сообщал даже самым простым словам глубокое, интимное, волнующее значение. Помните ли, как в дождливые дни, когда море на целые сутки заволакивалось туманом, а в воздухе пахло мокрым песком, рыбою и освеженными листьями, мы забирались в мою уютную комнату и читали Шекспира, читали понемножку, как истинные лакомки, вдумчиво наслаждаясь каждой страницей, каждой искрой этого великого ума, который становился для меня еще глубже, еще проникновеннее благодаря вашим тонким комментариям. Эти

книжки в мягких переплетах из нежного зеленого сафьяна и теперь со мной. В них на некоторых страницах до сих пор остались кое-где ваши «отметки резкие ногтей», и когда я вновь вижу эти уцелевшие символы, так живо напоминающие мне о вашем нежном восторге перед красотами и безднами шекспировского гения, мной овладевает тихое, меланхолическое умиление.

Помните ли... Ах, я без конца готова была бы повторять этот вопрос, но я чувствую, что уже начинаю уставать, а, между прочим, мне еще хочется сказать вам так много.

Ведь вы, конечно, можете себе представить, что здесь, в санатории, я осуждена на вечное молчание. Меня просто из себя выводят эти обычные, стереотипные фразы, которыми обмениваются наши больные, встречаясь поневоле за завтраком, за обедом, за чаем. Говорят всё об одном и том же: один взял сегодня утром ванну двумя градусами ниже вчерашнего, другой съел винограду на фунт больше, третий взобрался, не останавливаясь, на крутой откос, ведущий к морю, и — представьте! — даже не запыхался. О своих болезнях рассказывают подолгу, с эгоистичным удовольствием, иногда с противными подробностями... Каждому непременно хочется уверить остальных, что таких необычайных осложнений и таких жестоких страданий, как у него, не может быть ни у кого другого. Беда, когда сталкиваются два конкурента, хотя бы по вопросу о простой головной боли. Тут пускаются в ход презрительные пожатия плечами, кривые иронические улыбки, высокомерные мины и самые «ледяные» взгляды: «Что вы мне говорите о своей мигрени! Ха-ха! Это, право, даже смешно! Воображаю, что бы вы сказали, если бы у вас были такие жестокие боли, какие я испытываю каждый день!» Болезнь здесь служит предметом гордости и соревнования, каким-то странным патентом на смешное самоуважение, чем-то вроде почетного ордена. Положим, я замечала это явление и у здоровых людей, но здесь, среди больных... оно становится ужасным, отвратительным, невероятным!..

Поэтому я всегда радуюсь, когда, наконец, остаюсь одна в моем уютном и недоступном уголке. Впрочем,

нет, — я не одна: со мной постоянно вы и моя любовь. Вот я выговорила это слово, и оно вовсе не обожгло моих губ, как это бывает в романах.

Впрочем, я и сама не знаю, можно ли называть любовью это тихое, бледное, полумистическое чувство?

Я не стану от вас скрывать, что девушки нашего круга имеют о любви гораздо более точные и реальные сведения, чем это предполагают их родители, благодушно глядя сквозь пальцы на модное ухаживание. В институте об этом предмете говорят очень много, причем любопытство придает ему какие-то таинственные, преувеличенные, даже уродливые свойства. Из романов и из рассказов замужних подруг мы узнаем о безумных поцелуях, о жарких объятиях, о ночах блаженства, о неге и бог знает о чем еще. Все это мы воспринимаем инстинктом, полусознательно и — вероятно, в зависимости от темперамента, испорченности и догадливости — в большей или меньшей степени глубоко...

В этом смысле моя любовь — не любовь, а сентиментальная и смешная игра воображения. Больная, хилая и слабая — я с самого детства питала ужас ко всем явлениям, где так или иначе выказывается физическая мощь, грубое здоровье и алчность к жизни. Быстрая езда на лошадях, вид рабочего, несущего на спине огромную тяжесть, большая толпа, громкий крик, чрезмерный аппетит, сильные запахи — все это приводит меня в трепет или вызывает во мне брезгливость. И эти же самые чувства я испытываю, когда моя мысль случайно остановится на настоящей чувственной любви здоровых людей, с ее тяжелыми, нелепыми и бесстыдными деталями.

Но если назвать любовью то исключительно тонкое духовное слияние двух людей, при котором чувства и мысли одного какими-то таинственными токами передаются другому, когда слова уступают место безмолвным взглядам, когда чуть заметное дрожание век или слабая тень улыбки в глазах говорит иной раз гораздо больше, чем длинное признание в любви у «людей шаблона» (употребляю ваше же выражение), когда, быстро встретившись глазами за общим столом или в гостиной, при входе нового лица или после только что

сказанной кем-нибудь глупости, два человека умеют без слов поделиться общим впечатлением — одним словом, если такого рода отношения можно назвать любовью, то я смело скажу, что не только одна я, но что мы оба с вами любили друг друга...

И даже... даже не той любовью, которую насмешливо называют братской. Это я знаю потому, что у меня ярко сохранилось воспоминание об одном случае... единственном случае, рассказывая о котором, я боюсь покраснеть. Это произошло над обрывом моря в виноградной беседке, которую и теперь, как и в прошлом году, с жеманной чувствительностью называют «беседкой любви». Было тихое-тихое утро, и море казалось зеленым, того бледного и блестящего зеленого цвета, который бывает у некоторых пород малахита; иногда по его спокойной глади медленно проползало плоское, неровное фиолетовое пятно — тень от облака. В предшествующую ночь я плохо спала, и потому встала вся разбитая, с головной болью и туго натянутыми нервами. За чаем я поссорилась с доктором, не так из-за его запрещения купаться в открытом море, как из-за его самоуверенного и пышущего здоровьем вида. Жалуясь вам на него, в беседке, я расплакалась. Помните ли вы этот случай? Вы растерялись, говорили какие-то бессвязные, но милые, ласковые слова и осторожно гладили меня, как ребенка, по волосам. Это участие совсем растрогало меня, я прижалась головой к вашему плечу, и вы... вы поцеловали меня несколько раз подряд в висок и в щеку. И я должна сознаться (так я и знала, что покраснею на этом месте письма!..), что эти поцелуи не только не были мне противны, но даже доставили мне приятное, чисто физическое удовольствие, похожее на ощущение легкой, теплой волны, пробежавшей по всему моему телу с головы до ног.

Но этот случай был единственный. Ведь вы сами, мой друг, говорили неоднократно, что для таких, как мы с вами, истощенных туберкулезом людей, целомудрие является не добродетелью, а долгом.

И все-таки эта любовь, блеснувшая на мой печальный закат, была так ясна, так нежна, так болезненно-прекрасна! Помнится мне, еще совсем маленькой де-

вочкой-институткой, я лежала в лазарете, в громадной, пустой, страшно высокой комнате, лежала почему-то отдельно от других больных и невыносимо скучала. И вот однажды мое внимание привлекла простая, но удивительная вещь: за окном, в амбразуре, из мха, покрывавшего кое-где выступы старой доекатерининской стены, вырос цветок. Это был настоящий больничный цветок, с венчиком в виде крошечной желтой звездочки и с длинным, тонким, хрупким, белесовато-зеленым стебельком. Я почти не отрывала от него глаз и чувствовала к нему какую-то жалостливую, задумчивую любовь. Дорогой мой, любимый! Этот больной, слабый желтый цветок — ведь это моя любовь к вам.

Вот и все, что я хотела сказать. Прощайте. Я знаю, что мое письмо немного растрогает вас, и это мне заранее приятно. Ведь такой любовью, именно такой, вас, наверное, никто не любил и не полюбит...

Правда, есть у меня одно желание: это видеть вас в тот таинственный час, когда завеса начнет приподыматься перед моими глазами. Не для того, чтобы цепляться за вас в бессмысленном страхе, а для того, чтобы в минуту упадка, ослабления воли, мгновенного и невольного страха, который — почем знать? — может быть, овладеет мною, вы крепко сжали бы мои руки и сказали бы мне своими прекрасными глазами:

— Смелей, мой друг... еще несколько секунд, и ты будешь знать все!..

Но я устою против этого соблазна. Сейчас я запечатаю это письмо, напишу адрес, и вы получите его через несколько дней после того, как я перешагну «загадочную черту знания».

Последним моим чувством будет глубокая благодарность к вам, озарившему мои последние дни любовью. Прощайте. Не тревожьтесь за меня, мне хорошо... Вот я закрыла глаза, и по моему телу опять бежит теплая, сладостная волна, как и тогда... в виноградной беседке... Голова так тихо и приятно кружится. Прощайте!

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК

— Станция Волчья! Поезд стоит пять минут! — закричал кто-то внизу, под окном, быстро проходя с фонарем вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружье в чехле, я вышел из вагона.

Была декабрьская ночь — тихая, светлая и не холодная. Снег только что перестал падать. Маленькая, еле освещенная станция в Полесье казалась неживой и забытой всем миром.

Я оглянулся по сторонам и с удовольствием увидел давно знакомую мне фигуру Трохыма Щербатого, всегда выезжавшего за мною на эту далекую станцию. В своей обычной коричневой свитке, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, с ременным батогом в руке, он стоял посреди платформы, широко расставя ноги, и глядел, раскрывши рот, на освещенные окна вагонов. Я окликнул его.

— А! Здорово, панычу. Гай богу! [1] — прокричал Трохым обычное полесское приветствие и на ходу дотронулся рукою до верха своей шапки. — А я вас по тех вагонах шукал. Ну что же? Будем ехать, паныч? Бо кони застоялись.

— Поедем. А как дорога по лесу?

— Дорога ничего. Добрая дорога. Трошки только

[1] Помогай богом! *(Прим. автора.)*

снегом позамело, да я добре протропил ее. Позвольте-ка, панычу, ваш чумардан.

Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесских станциях, возвышался круглый палисадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне, две гнедые лошади Трохыма, маленькие, пузатые, шершавые и сердитые «муцики», ели сечку, низко опустив косматые головы в рядно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши.

Мы уселись. Трохым зачмокал и задергал вожжами, высоко подымая локти. Промерзшие лошаденки тронули мелкой, но веселой и согласной рысцой, Трохым не погонял их, берег: до «Казимирки» нам предстояло сделать обратным путем двадцать с лишним верст. Время от времени — и то больше по привычке — он ободрял их странными туземными восклицаниями: «Хаття вы! хаття ну! виштя каштя! Отту ни! Виштя вье!» И так далее.

Сейчас же за станцией пошел лес, огромный казенный хвойный лес, входивший в состав южной части знаменитой Беловежской пущи. Узкая дорожка вилась между двумя стенами вековых гигантских сосен такими капризными поворотами и зигзагами, с которыми умеют справляться только одни маленькие, ловкие и привычные полесские лошадки. Вершины деревьев, теряясь где-то в неизмеримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещенного молодым месяцем, и видно было, как в этом далеком просвете с необыкновенной быстротою проносились клочья легких и прозрачных, как пар, облаков.

Сани беззвучно скользили по свежей, нежной пороше, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно похрустывал. Великаны сосны протягивали через дорогу, точно белые руки, свои пышные, отягощенные снегом ветви. Порою большой мягкий комок срывался сверху и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом.

Вытянув ноги на сене, плотно покрывшем дно саней, и привалившись спиной к широкому задку, я иногда закрывал глаза, и непременно через несколько минут

мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад, к станции. И я нарочно длил этот странный физический обман, так живо всегда переносящий меня в область воспоминаний детства, но когда опять открывал глаза, то снова навстречу мне шла однообразная колоннада могучих темных стволов, передо мною рисовалась все та же неподвижная спина Трохыма, сидевшего боком на каком-то мешке, а впереди смутно и равномерно колебался вверх и вниз черный круп левой лошади. Тихая лень, без мыслей, без ощущений, понемногу охватывала меня.

Кажется, я задремал, потому что внезапно, вдруг почувствовал себя бодрствующим и встревоженным каким-то странным звуком, похожим на завывание ветра в печной трубе. Я прислушался. Казалось, в страшном отдалении, на самом краю света, кто-то стонал и плакал на весь лес. Этот плач начинался очень низко и жалобно, восходил вверх непрерывными печальными полутонами, задерживался долго на высокой унылой ноте и вдруг обрывался невыразимо тоскливым рыданием.

— Никак волки, Трохым? — спросил я.

— А волки, — подтвердил спокойно Щербатый. — Теперь их в лесу богато. Свадьбы свои играют. Но-о-о вы, малы! Злякались? Не буйсь! — окрикнул он лошадей и стегнул правую, которая начинала артачиться и жалась к дышлу...

— А може, это и не волк трубит, а вовкулак [1], — заговорил вдруг Трохым после долгого молчания, в продолжение которого я беспокойно прислушивался к далекому вою.

— Вовкулак?

— Ну, да, вовкулак. Бывают, чуете, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубят. У нас на Полесье этой погани богацько. Там за разных водяных и лесных чертяках, за видьм и за видьмаков, я не знаю, чи тому правда, чи ни. Може, одни бабьи сплетки. А вовкулаки у нас водятся — то правда.

Трохым еще раз крикнул на лошадей, повернул ко

---

[1] Вурдалак, упырь. *(Прим. автора.)*

мне темное лицо с белыми от мороза усами и повторил, понижая голос:

— Это самая истинная правда. Я вам скажу, паныч, что даже у нас в Казимирке один раз такое трапилось. Вы ведь знаете Омельчука? Ивана Омельчука, что сейчас возле гребли сидит? [1]

— Знаю. Так что же он? — спросил я, и в моей памяти встала, как живая, приземистая, сутуловатая фигура седого старика с печально-суровыми недоверчивыми глазами, глядящими исподлобья на изрытом оспой лице.

— Он — ничего. А вот его батьки старший брат, Омельчуку, значит, дядька — тот был настоящим вовкулаком. Это все в Казимирке знают, хоть кого хотите спытайте. Старики — те его своими глазами видели, потому что застали его еще человеком. Значит — правда. Да вы лучше послухайте, что я расскажу вам.

И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из века в век и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порою в самую вероятную быль ближайших лет.

Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полесском говоре. Двадцать лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем, а теперь предпочту язык великорусский.

У старого Омельчука было два сына: Стецько и Назар. Назар — младший сын — был хлопец, как и все хлопцы; ничего о нем ни особенно хорошего, ни дурного не было слышно. Другое дело старший, Стецько. Вся молодежь считала его за казака и своего атамана. Даже старики говорили, что уж на что в их времена народ был красивее, удалее и крепче, чем теперь (известно: старикам всегда кажется, что в их время все лучше было), а такого ловкого, статного и веселого хлопца, как Стецько, даже и они на своем веку не припомнят. Выйдет ли народ на работу — Стецько впереди всех. Первым придет в поле, последним уйдет.

[1] Живет. *(Прим. автора.)*

Косит, пашет, боронит, рубит, пилит так, что четверым за ним не угнаться. А когда наступила страдная летняя пора, то, бывало, он, не покидая поля и не спя, четыре зари встречал. Такой был жадный на работу.

А вечером, глядишь, он уже и на «досвитках» первый смеется и балагурит до самого утра и такие «выкомаривает» штучки, что другие, на него глядя, только за животы хватаются. Дивчата к нему льнули, как мухи к меду, и — что греха таить — не одна из них потом, в первую брачную ночь, побитая мужем, плакалась на Стецькову красоту, на карие его очи, на черные брови и на заманчивую сладкую речь. Словом — не хлопец был, а орел.

Умел он и в беседе со стариками сказать умное слово почтительно и кстати. И на клиросе пел по праздникам и с начальством знал, как обращаться. А в ту пору ведь известно, какое было начальство. У него разговоры были короткие: «Правда твоя, человиче, правда, а не хочешь платить — так снимай штанцы и ложись».

Одно слово: был Стецько первый любимец во всей деревне.

Да вот беда: дошла до Стецька «очередь», забрили ему лоб и угнали в москали. Все село плакало, когда его провожали. А он ничего: пошел веселый такой, светлый. «Что вы, говорит, надо мною, как над покойником, плачете? Нигде ваш Стецько не пропадет: ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет».

Далеко его угнали, куда-то в самые раскацапские губернии. Однако в скором времени от него письмо пришло. Писал он, что живется ему хорошо, товарищи его любят, начальство не обижает, а если и бьют, то не сильно и самую малость, потому что без боя на военной службе никак невозможно. Потом писал он еще раз и говорил, что назначили его в полковой церкви за псаломщика. А там и совсем перестал писать, потому что тогда началась у нас большая война с турками.

Прошло с того времени полтора года. О Стецьке ни слуха, ни весточки; так все и думали, что либо в плен его забрали, или убили в каком-нибудь сражении. Как вдруг осенью, точно снег на голову, явился сам Стецько. Черный, худой, как смерть, правая рука на пере-

вязи и на левую ногу кромает. Оказывается, отпустили его в бессрочную, отпустили с медалью и с двумя турецкими пулями в теле, под кожей. Да денег с собой принес он сотни четыре с «гаком», говорил, что накопил на службе. Да еще: выучился говорить по-басурмански.

Но явился он совсем не таким, как пошел в солдаты, как будто бы его там, на войне, подменили: ни смеха, ни шутки, ни песни. Сидит целый день, как старик, на присьбе[1], опустив очи в землю, и все думает, думает... Заговорят с ним — он отвечает, только неохотно так, еле-еле, и сам в глаза не смотрит, а смотрит куда-то перед собою, точно что-то впереди себя разглядывает...

Увидел старый Омельчук, что его сын сумуется, поговорил со своей старухой, посоветовался с попом и решил женить Стецька. Известно: у женатого человека и мысли совсем другие на уме, чем у холостого, — некогда о пустом думать. Но Стецько, когда только услышал о свадьбе, так и уперся — «як не наче той вул»! не хочу, не хочу, и кончено. Отец уж и просил, и молил, и грозился — ничего не помогает. Наконец старая мать стала перед сыном на колени. «Не встану, говорит, до тех пор, пока ты не дашь согласия; не буду ни есть, ни пить и с места этого не сойду до самой смерти...» Не мог перенести Стецько материнского горя. «Добре, — сказал он, — жените меня, если вам уж так не терпится. Только смотрите, чтобы вам потом не пришлось горько в этом деле раскаяться».

И женили Стецька. На рождество свадьбу играли. Все село заметило, что в церкви Стецько стоял хмурый, как ночь, ни одного раза лба не перекрестил и с невестою не поцеловался. Когда же пришли из церкви в хату, то и тут он сидел такой, совсем темный, что глядеть на него тошно было, и ни с кем не разговаривал.

По старому обычаю, освященному церковью и предками нашими, хотели дружки отвести с песнями молодых в особую каморку, как на всем свете у добрых людей делается, но Стецько сказал им: «Оставьте в покое

[1] Заваленка. *(Прим. автора.)*

и меня и жену. Это не ваше дело». Стали было хлопцы над ним слегка подсмеиваться, но он вдруг как заскрипит зубами и так глазами на них сверкнул, что у них сразу отшибло всякую охоту к забавным шуткам.

Прошло после женитьбы недели с две, а Стецько — все такой же: на жену даже и не смотрит, как будто бы ее совсем в хате нет.

А жена у него была красивая и молодая, взятая из богатого дома. Звали ее Грипой. Долго терпела красавица Грипа, никому не говорила, наконец не выдержала, пришла к своей матери, заплакала и стала жаловаться на мужа. Не так ей было обидно, что муж ни спать, ни говорить с ней не хотел, а то, что каждый день около полуночи уходит он из дома и возвращается назад только к раннему утру. Бог его знает, что он в эти ночные часы делает и с кем время проводит.

Мать Грипы, конечно, об этом рассказала старому Омельчуку. Сильно огорчился старик. «Срам-то какой! Но, нет! Постой! — думает. — Выслежу я Стецьковы штучки и выведу их на чистую воду. Это, может быть, у москалей или у басурман такой порядок есть, чтобы от жен молодых бегать по ночам, а я такой глупости ему не позволю».

В ту же ночь пробрался он потихоньку в огород и притаился в шалаше. Ночь была светлая, месячная, и мороз стоял такой, что деревья трещали. Ждал Омельчук около часа, совсем промерз старик и уже хотел назад в хату идти. «Этих чертовых баб, думает, как послушаешься — всегда в дурнях будешь». Только вдруг слышит он — заскрипела дверь в хате. Обернулся, крадучись, и видит, что вышел на двор его сын, Стецько.

Постоял Стецько на дворе, поглядел на месяц, оглянулся вокруг, а сам такой белый, как бумага, и очи горят, точно две свечки. Страшно стало Омельчуку. Зажмурил он глаза и прижался изо всех сил к глинобитной стене. Но так как он был все-таки человек смелый, то решился, наконец, опять открыть глаза. Смотрит — нет уже на дворе Стецька, а из ворот на улицу выбегает огромный белый, весь точно серебряный, волк.

Все тогда понял старик, и уж тут его, вместо страха, такое зло разобрало, что, не долго думая, выдернул он

из тына здоровенный дрючок, перекрестился и помчался в погоню за вурдалаком-оборотнем.

Бежит белый волк по улице. Перебежал через мост, потом в лес ударился, а сам все на одну заднюю ногу хромает, ну точь-в-точь, как Стецько. Скоро его Омельчук совсем из виду потерял, но месяц в эту ночь светил так ярко, что следы на снегу лежали, как отпечатанные, и по ним старик бежал все дальше и дальше.

Вдруг слышит он: впереди его, в лесу, волк затрубил, да так затрубил, что с деревьев иней посыпался. И в ту же минуту со всех концов леса откликнулись сотни, тысячи волчьих голосов. А старика только еще больше злоба одолевает: «Будь что будет, думает, я об его проклятую спину весь дрючок измочалю».

Пришел, наконец, Омельчук на большую поляну и видит: стоит посередине большой бело-серебристый волк, а к нему со всех сторон бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ластятся к нему, шерсть на нем лижут. А потом принялись играть между собою, совсем как молодые собаки. Гоняются и воют на месяц, поднявши острые морды кверху.

Смотрит старик и глаз отвести не в силах. Вдруг где-то далеко по дороге колокольчик зазвенел. Мигом вскочили все волки на ноги, уши торчмя поставили, а сами в ту сторону морды повернули, откуда звонок... Но послушали, послушали немного и опять принялись играть вокруг старшего — белого. Кусают снег, прыгают один через другого, рычат, а шерсть у них на месяце так и переливается и зубы блестят, как сахар...

Опять на дороге колокольчик зазвякал, но теперь совсем с другой стороны, и опять поднялася вся стая. Прислушались волки на минутку и ринулись все сразу, как один, понеслись по лесу и пропали.

Не долго ждал старый Омельчук. Услышал он вскоре, как вдруг забился неровно и торопливо отдаленный колокольчик, — понесли, должно быть, испуганные кони. Потом крик человеческий по лесу разлетелся, такой страшный и жалкий крик, что у Омельчука сердце обмерло и упало от ужаса. Потом где-то близко на «шляху» раздался бешеный топот, и долго

было слышно, как на раскатах разбитые в щепки сани колотились о сосновые корневища.

Зарыдал бедный старик, что было духу побежал назад и всю дорогу, не переставая, крестился.

Сам он не помнил никогда, как бежал лесом, как попал в село и как добрался до своей родной хаты. Поставил он уже ногу на перелаз и весь задрожал: стоит у ворот Стецько. Смотрит батьке прямо в очи и дышит, как запаренный: видно, что от бега запыхался. Ничего ему отец не сказал и уже поставил ногу через перелазок, как вдруг Стецько сам заговорил:

— Постой, батька. Ты думаешь, я не знаю, что ты за мною следом бегал? Ну, так поди завтра в церковь и отслужи молебен за то, что живой назад вернулся. Если бы не я — разорвали бы тебя на мелкие кусочки и умер бы ты без покаяния.

Стоит Омельчук на перелазе, очей от сына отвести не может, а тот дальше говорит:

— Сегодня ночью, под сочельник, большая власть дана нам, вовкулакам, над людьми и зверями. Только тех мы не смеем трогать, кто в эту ночь *не своею волей* из дому вышел. Вот потому-то ты так удивился, что мы первого проезжего не тронули: его хозяин по делу послал. А второй был купец. Ехал по своей корысти, торопился на ярмарку... Толстый был, как кабан. Мясистый. Жирный...

И блеснул глазами, как красными огнями. А старику вдруг показалось, что рот и усы Стецька густо вымазаны красной кровью.

Взмахнул он дрючком, но не попал, промахнулся. Стецько же сразу исчез, как будто его и не бывало. Только голос его как бы из-под земли послышался, тихий и печальный:

— Не сердись, отец. Больше не приду в наши края никогда. И поверь: чья душа проклята свыше — нелегко ему на свете жить.

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Мой милый, сердитый друг! Я потому пишу — сердитый, что заранее воображаю себе: сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено, в моей гостинице. Дорогой мой, я просто-напросто бежала от вас, или нет, вернее — от нас обоих, бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами.

И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии: ведь вам больше всех на свете известно, как оно покидает меня в самых нужных случаях! Бог свидетель, до последней минуты я не знала, поеду ли я на самом деле, или не поеду. Вот и теперь я совсем не уверена в том, что до конца устою против нестерпимого соблазна еще один раз, хоть мельком, хоть издали взглянуть на вас.

Я даже не знаю, удержусь ли я от того, чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка, и потому, окончив это письмо (если только мне удастся его окончить), я отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. А я буду из окна следить за ним и чувствовать, точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце.

Простите меня: все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы уславших

меня сюда из Петербурга, все это было неправдой! Я приехала только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари.

Я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, который называется петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и т. д. и т. д., и во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости, — я уж не помню, как это говорится в романах, — нашего общества. Я втянулась в эту жизнь, полную комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся предо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама я что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется, что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно «понарочку», как выражалась когда-то моя нянька — Домнушка.

И вдруг среди этой тусклой и равнодушной жизни меня, точно волной, взмыло наше милое, сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении, и в то же время так бедны содержанием, что если их рассказать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, — выйдет ничтожно и плоско до смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцио, и — боже мой, какая в этом глубокая психологическая правда!

Ну, так вот и я однажды проснулась утром после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами где-то

далеко-далеко в море. Вы сидели на веслах, а я лежала на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я гляжу вниз в бездонную пропасть. И какое-то непостижимое, радостное чувство так нежно, так гармонично овладело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей душе, точно прирос к ней. Небольшим усилием воображения мне часто удавалось вызывать его в памяти и вместе с этим вновь испытать слабую тень той радости, которая его сопровождала.

Иногда это случалось в гостиной, во время какого-нибудь пустого разговора, который слушаешь не слыша, и тогда я должна была закрывать на несколько мгновений руками глаза, чтобы не выдать их неожиданного сияния. О, как сильно, как неотступно повлекло меня к вам. Точно живая, воскресла предо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Все мне вдруг вспомнилось: внезапные ссоры, с нелепой ревностью и смешными подозрениями, и веселые примирения, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя; нетерпеливые ожидания в условленном месте; чувство тоскливой пустоты в те минуты, когда мы, расставшись вечером, чтобы сойтись опять на другой день утром, по многу раз оборачивались одновременно назад и издали, из-за плеч разделявшей нас толпы, розовой от пыльного солнечного заката, встречались глазами; вспоминалась мне вся эта сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья!

Мы не могли усидеть на месте. Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных, душных дилижансах, завешанных грязной парусиной, в обществе хмурых немцев, с жилистыми красными шеями, с лицами, точно вырезанными грубо из куска дерева, и чинных тощих немок, которые делали широкие, изумленные глаза, прислушиваясь к нашему

сумасшедшему хохоту. А эти случайные завтраки у какого-нибудь «доброго, старого, честного колониста», под тенью цветущей акации, в глубине маленького, чистенького дворика, обнесенного белой низкой стеной и усыпанного морским песком? С каким невероятным аппетитом набрасывались мы на жареную скумбрию и на местное мутное и кислое вино, не переставая делать тысячи нежных и смешных глупостей, вроде того исторического дерзкого поцелуя, который заставил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые июльские ночи на тонях?.. Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярок, что казался преувеличенным, неправдоподобным; это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара, а на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону?

Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое, оно живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него... Понимаете ли,— никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, — я уж не знаю, кто, — дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего.

Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тотчас же поспешили ко мне. Вы торопились и были взволнованы: это я узнала издали по вашим скорым, нервным шагам и по тому еще, что, прежде чем постучаться, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там, за дверью, всего в двух

шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание... И почему-то в то же время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывала настроение, похожее на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе: это неправда, это — сон.

Вы изменились за это время, возмужали и как будто бы выросли; черный сюртук идет к вам гораздо больше, чем студенческий мундир, манеры у вас стали сдержанней, глаза смотрят уверенней и холодней, модная остроконечная бородка положительно красит вас. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я охотно верю, что вы сказали это искренно, тем более что я прочла это в вашем первом, беглом и несколько удивленном взгляде. Ведь каждая женщина, если она не безнадежно глупа, никогда не ошибется насчет того впечатления, которое произвела ее наружность...

Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидя в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловкой для нас обоих. Мы обменивались незначительными, обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой, незнакомой жизнью... Разговор у нас не вязался. Начав его на «вы», в искусственно-оживленном тоне, мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом удалить его.

Весенний вечер тихо угасал. В комнате сделалось темно. Я хотела позвонить, чтоб приказать принести лампу, но вы попросили меня не зажигать огня. Может быть, темнота способствовала тому, что мы решились, наконец, коснуться нашего прошлого. Мы заговорили о нем с той добродушной и снисходительной насмешкой, с какой взрослые говорят о своих детских

шалостях, но, странно, чем больше мы старались притворяться друг перед другом и сами перед собой — веселыми и небрежными, — тем печальнее становились наши слова... Наконец мы и совсем замолчали и долго сидели — я в углу дивана, вы — на кресле, — не шевелясь, почти не дыша. В открытое окно к нам плыл смутный гул большого города, слышался стук колес, хриплые вскрикивания трамвайных рожков, отрывистые звонки велосипедистов, и, как это всегда бывает весенними вечерами, эти звуки доносились до нас смягченными, нежными и грустно-тревожными. Из окна была видна узкая полоса неба — цвета бледной вылинявшей бронзы, — и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигуры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы.

Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые, трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, которого мы оба любили когда-то одинаково горячо. Тихое кладбище... весна... везде молодая травка... сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник — наша старая любовь, дорогой мой!

Вы вдруг прервали молчание, вскочив с кресла и резко его отодвинув.

— Нет, так нельзя! Мы совсем измучим себя! — воскликнули вы, и я слышала, как тоскливо задрожал ваш голос. — Ради бога, пойдемте на воздух, потому что иначе я расплàчусь или сойду с ума!..

Мы вышли. В воздухе была уже разлита полупрозрачная, мягкая, смуглая тьма весеннего вечера, и в ней необыкновенно легко, тонко и четко рисовались углы зданий, ветки деревьев и контуры человеческих фигур. Когда мы прошли бульвар и вы подозвали коляску, я уже знала, куда вы хотите меня повезти.

Там все по-прежнему. Огромная площадка, плотно утрамбованная и усыпанная крупным желтым песком,

яркий голубой свет висячих электрических фонарей, резвые, бодрящие звуки военного оркестра, длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами, стук ножей, неразборчивый и монотонный говор толпы, торопливо снующие лакеи, — все та же подмывающая обстановка дорогого ресторана... Боже мой! Как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянны, непоколебимы окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Знаете ли, попадались мне иногда дурные квартиры, даже не просто дурные, а отвратительные, невозможные и притом связанные с целой кучей неприятных событий, огорчений, болезней. Переменишь такую квартиру, и прямо кажется, что в царство небесное попал. Но стоит через неделю-другую проехать случайно мимо этого дома и взглянуть на пустые окна с приклеенными белыми билетиками, и — душа сожмется от какого-то мучительного, томного сожаления. Правда, было здесь гадко, было тяжело, но все-таки здесь как будто бы осталась навеки целая полоса твоей жизни, — невозвратимая полоса!

Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы: темно-карминную и чайную? Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты и теперь хочешь сделать то же самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый!

Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море; сверху оно казалось таким черным и жутким! Недалеко от берега торчат из воды большие, черные, угловатые камни. На них то и дело набегали волны и, разбившись, покрывали их буграми белой пены; когда же волны уходили назад, то отшлифованные прибоем мокрые бока камней блестели, как лакированные, отражая свет электрических фонарей. Ино-

гда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким, здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что от него сама собой расширялась грудь и вздрагивали ноздри...

А нас все сильнее, все тягостнее сковывало что-то нехорошее, скучное, принужденное... Когда принесли шампанское, ты, наливая мой бокал, сказал с мрачной шутливостью:

— Попробуем хоть искусственно приподнять себя. Выпьем этого храброго, доброго вина, как говорят пылкие французы.

Нет, нам все равно не помогло бы и храброе, доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавил с длинным вздохом:

— А помните, как мы с вами бывали от утра до вечера пьяны без вина, одной нашей любовью и радостью существования?

Внизу, в море, около камней показалась лодка. Большой, белый, стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и подымаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должно быть, иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальдтейфелевского вальса.

Ты тоже следил глазами за парусом и, не отрываясь от него, произнес мечтательно:

— Хорошо было бы теперь сесть в такую шлюпку и уехать далеко-далеко в море, так, чтоб берега не было видно... Помните, как в прежнее время?

— Да, умерло наше прежнее время...

Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь... Через минуту ты заговорил глухим, точно сразу охрипшим голосом:

— Как странно сошлись наши мысли! Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей шесть лет тому назад так безумно любили друг

друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете. Они умерли... умерли...

Мы поехали обратно в город... Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные виллами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решетки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улицу густая зелень платанов; огромные, все в резьбе, точно в кружевах, ворота; сады, увешанные гирляндами разноцветных фонарей; ярко освещенные роскошные веранды; экзотические растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий, приторный, конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд сыроватым холодком, но тотчас же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи.

Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно. Ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожала ее, твоя рука ответила мне дружеским, извиняющимся пожатием...

Но я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие. И я не ошиблась. Перед тем как расстаться, у подъезда гостиницы, ты попросил позволения навещать меня. Я назначила день, и вот... прости меня... я тайком убежала от тебя. Дорогой мой! Если не завтра, то через два дня, через неделю в нас вспыхнула бы просто-напросто чувственность, против которой бессильны и честь, и воля, и рассудок. Мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и — что всего ужаснее — постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым.

Прощайте. Сгоряча я и не заметила, как перешла в письме на «ты». Я уверена, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорбленного самолюбия, вы согласитесь со мною и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд.

Сейчас в дверь вошел швейцар и прозвонил первый звонок. Но теперь я уже уверена, что устою от искушения и не выскочу из вагона...

И все-таки наша короткая встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина: «Цветы осенние милей роскошных первенцев полей... Так иногда разлуки час живее самого свиданья...»?

Да, мой дорогой, именно осенние цветы! Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дождливое утро, выйти в сад? Деревья — почти голые, сквозят и качаются, на дорожках гниют опавшие листья, везде смерть и запустение. И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах, и тоскуешь. Все есть в этой тоске: и сожаление о быстро промелькнувшем лете, и ожидание холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по своему собственному, так быстро пронесшемуся лету... Милый мой, дорогой, единственный! Совершенно такое же чувство владеет теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас в ваши умные красивые глаза.

Ваша З.

ПО ЗАКАЗУ

Илья Платонович Арефьев, фельетонист распространенной газеты, ходит по своему кабинету — от угла кожаного дивана до этажерки с бюстом сурового Шопенгауэра, задевает руками и ногами за спинки стульев и сердится. С ним случилось то, что называется у игроков метким словечком: «заколодило». Уже больше часа ломает он голову и не может выжать из нее ни одной живой строчки, а на приготовленной для писания бумаге красуются: солдат, стоящий около полосатой будки, лошадиная морда в профиль с удивленным человеческим глазом и несколько кошек, нарисованных с одного почерка.

Арефьев — старый газетный волк. Не только юные поэты и почтенные сочинительницы дамских повестей, но и «наши молодые, подающие надежды беллетристы» не без волнения пробегают четверговые номера «Русской почты», в которых Илья Платонович, под псевдонимом «графа Альмавивы», производит еженедельное избиение литературных младенцев. Но эти кровавые расправы не составляют его специальности. Он одинаково легко пишет о золотой валюте и о символистах, о торговле с Китаем и о земских начальниках, о новой драме, о марксистах, о бирже, о тюрьмах, об артезианских колодцах, — словом, обо всем, что он слышит в воздухе своим тонким, профессиональным чутьем. Он раньше всех схватывает на лету, ловит за

хвост ту тему, которая еще не сделалась сегодня, но сделается завтра всеобщей злобой дня, и тотчас же перед его умом, изощренным в сарказме и гиперболе, вырастают с привычной резкостью смешные, темные и уродливые стороны явления.

До сих пор Илья Платонович не знал никаких технических трудностей своего ремесла. Ему достаточно было только заинтересоваться и овладеть идеей. Он садился к столу уверенный, что слова придут сами собой, и они на самом деле приходили к нему, живые, интересные, хлесткие и остроумные, выливаясь без единой помарки четкими красивыми строчками на бумагу. Он даже никогда не перечитывал своих фельетонов, прежде чем отослать их с типографским мальчиком в редакцию.

И вот сегодня случилось что-то непонятное. Один видный литературный кружок предпринял в пользу детской санатории издание литературного альманаха. Пригласили участвовать и Арефьева, причем с надлежащей, очень лестной почтительностью дали ему понять, что от него ждут «чего-нибудь такого, знаете ли, потеплее, что хорошенько расшевелило бы читателя»... Арефьев охотно дал согласие, потом, по обыкновению, забыл о нем, и, наконец, вчера, когда ему деликатно напомнили, что из-за его рассказа задержали печатание на два дня, он сделал и последний промах, обещав самым положительным образом прислать рукопись никак не позже сегодняшнего вечера.

Вернувшись в семь часов вечера домой, он, как и всегда, аккуратно зажег лампу с подвижным металлическим рефлектором, поставил ее по левую руку от себя, положил перед собою наискось десть линованной бумаги, даже обмакнул перо в чернильницу — и вдруг с удивлением почувствовал, что ему не о чем писать. Дело другого рода, если бы предстояло написать ядовитый, зажигательный фельетон. Тем более что и темы подвертываются самые ходкие. Вот, например, лежит перед Арефьевым последняя книжка «Литературного приложения», где «наш молодой талантливый поэт» с апломбом выдает за свое произведение стихи Тютчева, известные публике еще по хрестоматиям. Не менее

заманчив отчет о благотворительном спектакле, устроенном в пользу сирот севастопольских инвалидов, причем чистый сбор выразился в сумме три рубля семь копеек, а на извозчиков для господ любителей и на угощение их «чаем» потрачено более трехсот рублей. Но, к сожалению, в обеих темах нет ничего такого, что могло бы расшевелить читателя и раскрыть его карман в пользу слабогрудых ребятишек.

А между тем Илья Платонович чувствует, что в его душе зашевелился червячок профессионального самолюбия. Как? Неужели он, Арефьев, не в состоянии написать простого пасхального рассказа, в то время когда самый захудалый репортер, заведующий обыкновенно бешеными собаками и буйными извозчиками, уже наверно успел стащить в редакцию, пользуясь привилегиями, существующими для праздничных произведений, какого-нибудь внезапно раскаявшегося ростовщика или старуху, «мирно засыпающую вечным сном под радостный звон колоколов». Неужели, привыкнув в продолжение стольких лет вызывать в читателе насмешливые и злобные настроения, он потерял навсегда способность затрагивать в его сердце чувства милосердия, нежности и тихой радости? Неужели его талант специализировался, утратил самое драгоценное качество — разносторонность?

Арефьев продолжает свою нервную беготню от угла дивана до бюста великого скептика, а насмешливый ум, как будто нарочно, дразнит его, подсказывая ему шаблонные фразы из «дамских повестей», над которыми он так «охотно и беспощадно глумился в четверговых фельетонах». «Он подошел к окну, прижался пылающим лицом к холодному стеклу, по которому, точно слезы, струились дождевые капли». — «Князь метался взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету, что всегда служило у него признаком дурного настроения». — «Был тихий майский вечер. Солнце садилось, озаряя своим пурпуровым светом окрестность»...

— Хорошо было бы написать рассказ сплошь из таких милых фразочек, — соблазняет Илью Платоновича старая привычка смотреть на все с юмористи-

ческой стороны. — Да. Так бы и начать: «На башне св. Стефана глухо пробило полночь. Из-за угла невзрачной лачуги показался незнакомец высокого роста. Лицо его было закутано широким плащом. Шляпа с пером и длинная шпага на боку доказывали его благородное происхождение».

Но Арефьев гонит от себя эту предательскую мысль и опять принимается метаться взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету.

— Подожди. Разберемся в этой задаче постепенно, — говорит он сам с собою. — Во-первых, для того чтобы взволновать и умилить читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и умилиться. Нужно пролить ту самую слезу, которую в дамских повестях проливают, сваливая ее на слишком крепкий табак, старые полковники по окончании чувствительного рассказа. «В комнате воцарилась гробовая тишина. Старый полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернувшись от слушателей. Наконец он выпрямился и, оттирая глаза, сказал дрожащим голосом: «Черт побери! Какой, однако, у вас крепкий табак, ротмистр!» — «А что же сталось с несчастной Заирой?» — решилась спросить после долгого молчания дама с палевой розой в волосах. «Она умерла!» — глухо ответил старый полковник».

— Черт! Какая чепуха лезет в голову! — бранится вслух Арефьев и сердито толкает ногой подвернувшийся стул. — Ведь этак выходит, что я похож на того анекдотического попугая, который не умел ничего говорить, кроме скверных слов. Нет, будем последовательны и разберем спокойно, на какие сюжеты самый большой праздничный спрос. Ну-с, раньше всего, конечно, легкомысленная жена, возвращающаяся к покинутому мужу с первым ударом колокола. «Револьвер выпал из его рук и с грохотом покатился по полу. Он широко размахнул свои объятия, она упала к нему на грудь, и их уста слились в долгом, долгом поцелуе...» Одним словом, долой легкомысленную даму!..

Затем следует солдат, стоящий в пасхальную ночь на часах. «Какая-то черная тень промелькнула на

белом фоне тюремной стены, ярко освещенной луной. Часовой быстро, привычной рукой взвел курок и прицелился. Но в эту минуту в воздухе торжественно-гулко разлился первый звук благовеста, и ружье медленно опустилось вниз... Глубокий вздох облегчения вырвался из взволнованной груди» и так далее и так далее. Хорошая история, старая, верная, испытанная... Мимо!..

Что же еще?.. Недурно тоже заморозить на улице нищую девочку, глядящую в ярко освещенные окна богатого дома. «Снег медленно падал мягкими пушистыми хлопьями, засыпая неподвижную фигуру ребенка, на лице которого застыла блаженная улыбка». Впрочем, это из рождественских тем — и потому в сторону.

Илья Платонович подходит к окну и равнодушно смотрит на улицу. Вечер тихий, ясный и теплый; все в нем кажется смягченным, размеренным — и задумчивое небо, и чистый полукруг ущербленного месяца, и тонкие ветки акаций, и контуры громадных темных зданий. В чутком и ленивом воздухе голоса прохожих и женский смех отдаются с приятной звучностью, даже колеса экипажей стучат как-то особенно, по-весеннему мягко.

Напротив, через улицу, перед окнами большой кондитерской столпилась кучка оборванных мальчишек. Они никак не могут отвести глаз от выставленных за большими стеклами исполинских баб, размалеванных куличей, сахарных барашков и висящих на ниточках пестрых яиц. Эти мальчишки почему-то раздражают Илью Платоновича.

«Ишь как прилипли к стеклу носами. Ведь вон того, что с колодками под мышкой, наверно, хозяин послал к заказчику офицеру. А он перед каждым окном зевает. Ну и опоздает и получит трепку ради праздника, а потом в газете заметка о зверском обращении. Так тебе и надо, канальский мальчишка!.. Гм... А впрочем, и еще хорошенькая темочка. «Бледный, изнуренный мальчик любуется на куличи, выставленные в роскошной кондитерской. Неожиданно появляется на сцену таинственный господин с золотыми очками и

непременно в богатой лисьей шубе (вообще удивительную энергию проявляет на святках этот господин!). Завязывается разговор. Оказывается, что «тятька» у мальчика умер, столетний «дедка», согнутый в дугу, не слезает с печи, «мамка» лежит больная, сестренка... ну, и так далее. «Веди меня туда!» — решительно говорит господин в золотых часах, и через полчаса у мамки появляется хорошее вино и лекарство, прописанное лучшим доктором, дедку накормили манной кашей и купили ему теплый набрюшник, изнуренный мальчик, «радостно блестя глазенками», прыгает вокруг стола, на котором красуется недорогая пасха, скромный кулич и десяток красных яиц, а господин в лисьей шубе незаметно скрылся, не сказав даже своего имени, но оставив на столе кошелек, наполненный золотом».

Часы за стеной глухим, певучим, медленным баритоном бьют девять. Арефьевым вдруг овладевает странная, незнакомая ему до сих пор душевная усталость и непобедимое отвращение ко всем этим изнуренным мальчикам, покинутым мужьям и таинственным незнакомцам. Он лениво валится на широкий кожаный диван и закрывает глаза.

Если бы кто-нибудь поглядел теперь на Илью Платоновича, то, наверно, почувствовал бы жалость к этому злоязычному фельетонисту, к этому «господину насмешнику». Лицо его посерело и точно состарилось сразу лет на десять, на лбу резче обозначились тревожные зигзаги морщин, закрытые глаза глубоко ушли в черные тени орбит, а складки вокруг губ, опустившись вниз, придали рту горькое и брезгливое выражение.

Но Илья Платонович не спит. На него нашло неподвижное состояние полудремоты, полубодрствования и грезы, неожиданно и бессознательно цепляющихся друг за друга. Время исчезло. Стены кабинета ушли в далекую мглу, растаяли, и Арефьев живет пестрой, изменчивой, фантастической жизнью, почти такой же яркой, как и сама действительность.

Видит он себя худым, взъерошенным, плутоватым мальчуганом, сыном соборного дьячка в глухом забро-

шенном городишке. Идет светлая заутреня... Правый клирос битком набит любителями, из которых на скорую руку составил церковный хор приехавший на пасхальные каникулы семинарист, протопопов сын. Вот они все, как живые, стоят перед Арефьевым. Первый тенор, младший чиновник почтовой конторы, в новеньком мундире, за борт которого запущены белые перчатки, блестит своей напомаженной головой и благоухает цветочным одеколоном. Он поет немного в нос, сильно вибрирующим голосом, а когда исполняет соло, то небрежно обтирается спиной о стену, развязно переплетает нога за ногу, закидывает голову назад и томно закрывает глаза. Сам регент, — тонкий, высокий и благообразный, — в очень длинном сюртуке, дирижирует с утонченными манерами, вызывающими общее восхищение. Держа камертон двумя пальцами, а остальные изящно оттопырив, он на нежных местах бережно, чуть заметно для глаза, пошевеливает картинно изогнутой правой рукой, изредка протягивая вперед левую руку с предостерегающим и останавливающим жестом; при этом его лицо с приподнятыми бровями все сильнее и сильнее принимает удивленное, испуганное и умиленное выражение. Но на местах, требующих форте, он широко и плавно размахивает обеими руками, встряхивает головой, раскачивается туловищем и с угрожающим видом морщит нос и нахмуривает брови. Купеческий сын Ноздрунов, толстый, красный, с вылезшим на шею галстуком, впился в регента с выпученными, напряженными глазами и даже весь подался вперед от усиленного внимания. У него нет ровно никакого слуха, но зато он, по выражению сына протопопа, обладает «феноменальным басом», и потому его употребляют, «наподобие тарана», в самых оглушительных местах. Когда такое место подходит, регент оборачивается к феноменальному басу, делает ему страшные глаза и отрывисто, точно прокалывая кого-то шпагою, вытягивает в его сторону руку с камертоном. Тогда Ноздрунов, весь багровый, с надутыми жилами на лбу и с трясущимися губами, испускает рев, в котором на мгновение утопает весь хор.

Ильюшка стоит в первом ряду. Он не сводит счастливых и преданных глаз с лица регента, и ему почти нет времени обернуться на толпу, наполняющую церковь, которая сверху представляется ему как бесчисленное множество голов, огней, однообразных, радостных, светлых лиц.

Обедня кончилась. Причт и за ним хор выходят из церкви святить пасхи и куличи, разложенные рядами в церковной ограде. Весело и неожиданно встречает всех выходящих из церкви сияющее, ослепительное, весеннее утро. Голубое небо, молодая травка, благоухающие почки деревьев, возбужденный крик воробьев на погосте — все это снова приподымает в усталом Ильюшке ослабевшее было от усталости чувство праздника. Он громко пел вместе с хором, с трудом улавливая чужие голоса сквозь ликующий звон колоколов, и в то же время ощущает на себе взгляд народной толпы и потому сохраняет на лице озабоченное, даже несколько хмурое выражение человека, исполняющего трудное, важное и серьезное дело.

А на другой день надо непременно сбегать на колокольню и позвонить. Это, по старому, давнишнему обычаю, дозволяется каждому в первые три дня, и без этого пасха не в пасху. Лестницы, идущие в ярусах колокольни, темны, покрыты пылью и так круты, что у Ильюшки дрожат ноги, когда он, наконец, взбирается наверх. Уцепившись похолодевшими пальцами за перила, он заглядывает вниз. Ух, как страшно, как весело и как необыкновенно! Домà кажутся маленькими и совсем новыми, никогда не виданными. Под ногами в воздухе быстро носятся, резко и радостно вскрикивая, стрижи, кверху кружатся, блестя крыльями, испуганные голуби. Вся колокольня дрожит от неумолчного звука, кричишь и сам не слышишь своего голоса. И эти ощущения так странно и прекрасно смешиваются, что сам не разберешь, кто здесь звонит, кто сияет и кто смеется: голубое небо, колокола или опьяненная восторгом детская душа.

Лежащий на диване человек с бледным старообразным лицом слабо улыбается. Теперь он уже не Илья Платонович Арефьев, гроза юных стихотворцев;

талантливый насмешник, презрительно и напряженно жгущий свою жизнь в котле общественных интересов и нездоровых страстей больного города. Он — дьячковский сын Ильюшка, веселый, беззаботный, вертлявый уличный мальчишка, жадно глотающий все впечатления своего могучего полуживотного бытия. И Арефьев на несколько минут испытывает внутри себя чувство такой свежести, чистоты и ясности, как будто чья-то невидимая рука нежно и заботливо стерла с его души всю накопившуюся на ней копоть ненависти, зависти, раздраженного самолюбия, пресыщения и скуки. И кажется ему вместе с Ильюшкой, что с каждым вздохом в грудь к нему вторгается весь праздничный мир красок, звуков и запахов, всегда новых, всегда очаровательных и бесконечно разнообразных.

Но проплывают мимо эти чудные, солнечные дни. Тянутся другие картины, и чем дальше, тем они серее и печальнее, — длинная история незаглушенных обид, жестокой борьбы за успех и медленного нравственного окостенения. Неумолимая память вызывает, наконец, и тот далекий пасхальный вечер, вспоминать о котором так боится всегда Арефьев.

О, как отчетливо все это помнится. Сначала контора редакции, где Илья Платонович получает гонорар за свой первый большой рассказ. Редактор, старый, суровый и чуткий газетных дел мастер, понял, должно быть, что в лице нового сотрудника входит в газету большая, оригинальная и свежая сила. Он только что обласкал Арефьева в своем кабинете, долго жал ему руку и, наконец, — неслыханная до сих пор в преданиях редакции любезность! — сказал дружески-фамильярным тоном:

— Рассказ ваш пойдет завтра. Но если вам нужны деньги, пожалуйста, без стеснения. Если угодно, мы вам можем выдать гонорар по корректурному листу.

Еще бы не угодно! Арефьев и сам только что собирался попросить «рубля три авансом». Там, в громадном доме, набитом разной беднотой, чуть ли не на чердаке его ждут теперь с замиранием сердца женщина и ребенок. Там сидят в темноте, положительно не на что купить керосину, там продали сегодня утром

единственный серый теплый платок, чтобы сварить обед, там квартирные хозяева, дворники, нищета и озлобление. Прыгающей рукой расписывается Арефьев на талоне, в то время как кассир, коротенький, толстый, самоуверенный и вечно недовольный старик с лицом обиженного попугая, придвигает к нему пачку бумажек, придавленных сверху кучкой серебра.

Да, это была тяжелая пора в жизни Ильи Платоновича, неудачная, голодная, вся сплошь состоящая из бешеного хватанья случайных кусков вроде уроков, переписки, вечерних занятий. Но отчего же они с женой несли так бодро свое каторжное бремя, без ропота, без отвратительной горечи взаимных упреков, часто даже с гордой, молодой, вызывающей насмешкой над судьбой? Отчего же потом, когда эта судьба, наконец, милостиво улыбнулась им и Арефьев такими большими шагами пошел по пути известности и обеспеченной, даже комфортабельной жизни, — отчего распался и рассыпался их душевный мир, превратясь в пустое загрязненное место? Не оттого ли, что со смертью ребенка исчезла та крепкая, хотя и болезненная связь, которая единила их сердца?

Странный и печальный был этот ребенок. На нем как будто бы целиком отразились вся нищета и убожество, среди которых он был зачат. Начиная с года он перестал расти. Росла только его голова, огромная, пухлая, точно налитая какой-то бледной, нездоровой жидкостью; но тело оставалось таким же жалким и слабым, а тоненькие, как сухие веточки, руки и ноги бессильно висели, не развиваясь и не становясь крепче. Хороши у него были только глаза, большие, кроткие и печальные, такого удивительного цвета, которого, по выражению Гейне, не бывает ни у людей, ни у зверей, а лишь изредка у цветов. Осужденный на вечную неподвижность, он с неестественным терпением переносил свои постоянные болезни. Любимыми разговорами этого всегда серьезного, вечно задумчивого мальчика были разговоры о боге, об ангелах, о мертвецах, о похоронах и о кладбищах. Он точно знал, что скоро умрет, и никогда не улыбался.

Ах, как мучительно подробно вспоминается Илье Платоновичу этот пасхальный вечер, когда он вошел в комнату, до того нагруженный кульками и бумажными картузами, что принужден был локтем открывать дверь. А сзади него дворник, уже задобренный и потому снисходительный, благосклонный и улыбающийся, нес свертки, которых не мог захватить с пролетки сам Арефьев.

Какая радость была в этот святой вечер в маленькой каморке на четвертом этаже. Разрезали три свечки на половины и зажгли все шесть кусков — безумная роскошь. На бензинке (о ней раньше и мечтать не смели) жарились готовые отбивные котлеты и варился настоящий «кофе мокка». На столе стоял большой кулич и большая пасха для взрослых и малюсенькие для мальчика. Илье Платоновичу не сиделось на месте. Он ходил перед Гришей на четвереньках, представляя медведя, прыгал лягушкой и, в роли злой собаки, с рычанием делал вид, что кусает теплую грудку ребенка. Он точно опьянел от непривычных ощущений сытости, тепла и довольства, а главное — от первого литературного успеха, всю ядовитую сладость которого даже и представить себе не может человек, не испытавший его.

Даже и Гриша улыбнулся в первый раз в своей маленькой жизни. Он протянул ручки к картонному херувимчику, водруженному на куличе и парившему на одной ноге, и с лицом, сделавшимся неожиданно прекрасным от светлой улыбки, прошептал:

— Ангелок! Ангелок!

Боже мой, где они теперь? Жену Арефьев видел три года тому назад в Ницце с каким-то подагрическим старцем необыкновенно благородного и изношенного вида. А Гришу взяли к себе ангелы, которым он так радостно улыбался...

Илья Платонович, точно его подбросили, вскочил с дивана. Лицо его было мокро от слез, но он их не стыдился, потому что они дали ему на несколько минут чувство давно не испытанной, глубокой человеческой скорби, очищающей и смягчающей сердце... Пройдясь по комнате, он заглянул в окно. По-преж-

нему у окон кондитерской толпились оборванные ребятишки, топая озябшими ногами. И ему вспомнилась та злоба, с которой он только что иронизировал над «исхудалыми мальчиками» и «таинственными господами в золотых очках». Но теперь уже не раздражение, глядя на, них, почувствовал Арефьев, а тихую, нежную, родственную жалость.

«Все мы, — подумалось ему, — так или иначе — бедные, исхудалые, брошенные дети, и как ужасна должна быть жизнь, если совсем потерять веру в таинственных добрых незнакомцев!»

И встали в его воображении все эти беспомощные детские фигуры, мерзнущие на чердаках, дрожащие в промозглых подвалах, бегущие на улицах с назойливым «Христа ради» за прохожими, эти чистые души, которым озлобленные жизнью взрослые прививают свои пороки, мерзость и вечную ложь; девочки, едва научившиеся говорить и уже составляющие предмет гнусной торговли, малолетние преступники, воришки и пьяницы; наконец несчастные уроды — горбатые, рахитические, идиоты, эпилептики, разбитые и исковерканные с колыбели наследственными болезнями. И тогда в уме Ильи Платоновича вдруг явственно прозвучало величественное изречение Сакья-Муни, воплотившее в себе человеческую мудрость всех веков и народов: «Кто осушил слезы на лице ребенка и вызвал улыбку на его уста, тот в сердце милостивого Будды достойнее человека, построившего самый величественный храм».

Илья Платонович уже второй час сидит не отходя от стола, и из-под его пера с привычной быстротой бегут четкие строки. Он еще и сам не знает, чем окончить эту статью, озаглавленную «Улыбка ребенка», но он чувствует, как сладко и жутко шевелятся у него корни волос на голове и как по его спине пробегает давно позабытый озноб вдохновения. И все время стоит пред его глазами уродливая голова, озаренная неожиданно радостной улыбкой.

ПОХОД

Пехотный Инсарский полк выступает в ночной поход после дневки в большой деревне Погребищах. В темноте ненастного осеннего вечера идет странная, кипучая и осторожная сутолока. Слышно, как вдоль всей широкой и грязной деревенской улицы сотни ног тяжело, торопливо, вразброд шлепают по лужам, раздаются сердитые, но сдержанные окрики, лязгает и звенит железо о железо. Кое-где мелькают фонари; их желтые, расплывающиеся в тумане пятна точно сами собой держатся высоко в воздухе, раскачиваясь и вздрагивая.

Солдаты собираются быстро и с охотой. Утомленные длинными переходами, оборвавшиеся, исхудалые, они рады тому, что завтра с последним корпусным маневром кончится давно надоевший лагерный сбор и полк повезут по железной дороге на зимние квартиры. Хотя днем никто не ложился, но все чувствуют себя бодро. Той озлобленной, вычурно скверной ругани, которую только и можно услыхать между матросами, солдатами и арестантами, — сегодня совсем не слышно.

Подпоручик Борис Владимирович Яхонтов, младший офицер седьмой роты, в первый раз участвует на больших маневрах, и они еще не утратили для него своеобразной прелести кочевой жизни. Все ему продолжает нравиться: ежедневная перемена местности,

деревень, лиц и оттенков в наречиях; дневки в опрятных малорусских хатах, наполненных душистым запахом чебреца и полыни, стоящих пучками за иконами; ночлеги на голой земле, под низкой, в форме карточного домика, палаткой, сквозь полотно которой нежно и неясно серебрятся звезды; здоровый аппетит на привалах под затяжным дождем, освежающим тело и заставляющим щеки приятно и сильно гореть... Предстоящий сегодня ночной переход заранее возбуждает Яхонтова своей необычностью. Идти бог знает куда, по незнакомым местам, глухой дождливой ночью, ничего не видя ни впереди, ни рядом; идти таким образом не одному, а вместе с тысячью других людей, — представляется ему чем-то серьезным, немного таинственным, даже жутким и в то же время привлекательным.

Вечером он провозился над отправкой своих вещей, опоздал в строй и теперь торопится поспеть к роте раньше, чем его отсутствие заметит ротный командир. Но найти свою роту ночью гораздо труднее, чем это казалось днем, во время пробного сбора. На пути то и дело попадаются какие-то заборы и канавы, которых днем не было; а ночь так темна, что невольно хочется закрыть глаза и идти ощупью, протянув вперед руки, как ходят слепые.

Седьмая рота раньше других подтянулась к сборному пункту. Последние, запоздавшие люди, подоткнув полы шинелей под пояса, сбегаются к строю и протискиваются в свои ряды, задевая товарищей ранцами и гремя медными баклагами о ружейные стволы. Голоса звучат глухо, безжизненно и однообразно, точно они выцвели, потеряли силу в этом осеннем дожде.

— Куда прешь? Нешто не видишь, что в чужой взвод втесался? Экой какой ты, братец, право, косопузый!.. — Да ну, ворочайся, что ли, орясина. — О, щоб тоби лысого батька, трясца твоей матери!..

— И чего ты крутишься, Сероштан? — укоризненно тонким голоском замечает унтер-офицер Соловьев неуклюжему солдатику, который никак не попадет в свое место. — Чего ты все крутишься? Вертит тебя, словно

навоз в проруби, а чего — неизвестно. Да обуй глаза-то, че-ерт!

Некоторые солдаты движениями плеч и локтей подкидывают на себе и поправляют удобнее ранцы, уминают складки шинелей и туже подпоясывают ремни, помогая друг другу.

— А ну-ка, земляк, стяни мне сзади шинель! Потуже, потуже, не бойся, не лопну. Да ты коленкой-то, коленкой в спину упрись. О-о-о, так, так! Ну, вот теперь ладно. Спасибо вам, землячок!

Старый солдат, «дядька» Веденяпин, запевала и общий увеселитель, балагурит вполголоса.

— Ну, ребятишки, завтра сабáш маневрам. По-о-ехала седьмая рота по чугунке. У-у-ух! — протягивает он, подражая паровозу. — А какая у меня, братцы, в городе баба осталась, — сахар! Сейчас она мне это пирогов напекет, за водочкой сбегает, самоварчик взбодрит. «Пожалуйте, мол, батюшка, Фрол Иваныч, господин Сковородин, по прозванью Веденяпин... откушайте, сделайте милость!..»

— А казалы хлопцы, що завтра горилку будут давать, — неожиданно произносит хриплым голосом ленивый и тупой рядовой Легкоконец.

— Горилку? — язвительно подхватывает Веденяпин. — Это, братец, у нас в Туле называется: захотела кобыла уксусу...

Немного в стороне от роты, на пригорочке, стоит ротный командир, штабс-капитан Скибин. Около него горнист держит на высокой палке фонарь, который бросает на землю неровное, мутное, движущееся пятно. Василий Васильевич Скибин — мужчина высокий, костлявый, сутуловатый, длиннорукий и весь какой-то неловкий. От его наружности, от нерешительного, близорукого взгляда, от беглой улыбки, даже от шаткой, приседающей походки веет чем-то слабым, удрученным, недоброжелательным и жалким. В нем есть что-то бабье, старушечье. Говорит он тихо, мягким и сиплым, точно усталым голосом, но почти всегда вещи неприятные и злые. Всему полку известно, что его жена — худая, гибкая дама, похожая на ящерицу, — вот уже четыре года как влюблена в поручика Верж-

бицкого, влюблена открыто, ревниво и бестолково. Вероятно, благодаря этому обстоятельству Василий Васильевич с особенной нелюбовью относится к молодым офицерам.

Яхонтов подошел к фонарю и, остановившись в двух шагах от Скибина, приложил руку к фуражке. Ротный командир заметил его и, глядя ему в кокарду, сказал своим вялым, утомленным голосом:

— Если вам угодно опаздывать, подпоручик, переводитесь в другую роту. Здесь у меня не танцевальный вечер, а служба-с. Иначе я подам командиру полка рапорт, чтобы вас из моей роты убрали. Да-с! Мне эти мазуристы и дамские хвосты не нужны.

Он помолчал немного, затем повернул к двум другим офицерам свое унылое, худое лицо с дряблой кожей и толстыми усами и продолжал только что прерванную речь:

— Господ офицеров прошу на походе мест своих не оставлять. Поручика Тумковского прошу... Где вы, поручик, я вас не вижу?.. Ага!.. Так вы, поручик, пожалуйста, обращайте внимание на фонарь в хвосте шестой роты и держите от него дистанцию. Да наблюдайте, господа, за тем, чтобы солдаты не спали на ходу. А то, знаете, задремлет, подлец, и полетит вместе с ружьем. Впрочем, я сам... Грегораш! — кидает он куда-то в темноту.

Это восклицание услужливо подхватывается в ближних рядах и быстро перекатывается из взвода во взвод.

— Фельдфебеля к ротному! Фельдфебеля к командиру! Тарас Гаврилыч, пожалуйте к ротному!..

Фельдфебель Грегораш, преувеличенно спеша и разбрасывая далеко вокруг себя грязь, подбегает на согнутых ногах, точно подплывает к фонарю.

— Я, ваше благородие!

— Чтобы люди на ходу не спали! От строя чтобы никто не отлучался. Скажешь унтер-офицерам, чтобы смотрели. Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! Так что я уж объяснял им...

— Молчи! Затем прошу вас, господа, наблюдать,

чтобы люди не курили, не зажигали спичек, не разговаривали и вообще не шумели... А то нас может заметить неприятель, — прибавляет Скибин с едва заметной насмешкой. — Грегораш, ты у меня за это отвечаешь. Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! Так что я...

— Молчи! Главное, господа, чтобы люди не спали. Выколят канальи друг другу глаза, а ты потом за них отдувайся. Подпрапорщик Москвин, вы будете замыкать роту. Смотрите, чтобы не было отсталых. Да, вот еще что. Сзади роты пойдет вот этот болван (Скибин показывает через плечо большим пальцем на горниста), так, пожалуйста, поглядывайте, чтобы он нес фонарь светом назад, к восьмой роте. Это тоже... от неприятеля. Затем-с... Впрочем, кажется, все. Прошу вас, господа офицеры, по местам!

Офицеры расходятся. Скибину подводят его лошадь, старую гнедую одноглазую кобылу, купленную нарочно для маневров из кавалерийского брака. Зовут ее «Настасьей». На ходу она держит шею гусаком, высоко подымает разбитые шпатом ноги и так задирает назад голову, точно что-то разглядывает на небе (таких лошадей зовут в кавалерии звездочетами). Скибин долго прыгает вокруг нее на одной ноге, осыпая руганью и лошадь и горниста, и, наконец, грузно вваливается в седло.

Рота готова к выступлению. Но проходит десять, двадцать минут, полчаса, а стоящая впереди шестая рота не трогается с места. Это беспричинное, вынужденное бездействие в темноте, под дождем, начинает тяготить и беспокоить людей. Они нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, вздыхают и молчат.

— Черт их знает, чего они там застряли?! — говорит вслух, но точно сам с собою, Скибин, проезжая медленно вдоль роты и поталкивая каблуками упирающуюся лошадь. — Вечное безобразие!

Стоящий неподалеку фельдфебель вежливо откашливается и тоже, как будто бы размышляя вслух, говорит:

— Должно быть, мы первую бригаду вперед пропущаем. А то чего же стоять!..

— Первую бригаду! — сердито возражает Скибин, останавливая лошадь. — Так на то есть расписание, кому когда выступать, чтобы потом не выходило ерунды. Вообще постоянно эти «моменты»[1] что-нибудь напутают.

В его голосе Яхонтову слышится всегдашняя зависть пехотного строевика к штабным офицерам, а также и доля уверенности в том, что если бы ему, Скибину, было поручено это дело, то все устроилось бы очень скоро, просто и хорошо.

Проходит еще несколько томительных минут. Шестая рота вдруг зашевелилась, зашлепала ногами и как будто бы затопталась, не сходя с места. Только по движению фонаря, заколебавшегося вверх и вниз, можно было судить, что она не стоит на месте, а тронулась вперед. Скибин поворачивается к строю и произносит вполголоса, небрежно сливая слова:

— Ружья-вольно, шагом-марш!

Через четверть часа весь полк медленно вытягивается вдоль широкой почтовой дороги. Ни людей, ни лошадей не видно в ночном мраке, только еле-еле мерцает впереди длинная цепь фонарей, которыми каждая рота показывает дорогу следующей за ней части.

Неудобства ночного похода скоро дают себя знать. Через каждые двести — триста шагов происходят задержки. Передние ряды то и дело останавливаются, а задние не видят этого и напирают на них. Потом вдруг между взводами образуются слишком большие расстояния. Тогда заднему взводу приходится догонять передний, и люди бегут тяжело, с усилиями, громыхая на бегу баклагами, лопатами и патронными сумками, бегут, ничего не различая в темноте, наугад, до тех пор, пока не навалятся на передних. Отделения давно уже перемешались, но никому не приходит в голову восстановить порядок. Все сильней и сильней сказываются утомление, тревога, скука и насильственная бессонница. Люди молчат, но в этом молчанье чувствуется нервная напряженность. Слышно только, как множество сапог месит грязь, влезая в нее и

---

[1] Офицеры главного штаба. *(Прим. автора.)*

вылезая с жирным чавканьем, сопеньем и чмоканьем. И Яхонтову думается, что, должно быть, точно таким же образом пятьсот, и тысячу, и пять тысяч лет тому назад водили по ночам своих пленников суровые и равнодушные победители. Вероятно, так же угрюмо и тревожно молчали усталые люди, так же беспорядочно и озлобленно надвигались они друг на друга при остановках, так же чмокала под их ногами размякшая земля и так же падал на них частый осенний дождь.

— Эх, братики, покурить бы теперь! — вырывается со вздохом у «дядьки» Веденяпина.

— Я тебе покурю, каналья! — неожиданно отвечает откуда-то из темноты суровый бас фельдфебеля. — Ты у меня покуришь, прохвост!

Ровная до сих пор дорога начинает опускаться. Яхонтов замечает это потому, что его ноги теряют устойчивость и скользят вперед, так что поневоле приходится выворачивать ступню боком. Потянуло острой и холодной сыростью, точно из глубокого подвала, и тотчас же под ногами заходил и задрожал деревянный мост. Где-то внизу, в черной воде без берегов, отразился на мгновение длинным волнистым хвостом свет фонаря.

— Подпоручик Яхонтов, это вы? — слышит Яхонтов над собой голос ротного командира. — Не хотите ли сесть на лошадь, а я покамест пешком пройдусь. Что-то ноги затекли.

Яхонтову кажется подозрительной эта внезапная любезность, но он охотно соглашается. Когда он опускается в седло, то внутри лошади что-то глубоко и гулко крякает. Потом «Настасья» медленно вздыхает, широко разводя боками, точно и ей сообщилось тоскливое беспокойство, нависшее над людьми. Яхонтов трогает ее каблуками, и она начинает осторожно перебирать ногами, вытаскивая их из вязкой глины с такими звуками, какие бывают, когда откупоривают бутылки.

Вдалеке, на самом краю темного горизонта, вдруг показывается маленький огонек, который все разрастается, по мере того как рота подвигается вперед. Наконец можно ясно разобрать, что это — большой двухэтажный дом. Весь низ его освещен изнутри очень

ясно, по-праздничному, а в верхнем этаже светятся — но гораздо бледнее — только два крайних левых окна. Яхонтов глядит на эти светлые, веселые пятна и думает о тепле, свете и довольстве, которое испытывают живущие в этом доме люди. Воображается ему большая и дружная помещичья семья, сытая, веселая жизнь, танцы, смех, общество нарядных и красивых женщин. И его собственная жизнь кажется ему в эти минуты такой же тяжелой, скучной и однообразной, как эта дождливая ночь, как эта бесконечная незнакомая дорога.

Впереди опять останавливаются. Слышно, что в рядах шестой роты происходит какая-то странная возня. Несколько голосов говорят быстро, громко и разом. Слов нельзя разобрать, но заметно, что кто-то бранится и кто-то оправдывается. Яхонтов продвигается вперед и по отблеску фонаря, скользнувшему по офицерским погонам, узнает Тумковского.

— Что там такое, Иван Мартиньянович? — спрашивает он, наклоняясь с лошади.

— А, дуся моя, это вы? — говорит сладко, как всегда, Тумковский, и по звуку его голоса видно, что он поднял голову вверх. — Не знаю, золото мое! Какой-то олух на штык напоролся. Да вот его тащат в линейку.

Фонарь на секунду освещает двух солдат, ведущих под мышки третьего, который отрывисто, точно с натугой, стонет и держится руками за лицо.

— В глаз, что ли? — вяло спрашивает Скибин. — Чего же ты молчишь, дурак?

Трое солдат останавливаются.

— Слышишь, тебя спрашивают, в глаз, что ли? — громко, как к глухому, обращается к раненому один из провожатых.

— Так что... не мо́жу знать, — тусклым, надсаженным голосом с запинками отвечает тот и отнимает ладони от лица. — Дуже больно, ваше благородие, не можно вытерпеть...

— Чего же ты лез на штык, идиот? — так же вяло замечает Скибин. — Сам и виноват, дурень. Ну, проходи, проходи!

И он прибавляет поучительным тоном, обращаясь к Тумковскому:

— Вот теперь из-за такого ротозея влетит ротному командиру. А чем, спрашивается, ротный виноват?.. Порядки!..

Яхонтов низко нагибается к раненому и вглядывается в его лицо. В темноте нельзя даже разобрать отдельных черт, но молодому офицеру кажется, что у солдата вместо правого глаза — огромное, с кулак величиною, черное отверстие. И, вместе с чувством брезгливой жалости, Яхонтов ощущает у себя в пальцах ног и внизу живота какую-то противную, щекочущую и раздражающую боль.

Солдата уводят, и опять возобновляется тягостное, молчаливое движение. Из всей роты энергию сохранил только один фельдфебель. Время от времени Яхонтов слышит, как он пробирает в середине роты задремавшего солдатика:

— Заснул? Деревню бачил во сне? Может, подушку тебе принести?

И затем приговаривает шипящим голосом сквозь стиснутые зубы:

— А вот не спи, не спи, не спи, не спи!

Между тем Яхонтов уже давно начинает испытывать странное и чрезвычайно неприятное ощущение. Ему все кажется, что лошадь не идет под ним, а только качает взад и вперед спиной и топчется ногами на одном и том же месте. Напрасно он старается уверить себя в ложности этого удивительного ощущения, наклоняясь вниз и напрягая зрение, чтобы увидеть дорогу, — лошадь продолжает раскачиваться и вытаскивать ноги из грязи, не сходя с места и не делая ни одного шага вперед.

— Черт! Да мы идем или стоим? — воскликнул Яхонтов и вдруг сам похолодел от своего испуганного голоса.

Из рядов кто-то ответил ему коротко и угрюмо:

— Ползем!

В этом грубом, совсем несолдатском ответе Яхонтову послышалось что-то новое и зловещее, какая-то покорная и безнадежная усталость, какой-то общий

упадок духа, который точно окончательно уничтожил всякую разницу между солдатом и офицером. И Яхонтов, вместо того чтобы сделать выговор, только растерянно обернулся в ту сторону, откуда послышался этот ответ.

А лошадь все так же бесцельно качала спиной и тыкала в одно место ногами. Яхонтову стало жутко. Это ощущение так походило на один из нелепых изнуряющих лихорадочных снов, в которых торопишься куда-нибудь и с отчаянием чувствуешь, что не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой. И едва только Яхонтову пришло в голову это сравнение, как все вдруг стало похожим на сон. Весь этот ночной переход, и безмолвно покорные солдаты, и уходящая далеко-далеко цепь фонарей, и давешний раненый солдат, и вялая озлобленность Скибина, и тоскливая дорога с ее тьмой, сыростью и холодом,— все это представилось ему каким-то грозным, давно забытым бредом, который повторяется теперь с прежней силой и прежним ужасом.

— Ах, ведь все это было, было...— прошептал Яхонтов.— Господи, что же это такое!

Он слез с лошади, отдал ее горнисту и, перегоняя солдат, прошел на правый фланг. Там, в промежутке между ротами, где было светлее от фонаря и просторнее, шли рядом, разговаривая вполголоса, Скибин и Тумковский.

— Я отдал лошадь горнисту,— сказал Яхонтов.

— Отлично,— бросил ему рассеянно Скибин.— А я вам скажу, поручик,— повернулся он торопливо к Тумковскому,— что эти маневры — один только разврат и антимония. Может быть, для генерального штаба оно и нужно, а солдаты только распускаются и теряют выправку. Да и для офицеров лишнее. Какой к черту это неприятель, когда вы отлично видите, что это поручик Сидоров, у которого вы вчера заняли три рубля? Вы командуете: «Прямо, по колонне, пальба взводом», а вам решительно наплевать, как солдаты целятся, и укрыты ли они от огня, и все такое...

— Совершенно верно, дорогой Василий Васильевич,— согласился Тумковский.— А я вот читал где-то

или, кажется, слышал, что один генерал предложил раздавать во время маневров в числе холостых патронов какой-то там процент боевых. Что-то такое, один на десять тысяч, не помню хорошенько...

— Ах, глупости! — досадливо протянул Скибин. — Никакие тут патроны не нужны. Какие тут к черту патроны, когда теперь солдаты вроде институток стали: пальцем его тронуть не смей. А по-моему, бить их, подлецов, нужно, вот что нужно! Прежде у нас и Суворовы были и Севастополь, а почему? Потому что десятерых засекали, а из одиннадцатого делали солдата. Прежде, батенька, солдат пять лет служил, а все еще молодым солдатом считался. Вот это была служба-с!.. А теперь... Эх!

— Теперь прямо — пансион благородных девиц, — услужливо подхватил Тумковский, — гуманисты какие-то пошли, либералы. Попробовали бы эти либералы с нашими скотами повозиться, небось у самих руки бы опухли от битья. А то, изволите ли видеть: ударишь какую-нибудь сволочь, да и ударишь-то не больно, почти в шутку, а он сейчас: «Ох!» — «Что такое?» — «Ничего не слышу на правое ухо...» И сейчас тебя под суд. За истязание нижнего чина, имевшее последствием и так далее. А он, мерзавец, лучше нашего слышит.

— Потому что дураки! — возразил презрительно Скибин. — Кто же так делает, при свидетелях? Нет, ты его сначала позови в цейхгауз или к себе на квартиру, да там и поговори как следует. Поверьте, потом сам всю жизнь благодарить будет, что под суд не отдали. Суд-то его куда законопатит, а ты начистил ему морду, и все тут. А что ему морда?..

Они еще долго тянут этот разговор, точно стараясь не уступить друг другу в равнодушной жестокости к солдату, в презрительном отношении к своему делу, в пренебрежительной насмешке над высшим начальством. В этих пошлых, холодных и злых фразах Яхонтову опять слышится что-то похожее на тот страшный бред, который он испытал несколько минут тому назад, и на душе у него делается пусто и противно до тошноты. Тем же тусклым, утомительным, давно-давно

знакомым бредом представляется ему и вся его военная карьера, и безрадостное детство, прошедшее в больших казенных домах, и ждущая впереди серенькая жизнь, и его собственные теперешние мысли — такие бледные, бессильные и тоскливые.

А рота все идет и идет по грязной почтовой дороге, и кажется, что никогда не будет конца этому движению, что какая-то чудовищная сила овладела тысячами взрослых, здоровых людей, оторвала их от родных углов, от привычного, любимого дела и гонит — бог весть куда и зачем — среди этой ненастной ночи...

Недалеко до рассвета. Понемногу вырисовываются из темноты серые, измятые, глянцевитые от тумана и от бессонницы солдатские лица. Все они похожи одно на другое и выглядят еще суровее и покорнее в слабом и неверном утреннем полусвете.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕБЮТ

Посвящ. Н. О. С—ой.

Я, раненный насмерть, играл,
Гладьяторов бой представляя...

Гейне.

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Геккендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая фуга, — где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, — где гудел самым безжалостным образом тромбон, — и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литерную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариуса, был в страшном волнении.

— Опускайте, опускайте кулисы-то! — кричал он, бегая без сюртука по сцене. — Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать?

— А Кириллом, — отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

— Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрей Филиппыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький, кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

— Пущай висит, — отвечал сверху грубый голос, — таперя кулисы мешают, тады легше будет.

— А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Анемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые...

Последние слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его, обрамленное густою гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

— Обратите, пожалуйста, внимание, — вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. — Андрюшка опять запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

— Потом, потом, — прервал рассеянно Александр Петрович. — Где Гольская?

— Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, — отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал.

— Кто там? Войдите! — раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица.

Трагик Анемподистов, игравший на сцене под псевдонимом Фальери и поразивший купчих в самое сердце краткой, но ядовитой эпиграммой:

Фигура
Без турнюра! —

всякий раз, когда заходила речь о Лидии Николаевне, закатывал глаза под лоб так, что несколько минут в орбитах вращались одни громадные белки, и восклицал хрипящим басом: «Богиня! Классическая богиня!» Действительно, тонкие правильные черты лица, классический профиль и будто мраморная, прозрачно-матовая бледность лица Гольской позволяли дать ей это название.

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

— Чем я обязана чести видеть вас у себя? — спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечь и презрение.

Александр Петрович тряхнул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

— Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадежные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно, из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слыхали вашего умирающего голоса.

И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

— Александр Петрович, представьте себе, — заговорила, наконец, Лидия Николаевна прерывающимся голосом, — представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, — полюбила в первый раз в жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

— Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все, что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепою любовью, бросил эту женщину на произвол

судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

— Ну вот! Я так и знал, — прервал нетерпеливо антрепренер, — и к чему здесь эта напущенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, — я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы... по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и *требовать* любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

— Александр Петрович, — возразила Гольская, — вы забываете, кажется, что я женщина, что...

— Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, заслышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожительству! Я вам понравился, вы мне понравились, — это, по-вашему, естественно? А разве неестественно и то, что вы мне перестали нравиться?

— Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви!

— Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдержать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне *перестали* нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

— Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, — прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее

уверить, — скажу, что хотел испытать. Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

— Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел докончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла почти шепотом:

— Вон!

Это «вон!» было сильнее громкого крика. Человек, никогда, ни при каких обстоятельствах не терявшийся, покорно вышел, понурив голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворившуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, проносились и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

— Ваш выход, Лидия Николаевна, — раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемподистов, — поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, недаром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

— Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и пожал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

— Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?..

Она молча, отрицательно покачала головой.

«Начинается, начинается, — со страхом думала Лидия Николаевна, — спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!»

Она дождалась, наконец, момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовавших изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все громы небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого

шепота режиссера: «Вам, Лидия Николаевна», — дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь, или глубокую ненависть и презрение...

«Что он скажет? — проносилось в уме. — Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, — я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка...»

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой *женщину;* холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробегала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, — в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте, с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной, погибшей любви, — роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В зале царила гробовая тишина, — каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью...

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.

«Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько... Жжет в груди...»

Она обвела зрителей большими, изумленными глазами... побледнела, зашаталась и со страшным, раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но — мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

— Гольская! Гольская! — раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слышались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

— Гольская! Гольская! браво! — раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом:

— Господа, Гольской не стало...

ОШИБКА

Однажды вечером я дольше обыкновенного засиделся у Владимира Андреевича Пожидаева, молодого ординатора при местной психиатрической лечебнице. Разговор зашел о так называемой литературе душевнобольных. Я спросил, правду ли говорят, что рукописные произведения некоторых сумасшедших, несмотря на беспорядочность мысли и причудливость изложения, все-таки носят печать чего-то, похожего на вдохновение.

Доктор задумчиво улыбнулся.

— Как вам сказать?.. Если смотреть на вдохновение, как на исключительное, ненормальное состояние психики, то почему же, с другой стороны, не смотреть и на бред, как на своего рода вдохновение? Вспомните Эдгара По. Но в большинстве случаев все произведения наших пациентов носят такой явный характер безумия, что это сразу кинется в глаза самому посредственному наблюдателю. Впрочем, если этот вопрос вас действительно интересует, я вас охотно познакомлю с моей коллекцией произведений душевнобольных.

Доктор выдвинул один из нижних ящиков письменного стола и достал оттуда довольно объемистый портфель красного сафьяна. В портфеле оказался большой ворох исписанных бумаг всевозможных форматов.

— Очень может быть, что я воспользуюсь всем этим материалом для своей диссертации. Вопрос интересный и почти совсем не разработанный в медицинской литературе, — сказал Владимир Андреевич, передавая мне несколько пожелтевших, истрепанных

листков.—Вот, просмотрите-ка эти документы, хотя предупреждаю вас, что изо всей моей коллекции только одна вещь — и то отчасти — проникнута смыслом. Но зато этот смысл так ужасен, что до сих пор я, привычный человек, содрогаюсь, когда читаю это письмо. Вот оно. Прочтите его и скажите по совести, мистификация ли это очень тонкого и умного сумасшедшего, — простите за невольный каламбур, — или на самом деле произошел десять лет тому назад этот чудовищный случай, положивший новое пятно на темные стороны нашей психиатрической медицины.

Он дал мне тоненькую тетрадку, сшитую из нескольких листов почтовой бумаги, исписанную мелким и неровным мужским почерком.

Я прочитал следующее:

«Милостивый государь
Владимир Андреевич!

Именем всего, что вам дорого, умоляю вас дочитать это письмо до конца. Я знаю, как недоверчиво относитесь вы, доктора, к письмам ваших несчастных пациентов, и отлично понимаю, что эта недоверчивость покоится на очень разумных основаниях. Но, с другой стороны, я уверен, что вы, доктор, как человек глубокого и всестороннего ума, не станете отрицать возможности несчастных случаев и роковых профессиональных ошибок, в особенности в таком скользком и сложном деле, как исследование человеческой души. Все мы с детства читали и слышали об этих ошибках. Великий полководец под влиянием непонятного затмения делает такую грубую стратегическую ошибку, которую не сделал бы прапорщик. Профессор, известный всему миру, как великолепный диагност, так нелепо определяет болезнь, что над его диагнозом смеется фельдшер. Ошибки возможны — на то мы и люди. Но я позволю себе спросить вас, доктор, как бы вы себя чувствовали, если бы узнали, что человек, которого вы сослали на каторгу, оказался невиновным, что больной, которого вы упорно лечили от тифа, умер от воспаления мозга и что, наконец, один из пациентов палаты № 14 просидел в ней десять лет благодаря трагикомическому недоразумению.

Я совсем одинок, и мне не к кому, кроме вас, обратиться за помощью.

Ведь вы не можете пожаловаться на то, чтобы я надоедал вам часто своими жалобами: это письмо — первое, которое я вам пишу;

если вам не будет угодно отнестись к нему с вниманием, оно будет и последним. Беспокоить же вас я осмеливаюсь потому, что ваше сердечное обращение с больными, ваше симпатичное, открытое лицо, даже тембр вашего голоса, такой светлый, теплый и ласкающий, говорят мне, что в вашем добром сердце я найду хоть маленькую искру участия и доверия. Вместе с тем я боюсь, что письмо мое выйдет бессвязным, потому что мысли мои разбегаются. Но вы, конечно, не осудите меня, доктор. Удивительно, как я еще не разучился говорить за эти ужасные десять лет...

Итак, вот печальная история, история почти невероятная, моего поступления в N-скую психиатрическую лечебницу.

Это случилось в 1889 году, если не ошибаюсь (прибавляю: «если не ошибаюсь», потому что все пребывание в этом каземате мне кажется одним бесконечно длинным мучительным днем). Перед праздниками я взял отпуск — я служил на сахарном заводе — для того, чтобы немножко проветриться в N-ске после утомительно скучной, захолустной жизни. Я знал, что в N-ске встречу двух, трех университетских товарищей, и рассчитывал при их содействии очень весело провести праздники.

Я ехал во втором классе. Сначала было довольно просторно, но на одной из узловых станций в наш вагон нахлынуло столько пассажиров с пересадки, что мест не хватило, и многим пришлось стоять. Прямо против меня уселись двое очень веселых и общительных пассажиров: ученик московской школы живописи и ваяния и молодой купчик, рыботорговец, из числа полуобразованных, и, по-видимому, кутила. Они ехали от самой Москвы и уже успели в дороге хорошо познакомиться.

Мы очень скоро разговорились. Купец достал с верхней полки плетеную корзинку, в которой оказался целый склад съестных припасов: семга, копченый сиг, жареная индейка, вареные яйца и еще какая-то провизия. Со мной было несколько бутылок настоящей польской старки, которую я вез в подарок. Мы устроили импровизированный ужин, во время которого расходившийся купчик смешил нас до слез рассказами о своих железнодорожных приключениях за границей, куда он поехал, не зная ни слова ни на одном иностранном языке.

— А вот тоже потешная история вышла у нас сейчас в вагоне, — воскликнул он, давясь и прыская от смеха. — Мы с господином художником смотрели. Понимаете, везли в купе сумасшедшего, двое человек с ним сидело. Как это у них вышло — я не знаю. Кажется, один провожатый вышел за чем-то на станцию, а

другой отвернулся, что ли, куда-то, только вдруг хвать — где наш сумасшедший? Его нет. Туда, сюда, такой переполох поднялся, что ужас. Под вагонами искали, в товарные поезда заглядывали — пропал и дело с концом! Наконец заглянули в контору к начальнику станции, а он, голубчик, оказывается, там и сидит. Спросил у жандарма жалобную книгу и уже четвертый лист отмахивает. Ну, конечно, схватили его под крылья и водворили опять в купе. Однако лишних пять минут из-за него простояли.

Я рассмеялся, а художник прибавил:

— Черт возьми, и у сумасшедших есть свои прямые привилегии. Ездят в купе, и никто их не беспокоит.

— А что, господа, если мы разыграем маленькую комедию, — обратился я к моим случайным спутникам. — Давайте я буду сумасшедшим, а вы меня везите. По крайней мере проведем ночь удобно.

Говоря по правде, я был далек от мысли привести эту шальную затею в исполнение, но купец и художник встретили ее с таким восторгом, что я невольно заразился их дурачливым настроением духа. Сунувши кондуктору рубль, мы заняли купе.

Сначала шло все очень хорошо. На одной из станций к нам вошел было какой-то старик, в лисьей шубе, в сопровождении полной пожилой дамы и спросил, есть ли свободные места? Художник очень приветливо поднялся ему навстречу.

— Пожалуйста, сделайте милость, — расшаркивался он перед новыми пассажирами. — Вас, конечно, не стеснит наш больной? О, он совсем безопасный; с ним в пути никогда не бывает припадков. Наконец, если припадок и случится, то мы с товарищем настолько привыкли к его болезни, что...

Художник оказался прекрасным актером, он проговорил это таким деловым тоном, что мы с рыботорговцем чуть не задыхались от хохота, уткнувшись головами в подушки.

— Нет, да что ж вас беспокоить, — возразил старик голосом, в котором слышалась тревога. — Нам всего пять-шесть станций. Ах, бедный, такой молодой... И давно это с ним?

— Это наследственное, — важно ответил художник.

Насмеявшись вдоволь благодаря этому приключению, мы разместились с относительным комфортом — я с купцом внизу, художник над моей головой — и очень скоро заснули.

Когда я проснулся — уже светало. Моих спутников в купе не было, зато на том диване, который раньше занимал купец, сидел громадный детина в железнодорожном картузе. Я как

теперь помню его физиономию — огромную, заспанную, рыжеволосую, с непомерно толстой верхней губой и с маленькими заспанными глазами. Я поглядел на часы; по моим расчетам, до N-ска оставалось не более часу езды. Достав из чемодана полотенце и мыло, я уже взялся было за ручку двери, как вдруг мой неожиданный сосед вскочил с места. Широко расставив руки и ноги, он загородил дверь и твердил настойчиво:

— Господин, позвольте-с, этого нельзя, извольте сесть на место.

— Что это значит, дурак! — вспыхнул я и хотел оттолкнуть его в сторону, но в тот же момент произошло что-то непостижимое: я уже барахтался бессильно на диване, а рыжий гигант сидел на мне, упираясь в мою грудь коленом. Я чувствовал на лице его короткое и быстрое дыхание, и в то же время он повторял злобно:

— Ну, уж это неизвестно, кто из нас дурак, а вот как тебя на цепь посадят, тогда увидишь, какой я дурак.

Сначала я думал, что он хочет меня ограбить. В моем уме пронеслись как вихрь воспоминания о тех кровавых историях, которые чуть ли не ежедневно разыгрываются в вагонах железных дорог. Вне себя от страха и злобы, я бился под навалившимся на меня грузным телом, стараясь столкнуть его с себя ногами. Тогда гигант, как ребенка, перевернул меня ничком, выкрутил мне назад одну за другой мои руки и связал их моим же полотенцем.

— Лежи смирно, дурень бога нашего, — прибавил он злорадно, — а то у нас разговор короткий. Видал? — И он поднес вплотную к моим губам большой, веснушчатый, обросший рыжими волосами кулак. — Тоже, скажите пожалуйста, брыкается. Убил тебя бог, ну и лежи! Хороши и товарищи, нечего сказать, — продолжал он наставительным тоном, — дурака своего потеряли в дороге.

Старик, вероятно, успел рассказать всем в вагоне, что в купе везут сумасшедшего, потом кто-нибудь заметил, как уходили мои спутники, и из чувства спасительного благоразумия довел об этом до сведения поездного начальника. Остальное понятно само собой. «Без сомнения, как только мы приедем в N-ск, — думал я, — недоразумение разъяснится, достаточно мне будет только поговорить с начальником станции или с жандармским офицером». Эта мысль настолько успокоила меня, что я даже сказал моему сторожу тоном угрозы:

— Вот погоди, братец, вылетишь ты со службы.

На что он ответил хладнокровно:

— Сначала на тебя сумасшедшую рубаху наденут! Лежи смирно, дурак!

Когда мы приехали в N-ск, меня отвели в контору. Растрепанный, неумытый, со связанными назад руками — я, должно быть, имел ужасающий вид...

Пришел жандармский полковник, человек очень любезный, вежливый и мягкий. Он выслушал меня очень внимательно, все время сочувственно покачивая головой. Когда я кончил, он сказал ласково:

— О, я не сомневаюсь, что здесь произошло досадное недоразумение, и если бы от меня зависело, я немедленно отпустил бы вас на все четыре стороны. Но, к сожалению, здесь подняли такой переполох по телеграфу, что я уже положительно не в силах это сделать. Впрочем, ведь вопрос всего в двух, трех часах. Доктор осмотрит вас и тотчас же прикажет освободить. Это будет вам маленьким наказанием за вашу проказу, — добавил он с очаровательной фамильярной улыбкой.

Я следил за каждым малейшим изменением его физиономии и с ужасом видел, что он не верит мне, что он лаской успокаивает опасного сумасшедшего. Когда я высказал ему это, он даже вознегодовал.

— Помилуйте, какие мысли приходят вам в голову. Вот что значит переволноваться дорогой. Эй, Воронюк! — закричал полковник страшным голосом. — Развязать барину руки! Что это за безобразие.

В лечебницу меня везли через весь город чуть ли не целый час. Городовой с разносной книгой в холщовом переплете сидел со мной рядом и держал меня за талию. Прохожие на тротуарах останавливались и долго провожали нас глазами. Одно время я хотел было спрыгнуть с извозчика и убежать, но когда я поглядел на массивную фигуру моего спутника и на его, словно окаменевшее «должностное» лицо, я понял, что мне нечего ждать от него пощады.

В лечебнице мне пришлось довольно долго дожидаться главного врача. Наконец он приехал. Это был маленький, седой немец, с крашеными усами, толстым животом и жестоким выражением лица. Пришло несколько студентов-медиков, почтительно столпившихся сзади главного врача. Сторожа сделали испуганно-подобострастные лица. Больных в приемной было четверо: двое мужчин-идиотов, женщина в белой горячке и я. Когда очередь дошла до меня, доктор медленно приблизился ко

мне, потирая свои пухлые, белые, короткие пальцы, на суставах точно перевязанные ниточками.

— Ну-с, кажется, мы себя чувствуем не особенно здоровыми? Нервы пошаливают? — спросил он фальшивым, сладеньким голосом, так странно противоречившим острому выражению его глаз.

Я в этот день перенес много: грубость артельщика, унизительный обыск в участке — и все-таки я еще не терял надежды. Но когда я услышал этот отвратительный, приторный голос, я тотчас же в глубине души почувствовал, что для меня все погибло!

Путаясь, повторяя несколько раз одно и то же, дрожа под устремленными на меня любопытными глазами этих людей, из которых каждый считал меня бесповоротно сумасшедшим, я принялся рассказывать мою анекдотическую историю. Главный врач не перебивал меня, но по временам — о, это я отлично видел — он посматривал на студентов с улыбкой, которая должна была выражать тонкую и сострадательную иронию.

Когда я кончил, он сказал тем снисходительным тоном, каким говорят добрые взрослые с капризными детьми:

— Ну вот, вот прекрасно, прекрасно. А вы, кажется, изволили быть в университете?

— Да, господин доктор, был.

— Гм... А не страдали ли вы какими-нибудь особыми болезнями? Много ли вы пьете вина?

Он засыпал меня целым градом вопросов. Кто были мои родители, не отличались ли они какими-нибудь странностями и т. д. Услышав, что мой дед с материнской стороны пил больше обыкновенного, он как бы с удовольствием потер руки и многозначительно оглянулся на студентов. Потом, совершенно неожиданно для меня, он вдруг спросил:

— Ну-с, а какое у нас сегодня число?

— Семнадцатое декабря, — ответил я, начиная понемногу терять терпение.

— Так-с. А перед декабрем был какой месяц?

Я всегда путался в этих месяцах, кончающихся на «брь», с самого детства. Для того чтобы сказать, какой из них стоит впереди другого, мне необходимо начать считать с августа. Поэтому я на минуту запнулся, но, пробежав в уме месяцы, ответил верно: ноябрь.

— А перед ноябрем-с?

Этот глупый допрос взволновал меня, и я спутался, назвав вместо октября — сентябрь.

Главный врач опять улыбнулся своей деланной улыбкой. Студенты глубокомысленно покачали головами. Это взорвало меня, и я воскликнул грубо:

— Ведь вы видите, что я не сумасшедший. Пустите же меня, черт возьми!

— Но, друг мой... — протянул ко мне руки доктор, — успокойтесь, прошу вас. Конечно, конечно вы здоровы. Ну, там маленькая повышенная чувствительность — это пустяки. Во всяком случае, ведь вам не повредят два-три дня отдыха и внимательного ухода? Не так ли, дорогой мой? Я уверен, что мы будем благоразумны.

Я глядел в его колючие, безжалостные глаза, видел его иудину улыбку, слышал его жирный голос и вдруг... внезапная злоба, как тисками, схватила меня за горло и горячей волной хлынула мне в голову... Говорят, что я ударил его. Может быть, — я не знаю. Я помню только, что мои нервы не выдержали, и я разрыдался. Я помню также, что на меня набросили какой-то длинный белый балахон, и я в одну секунду почувствовал себя спеленатым...

Вот и все, доктор. Сколько раз с тех пор я давал себе слово спокойным и разумным поведением добиться свободы. Но достаточно было мне иногда не особенно быстро исполнить какое-нибудь приказание сторожа, и меня били самым беспощадным образом, а на другой день доносили доктору при визитации, что у меня опять был припадок. И это десять лет! Целых десять лет!

Я не сомневаюсь, доктор, что, прочитав это письмо, вы проникнитесь жалостью и обратите на меня внимание, в котором мне так долго отказывали. Тем более что мое положение становится невыносимым. Я, например, отлично знаю, что третьего дня надзиратель Трофименко незаметно всыпал в мою размазню целую пригоршню индийского яду кураре, причем я от верной смерти спасся только благодаря одному здешнему старичку, обладающему секретом факирских чисел. Не меньшую опасность представляет мой сосед по кровати. Хотя он и притворяется очень искусно сумасшедшим, но мне отлично известно, что он прусский шпион и сносится со своим правительством шифрованными телеграммами. Между прочим, он держит в тайне одно весьма важное изобретение...»

Увидев, что я дошел до этого места, доктор деликатным движением взял у меня из рук тетрадку.

— Не читайте дальше, там сплошной бред, — сказал он тихо. — Теперь этот человек непоправим. Мания преследования в самой сильной степени...

— Ну, а раньше, доктор? Раньше? — спросил я, взволнованный чтением этого странного документа.

Доктор пожал плечами:

— Бог ведает... Говорят, что при покойнике Таубе даже невозможное оказывалось возможным. Это был педант и человек действительно жестокий. Впрочем, знаете, о мертвых...

— Aut bene, aut nihil[1], — докончил я, наклоняя голову.

---

[1] Или хорошо, или ничего (*лат.*).

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

(Из женских писем)

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас:
Так иногда разлуки час
Живее самого свиданья.

А. С. Пушкин.

Дорогой друг мой!

Когда вы получите это письмо, нас будут разделять почти сутки езды по железной дороге. Для того чтобы отрезать себе путь к возврату, чтобы не поддаться минутной слабости воли, я опущу конверт в почтовый ящик на вокзале, как раз вместе со вторым звонком. Может быть, — оскорбленный в своем мужском самолюбии, — вы сначала и посердитесь на меня немного, но я уверена, что спустя месяц, даже, пожалуй, меньше, вы согласитесь со мной и в душе поблагодарите меня.

Простите: я вам сказала тогда неправду, будто я приехала в Одессу принимать, по совету доктора, морские ванны. На самом деле я приехала только для того, чтобы видеть вас. Среди моей монотонно-разнообразной жизни — жизни светской женщины — мною внезапно овладел знакомый мне припадок невыразимой скуки. Предметы, события, люди с их разговором и движениями проходили предо мною, совсем не задевая моего внимания, как будто все, что я видела и слышала, происходило не в жизни, а

на знакомой, опротивевшей картине, на которую поневоле смотришь каждый день, с утра до вечера... Испытываете ли вы когда-нибудь это ужасное состояние душевной пустоты и постоянной, почти физической тоски?..

И вдруг несколько дней тому назад я проснулась утром под впечатлением одного из тех радостных, светлых и в то же время незначительных по своему содержанию снов, о которых не сумеешь связно рассказать даже самому близкому, самому чуткому человеку. Вы знаете, во сне живешь какою-то странною жизнью, какими-то неуловимыми и непередаваемыми настроениями... Я видела вас и себя в той же самой беседке, повисшей высоко над морем, где мы так часто бывали пять лет тому назад. Вы наклонялись ко мне близко, близко и говорили что-то такое прекрасное и нежное, что слышишь только во сне. Вот, кажется, и все, что я видела — не правда ли мало! — но, когда я проснулась, меня неудержимо потянуло к вам.

Потянуло изведать опять, во второй раз (как будто бы это возможно!), блаженное безумие первой любви, невероятное счастье, достойное или богов, или животных... О, какую страшную власть имеет над нами прошедшее! Помните ли вы наши дни? наши вечера? Мы тогда ни о чем не думали, кроме нашей любви, ничего не испытывали, кроме радостной близости друг друга. Помните, как мы по целым часам лежали на морском берегу, на горячем желтом песке, под раскаленными лучами солнца? Море трепетало тысячами сверкающих бликов, изумрудные ленивые волны с тихим плеском и нежным шелестом взбегали на плоский берег, почти касаясь наших ног, и, точно нехотя, уходили обратно. Темно-синий горизонт воды сливался вдали с голубым куполом неба; изредка на нем стройно рисовался косой, ослепительно-белый парус медленно скользящей рыбачьей лодки... Мы молчали, потому что сердца наши были переполнены. Одно слово, один жест заменяли нам целые фразы; мы понимали друг друга по тону голоса, по улыбке, по одновременно встретившимся быстрым взглядам, по короткому и глубокому вздоху, вырывавшемуся от избытка счастья сразу из двух грудей.

Помните ли вы наши сумасшедшие экскурсии пешком по лиманам, дачам и виноградникам? нашу страсть к дилижансам? наши прогулки по морю и рыбные тони в яркие лунные ночи? Помните, как иногда, усталые до полусмерти, мы забирались к «доброму, старому, честному колонисту», в прохладу его крошечного дворика, вымощенного большими плитами и обнесенного

низкой каменной стенкой, и там, в густой тени сладко благоухающей акации, жадно накидывались на жареную скумбрию и на мутное, кислое белое вино? А наши внезапные ссоры и очаровательные примирения? наш беспричинный молодой и громкий смех, заставлявший изумленных чопорных дачников широко раскрывать глаза? наши долгие прощания, прежде чем расстаться после целого дня, проведенного вместе? Испытываете ли вы теперь хоть во сне эту радость и полноту жизни, это совершенное погружение, растворение одного существа в другом?

Что за непрочность всего, что нам дорого, — страшно подумать! Ведь все это принадлежит мне, продолжает жить в моей душе, я не избавлюсь от него до самой смерти, и в то же время я никогда — о, какое ужасное слово! — никогда не в силах хоть на мгновенье вызвать его к настоящей жизни, вновь перечувствовать его и переволноваться им. У человека нет настоящего, а есть только ожидание таинственного будущего и тихое горе о невозвратности прошедшего. И не оттого ли, возвращаясь после долгого отсутствия в то место, где мы оставили «частицы бытия» (все равно, пусть даже с этим местом нас ничто не связывает, кроме прошлых неудач и неприятностей), мы испытываем странное и сладкое стеснение сердца, грустное умиление и какую-то нежную жалость к самим себе?

Признаюсь, не с легким сердцем писала я вам приглашение зайти навестить меня в гостинице. Не того я страшилась, что за эти пять лет вы могли жениться, что успели сильно полюбить кого-нибудь, что ответите на мой призыв вежливым и холодным отказом. Нет, я боялась показаться навязчивой и, следовательно, смешной, а вы знаете, что нет ничего на свете, — по крайней мере для нас, женщин, — страшнее этого.

Но вы пришли, и пришли обрадованный, взволнованный. Я узнала еще в коридоре ваши торопливые шаги; я слышала, как перед моим номером вы остановились на несколько секунд, чтобы перевести дыхание; по вашему быстрому и тихому стуку в дверь я догадалась, что у вас дрожит рука...

Вы очень изменились за это время и, надо отдать справедливость, к лучшему. Вы возмужали, стали стройнее и как будто бы выше ростом, к тому же черный сюртук сидит на вас красивее, чем студенческий мундир. Черты лица стали определеннее и тверже, глаза расширились и в них больше блеска, эта остроконечная бородка очень идет к вам. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я верю вам, потому что искренность вашего тона не

допускала подозрений в желании польстить мне. Впрочем, мне об этом говорили и многие посторонние люди.

Сначала у нас разговор все не ладился. Мы предлагали друг другу общие, незначащие, почти пошлые вопросы — по нескольку раз один и тот же — о здоровье, о знакомых, о дороге и пр., стеснялись, делали длинные, неловкие паузы и исподтишка, осторожно, испытующе вглядывались друг в друга, точно стараясь прочесть новые, незнакомые черты, оставленные на наших лицах временем и чуждыми впечатлениями. Один раз вы попробовали взять меня за руку, но сердечное движение вышло каким-то неестественным и неуместным, и вы, кажется, поняли это, потому что сейчас же оставили мою руку.

Но понемногу неловкость прошла, и мы разговорились. Вы рассказали мне о ваших заиятиях и успехах по службе, о ваших новых знакомствах, упомянули вскользь, осторожно и небрежно, но с оттенком неизбежного мужского хвастовства, о каких-то ваших «случайных» и «пустых» увлечениях, которые, по вашим словам, так бледны и ничтожны в сравнении с нашим прошлым... Ах, это прошлое! На каждом шагу мы опять и опять невольно возвращались к нему. «А помните?» — говорил кто-нибудь из нас, и тотчас же перед нами вставала вереница прекрасных и нежных воспоминаний, окрашенных какой-то сладкой, тихой грустью. Напрасно мы старались относиться к ним, к этим воспоминаниям, с добродушной иронией взрослых, перебирающих впечатления своего детства, напрасно вы восклицали полушутя, полугневно: «Оставим же мёртвым погребать своих мертвецов!»... Воспоминания окружили нас, овладели нами, опьянили нас своей раздражающей томной прелестью, и мы оказались не в силах противиться дальше их могучей власти.

Помните, как незаметно угасал летний вечер? Стало темно. Я хотела приказать зажечь лампу, чтобы разрушить это болезненное очарование, но вы остановили меня... И мы долго, долго сидели в мягком сумраке, вызывая в памяти прошедшие события — веселые, наивные, смешные и трогательные. Вы глядели в окно, туда, где над черной зубчатой полосой крыш и труб вечернее небо слабо переливалось в розовых и бирюзовых оттенках. На ваших губах бродила тихая, задумчивая улыбка, ваши глаза блестели, и мне казалось, что я сама вижу тот рой видений, который проходит перед ними.

О, как нам было грустно и как хорошо в эти долгие минуты! Точно мы встретились с вами после многих лет разлуки на мо-

гиле давно умершего когда-то близкого и дорогого нам человека. Острота и горечь потери утихли, слез нет, душа объята тихой, спокойной грустью, и милые невозвратимые тени шепчут нам свой ласковый привет... Кругом весна, торопливая тревога жизни, птичий гомон, веселая, яркая зелень и смеющееся небо, а мы стоим над дорогой могилой, и нет у нас сил оторваться, уйти от того, что под ней покоится...

Вдруг вы быстро встали с места и резким движением отодвинули ваше кресло. И когда вы заговорили, в вашем голосе дрожали нервные слезы:

— Нет, довольно!.. Что же это, в самом деле, мы сидим и растравляем друг друга? Ради бога, пойдемте на воздух, пойдемте к людям.

Мы вышли из гостиницы. Был тот поздний час ясного, тихого вечера, когда городские улицы приобретают такой странный поэтичный колорит, когда огни еще не зажигались и когда здания тонут в мягких, теплых тенях, рисуясь отчетливыми силуэтами на небе. Я уже знала, куда мы поедем: нас обоих тянула к «прежним» местам овладевшая нами неотразимая сила прошлого. Я не ошиблась. Вы взяли ландо и приказали ехать на Малый Фонтан.

Там все по-прежнему: огромная утрамбованная площадка, посыпанная крупным морским песком, множество легких мраморных столиков, яркий, бледно-голубой свет электрических фонарей, о которые бьются тысячи ночных бабочек, эстрада для музыкантов в форме раковины, цветущая акация, бравурные звуки военного оркестра, смешанные с шарканьем ног, хохотом и говором посетителей, — вся эта подмывающая, взвинчивающая нервы атмосфера дорогого летнего ресторана... Так же, как и прежде, у входа в сад сидят цветочницы, и у них в бархатных подушечках натыканы розы, которые вечером, при электрическом свете, кажутся такими красивыми и свежими, как будто они только что сорваны. Когда мы бывали здесь пять лет тому назад, вы каждый раз брали у них для меня или темно-карминную, или чайную розу — вы знали, что я их особенно люблю. Вы, кажется, хотели сделать это и теперь, — по крайней мере мне показалось, что у вас дрогнула рука, когда мы проходили мимо, — но вы не остановились, и я благодарю вас за это. Я бы не имела сил их выбросить, и мне было бы еще тяжелее, чем в настоящую минуту, когда я пишу эти строки. Ведь ничто так не углубляет и не утончает впечатлений прошлого, как напоминающий его запах духов или цветов.

Раньше у нас бывали дни, когда нас вдруг начинало тянуть к людям, являлась потребность смешаться с толпой, затеряться в ней и среди чужих еще сильнее чувствовать себя близкими друг другу. Помните — мы входили под руку, — независимые, гордые своей любовью, сильные и жизнерадостные?.. Со всех столиков нас провожали глазами мужчины и женщины, и в этих глазах, обращенных на нас, я читала зависть к нашему молодому счастью... И эту самую зависть — зависть к нашему тогдашнему счастью — я испытала вчера, когда мы проходили через сад...

Мы сели на том же самом месте, которое так любили когда-то, которое я недавно видела во сне, — на веранде, в самом левом углу, около перил. Я не знаю нигде в мире места красивее этого. Беседка точно повисла над морем на страшной высоте и так дерзко прилепилась к скале, что когда глядишь вниз, то не видишь берега и по временам кажется, будто плаваешь вместе с беседкой в воздухе. Море совсем черное. Только изредка на нем вдруг взмоет и растает белый барашек. Внизу большие черные камни; о них сердито плещутся волны, окружая их буграми белой, движущейся взад и вперед пены. Порою вода набегает на них, и тогда их отшлифованные прибоем бока блестят влажным холодным блеском. Привлеченная музыкой подплывает совсем близко к беседке крошечная лодка. Людей, сидящих в ней, незаметно, но слышны их голоса и звонкий смех, кто-то поет вслед за вальдтейфелевским вальсом красивым, чуть вибрирующим голосом; видно, как слабо надутый парус то подымается, то опускается на волнах, покачиваясь плавно и кокетливо в такт плещущему морю. Акация благоухает так сладко, что хочется пить ее аромат, с моря несется свежий, насыщенный соленой влагой ветерок, от которого вздрагивают ноздри и расширяются легкие. Веселая музыка разносится так звучно и так радостно по морскому простору, что все нервы напрягаются и трепещут от полноты ощущений, глаза блестят, улыбка становится живее, простые слова вдруг приобретают особенный, приподнятый смысл...

Вчера море было так же прекрасно и так же тепел вечер и так же бравурна музыка, но мы... мы с каждой минутой становились грустнее и грустнее, и что-то чужое, неловкое и тяжелое, стоящее между нами, все вырастало и вырастало. Нам не о чем было говорить, потому что прошедшего мы инстинктивно боялись касаться, но молчать было еще ужаснее, и мы через силу придумывали темы для разговора, мы старались шутить и казаться друг другу непринужденными, мы улыбались напряженными,

искусственными улыбками... И все это было так тяжело и натянуто, наполняло мое сердце такой острой жалостью к нам обоим, что, когда подали шампанское и мы с вами чокнулись, я едва удержалась, чтобы не разрыдаться.

Обратно мы поехали по шоссе. Экипаж мягко покачивался на шинах, и мимо нас слева и справа мелькали, точно в феерической картине, сказочные виллы одесских миллионеров: роскошная резьба ворот и решеток, украшенных драконами и гербами, ярко освещенные террасы в глубине садов, увешанных причудливыми китайскими фонарями, пестрые палисадники и цветники, редкие деревья, благоухание экзотических цветов...

Вы тихо без слов обняли меня и притянули к себе. Я не сопротивлялась. Вы поцеловали меня в щеку, потом отыскали мои губы... Но как безжизнен, как мертв был наш поцелуй! Я всем своим телом почувствовала его холод, и вы сами (о, не возражайте, дорогой мой, я знаю это хорошо!), вы сами почувствовали то же, потому что тотчас же мы невольно отодвинулись друг от друга и молчали всю остальную дорогу. И только теперь, когда я пишу это письмо и в тишине ночи вспоминаю и анализирую все прошедшее, я начинаю понимать то, что случилось с нами в этот странный момент и что так мучительно стояло между нами во весь этот странный день. Неужели вы не понимаете того, что мы собирались сделать тайный и смешной подлог под наше прежнее счастье, что мы хотели обокрасть самих же себя, но не теперешних, помятых жизнью и замученных всяческим самоанализом, а тогдашних — беспечных, смелых, страстных, полных жизненной жажды, счастливых, как боги... Те двое и любили, и смеялись, и целовались, и говорили так, как мы не умеем и не можем...

Прощаясь, вы поцеловали мою руку и просили позволения прийти ко мне через день. Я согласилась, но, как видите, не сдержала своего слова и уезжаю от вас почти тайком. Умоляю вас, милый Сергей Алексеевич, не сердитесь на меня. Может быть, завтра я не устояла бы перед внезапным и грубым взрывом страсти, и это было бы ужасно! Между нами вечно бы стоял тот дорогой нам покойник, на могиле которого мы встретились с вами, и он отомстил бы нам за себя, посеяв между нами холодность, недоверие друг к другу, вражду и постоянную ревность к прошлому счастью.

И все-таки — как это ни странно — все, случившееся вчера, скрывает для меня какую-то тайную, неуловимую, дразнящую прелесть, смешанную с поэтической грустью. Случалось ли вам

поздней осенью в хмурое утро выйти в сад? Деревья стоят мокрые и почти голые, на влажных дорожках отпечатываются следы ног, все кругом так грустно, холодно и печально. Но над пустыми цветочными клумбами еще возвышаются яркие астры и георгины, и запах этих цветов — настоящий осенний запах — вторгается в самую душу, наполняя ее печальным и сладким очарованием. Тут и сожаление о промелькнувшем, будто один день, лете, и тоскливое ожидание зимы, и грусть о невозвратности всего, что проходит, и полусознательные, но не страшные, а тихие мысли о смерти... Вот и я теперь, разговаривая с вами, как будто нахожусь под обаянием этих осенних настроений.

Дорогой мой, не сердитесь на меня! Мы с вами больше не увидимся никогда. Не пишите мне. Или, впрочем, нет — напишите, но только в том случае, если вы совсем, понимаете ли, *совсем* поняли меня. Прощайте. Помните, как это сказано у Пушкина: «Цветы последние милей роскошных первенцев полей».

Ваша Вера.

ПРИМЕЧАНИЯ

Произведения, включенные в настоящий том, написаны А. И. Куприным в период с 1896 по 1901 год. Пятилетие это было чрезвычайно плодотворным в творчестве Куприна. В эти годы им были созданы такие значительные, отмеченные печатью крепнущего реалистического мастерства произведения, как «Молох», «Олеся», «Прапорщик армейский». Писатель много ездит в эти годы, меняет профессии, открывает новые для себя места, вводит в свои произведения все новых и новых героев.

Весной 1896 года Куприн приезжает в качестве корреспондента киевских газет в Донецкий бассейн, знакомится там с работой крупных железоделательных и рельсопрокатных заводов. Несколько месяцев работает на одном из них (Рельсопрокатный завод) заведующим учетом кузницы и столярной мастерской. Известно, что середина девяностых годов XIX века в России характеризуется лихорадочным промышленным строительством, безудержным ростом капиталистической хищнической эксплуатации, на которую рабочие отвечают массовыми волнениями, бунтами и стачками. Во время пребывания в Донбассе Куприн внимательно и с сочувствием присматривается к условиям существования рабочих, их труду и нравам, слышит о вспыхивающих то тут, то там рабочих волнениях.

Из поездки Куприн привозит очерки, которые в том же году печатает в «Киевлянине» («Рельсопрокатный завод» — № 147 и «Юзовский завод» — №№ 265, 266). В этих очерках он писал о положении рабочих на крупных предприятиях, о невыносимой эксплуатации, которой они подвергаются. Тогда же зародился у Куприна и замысел большой повести «Молох», — повести, в которой писатель обобщил волновавшие его мысли о влиянии

капитализма на человеческую личность. «Молох» был напечатан в «Русском богатстве». Короленко записал в книге регистрации рукописей: «Молох»... Хорошо. Принято».

В повести писатель впервые обратился к большим общественным вопросам, живо волновавшим его современников. «Молох» — одно из немногих в ту пору произведений, в котором изображалась картина рабочего бунта (хоть и сделано это было по необходимости осторожно). Повесть носит ярко выраженный антикапиталистический, гневно-протестующий характер. Один из критиков писал сразу после опубликования повести: «Она является сильным протестом против пошлых сторон жизни, против общего поклонения золотому тельцу, против всего направления современной цивилизации» («Жизнь и искусство», 1897, № 26, 26 января). Особенно удался писателю сатирический образ капиталиста Квашнина, который вырастает в произведении в символ всесокрушающего на своем пути чудовища-Молоха.

Герой повести — умный, гуманный инженер Бобров — болезненно воспринимает окружающую его действительность, со всей ее ужасающей несправедливостью и социальным злом. Но в то же время этот слабый, напуганный жизнью человек не способен к борьбе и может лишь бессильно проклинать капитализм, доходя при этом до отрицания необходимости промышленного прогресса вообще. Критик А. Скабичевский в статье «Больные герои больной литературы» подчеркивал, что этот образ является характерным для многих произведений того времени. «Куда бы вы ни взглянули в современной нам беллетристике, — писал А. Скабичевский, — писатели самых разнородных школ и направлений, старые и молодые, все подряд рисуют нам один и тот же тип бесхарактерного неврастеника и безвольного психопата, а порою и совсем мономана, как главного героя нашего прекрасного времени» («Литература в жизни и жизнь в литературе (Критические письма)». Письмо седьмое». Журнал «Новое слово», 1897, кн. 4, январь, стр. 167).

В основном критика встретила повесть сочувственно. В большинстве статей отмечалось хорошее знание писателем производства, верные психологические характеристики, жизненность образов.

В статье о «Молохе» критик Ю. Веселовский писал: «В данном случае мы несомненно имеем дело с произведением одновременно интересным и в чисто идейном и художественном, и в бытовом отношении. Дарование автора сказалось на этот раз и в

обрисовке душевных мук, сомнений, угрызений совести, грез о личном счастье и филантропических порывов главного героя, инженера Боброва, и в мастерских описаниях фабричной жизни, видимо изученной им до мелочей. Целый ряд сцен, характеризующих ту обстановку, с которою имеет дело Бобров, — достаточно вспомнить пресловутый пикник на 303-й версте, ночное шествие фабричных или, немного выше, неожиданное обращение к Квашнину с жалобою двухсот женщин, жен, сестер и матерей рабочих, — очевидно, написан с натуры, а обстоятельные описания тех или других частей фабрики, машин, доменных печей и т. д. содействуют выяснению для нас внешнего облика того грозного *Молоха,* который, вместе с разочарованием в любимой девушке, доводит тонко чувствующего нервного Боброва до панического страха, близкого к умопомешательству... «Молох» — содержательная, интересная и наводящая иа много мыслей вещь, которая вместе с «Дознанием» и «В цирке» принадлежит к лучшим произведениям г-на Куприна!» («Вестник знания», 1903, № 8, стр. 140).

Через три года после написания «Молоха» писатель снова возвращается к вопросу о положении рабочих и пишет рассказ «В недрах земли», произведение, в котором невыносимо тяжелые условия труда промышленных рабочих нашли яркое отражение. Несмотря на общий мрачный колорит, рассказ этот по-настоящему оптимистичен — исполнен веры в добрые свойства человеческой души, озарен идеей рабочей солидарности.

В настоящем томе помещены также произведения, посвященные Полесью, куда в 1897 году судьба забрасывает Куприна. Он занимается здесь различными делами: «управляет имением в Ровенском уезде Волынской губернии, занимается разведением махорки и в то же время полюбопытствовал на время стать псаломщиком, увлекаясь церковнославянским языком, красотами библии и кстати изучив довольно досконально всякого рода церковные требы» (Ф. Д. Батюшков, Этюд о Куприне, ИРЛИ). С увлечением отдается писатель охоте, целые дни проводит с местными крестьянами-охотниками среди полесских лесов и болот.

Полесье сыграло в творчестве Куприна весьма плодотворную роль. Жизнь в этих глухих местах сблизила писателя с крестьянской средой, приобщила его к сокровищнице народного творчества и способствовала созданию таких поэтических произведений, как рассказы «Лесная глушь», «Серебряный волк», «На глухарей»

(т. 4) и повесть «Олеся». В «Олесе» звучит столь характерная для Куприна тема большой, чистой, всепоглощающей любви, тема, которую он впоследствии с такой силой раскрыл в «Суламифи» и «Гранатовом браслете» (т. 4).

Значительное место в настоящем томе занимают произведения, посвященные изображению военного быта, — повести «Прапорщик армейский», «На переломе (Кадеты)» и два рассказа «Ночная смена» и «Поход».

В этих произведениях Куприн проявил прекрасное знание армейской жизни, тонкую наблюдательность и верность художественного взгляда. Особо следует выделить рассказ «Ночная смена», целиком посвященный изображению солдатского быта (до этого в центре военных рассказов Куприна стоял обычно образ офицера). В этом рассказе писатель вскрывает психологию солдата-крестьянина, оторванного от привычной трудовой жизни, остро ощущающего всю бессмысленность и тяжесть царской солдатчины. «Что дороже всего... — писал о рассказе критик газеты «Южное обозрение» А. Федоров, — так это вдумчивое, сердечное отношение к изображаемой жизни и несомненная способность проникновения в человеческую душу, которая составляет признак настоящего дарования» («Южное обозрение», 1899, № 723, 10 февраля).

Критик газеты «Одесские новости» ставил в заслугу писателю то, что он приоткрыл читателю малоизвестную ему область жизни. «Мы видим, — писал Павлович, — эту массу (солдатскую. — *И. П.*) лишь на улице, на параде, когда она у нас в «гостях», а у себя «дома» мы ее не видим.

А психология этой массы, ее жизнь очень интересны...» («Одесские новости», 1899, № 4542, 15 февраля).

Демократизм, так ярко проявившийся в рассказе «Ночная смена», свойствен и повести «Прапорщик армейский». Все симпатии автора отданы его простым и незаметным героям — офицеру Лапшину и ротному Василию Акинфиевичу, по сравнению с которыми «благородные» владельцы поместья выглядят бессердечными и сухими людьми.

Интересно отметить, что в рассказе Куприна «Ночлег» (т. 1) было место, в котором заключалось как бы «ядро» будущей повести «Прапорщик армейский». Герой рассказа поручик Авилов во время утомительного похода предается мечтам о романе с дочерью богатого помещика-аристократа, в мечтах Авилова роман с «княжной Зэт» заканчивается благословением папаши-поме-

щика и законным браком. Пошловатые мечты Авилова резко отличны от того художественного решения темы, к которому пришел писатель-реалист, когда писал повесть «Прапорщик армейский».

Повесть «На переломе (Кадеты)» занимает особое место среди произведений писателя, посвященных изображению жизни армии. Она как бы предваряет «Поединок». Именно из таких закрытых военных учебных заведений выходили те самые армейские бурбоны, — с их некультурностью, грубостью, кастовым высокомерием и оторванностью от жизни народа, — которых писатель изобразил потом в «Поединке» (т. 3).

При первой публикации в газете в 1900 году эта повесть Куприна прошла почти не замеченной критикой. Когда же она была опубликована вторично в 1906 году в «Ниве», то вызвала резкие критические отзывы военной прессы. Критик военно-литературного журнала «Разведчик» Росс в фельетоне «Прогулки по садам российской словесности» писал: «Возьмите картину лучшего художника, лишите ее всех светлых тонов — и вы получите произведение во вкусе беллетристов новейшей формации, — беллетристов «левых», берущихся за изображение военной жизни в разных ее проявлениях. Это приходится по вкусу читателям известного рода, но куда же отходит художественная правда? Увы, ей нет места; она заменяется тенденцией. В наше время тенденция эта такова, что все военное должно быть обругано, если и не прямо, то хоть иносказательно... По Куприну, кадетский корпус недалеко ушел от блаженной памяти бурсы, а кадеты — от бурсаков...

И ведь что удивительно! Талант автора — несомненен. Рисуемые им картины — жизненны и правдивы. Но... Зачем же говорить только о дурном, исключительно о гадостях, подчеркивая и выделяя их!»

Критик-бурбон рассматривал повесть А. Куприна как революционную пропаганду, утверждая, что в ней «видна рука «товарищей» и их присных...» («Разведчик», 1907, № 874, 24 июля).

Раздраженный тон реакционной критики был вызван тем, что вторичное опубликование повести в 1906 году после поражения царской армии в русско-японской войне с новой силой напоминало о положении в армии.

Многие рассказы тома посвящены сочувственному изображению жизни простых людей — «Детский сад», «Чудесный доктор», «Лесная глушь», «Тапер», «По заказу» и другие. В этих рассказах отразились впечатления писателя, полученные им во время

поездок по родной стране, от встреч с людьми самых разнообразных профессий и социального положения.

С конца девяностых и начала девятисотых годов имя малоизвестного литератора Куприна становится все более популярным. «Молох», «Олеся», «Прапорщик армейский», «На переломе (Кадеты)» и другие произведения, написанные писателем в эти годы, делают его имя известным широкому читателю. Начиная с этого времени Куприн уверенно входит в большую литературу.

МОЛОХ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1896, № 12, с подзаголовком «Повесть» и посвящением — В. Д. К — вой. В сильно измененной редакции повесть была опубликована в сборнике «Рассказы», изд. «Знание», 1903. В этом же году повесть вышла в Ростове-на-Дону в изд. т-ва «Донская речь». В этом издании она заканчивалась словами: «Действительно, вид у Боброва был ужасный...» Последующая сцена — разговор доктора с Бобровым, впрыскивание морфия и т. д. — отсутствовала. Подготавливая повесть для Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн снова стилистически правил ее.

Работая над повестью, Куприн широко использовал свои очерки, напечатанные в «Киевлянине», включая в повествование целые куски из них, например, описание панорамы завода в пятой главе (из очерка «Юзовский завод»).

В процессе работы над повестью Куприн вносил значительные изменения в свой первоначальный замысел. По сохранившимся письмам писателя к Н. К. Михайловскому видно, что последнюю главу повести Куприн вначале написал значительно более остро и резко. Но затем, очевидно, по настоянию Михайловского, переделал ее. Куприн писал Михайловскому: «У меня есть черновая «Молоха», и я по ней могу переделать 11-ю главу (так что рукопись может остаться в редакции). Если же вы находите, что надо переделать кое-что и в середине, тогда будьте добры — пришлите рукопись. Но, я думаю, это не необходимо. Я сделаю так (об этом я и раньше думал): слова десятника, кончающие 10-ю главу, — о бунте, вспыхнувшем на заводе, — я оставлю. Затем, предоставив Боброва своим размышлениям, я поведу его к паровым котлам. Здесь «Молох» у него отождествляется с Квашниным... Заключительные строки я оставлю те же, что и раньше,

только доктор, который произносит слово «Молох», будет совершенно здоров. О бунте ни слова... Он будет только чувствоваться. Хорошо ли это?.. Я не знаю: может быть, Вы находите взрыв котла (умышленный) мелодраматическим эффектом? Но мне рассказывали о совершенно аналогичном случае» (ИРЛИ). И затем, посылая переделанную главу, Куприн снова пишет Михайловскому: «Посылаю Вам 11-ю главу «Молоха». Я ее сильно переделал согласно Вашим указаниям. Теперь покорно и убедительно прошу Вас: если что-нибудь введет Вас в смущение в цензурном или ином отношении, пройдитесь по ней Вашим пером. Кроме того, во всяком случае интересно было бы узнать Ваше окончательное мнение. В одном признаюсь: болезненной психологии я все-таки не смог избежать. Может быть, этот несчастный жанр неразлучен со мною?» (ИРЛИ).

Судя по этим отрывочным данным, Куприн предполагал закончить повесть описанием рабочего бунта и взрывом паровых котлов, который должен был по замыслу писателя осуществить Бобров. По настоянию Михайловского, из боязни цензурных репрессий Куприн изъял из повести эти острые места, что несколько усилило пессимистический тон произведения. Интересно, что критик журнала «Мир божий» А. Богданович в своей статье о Куприне, напечатанной в 1903 году, отметил, что в конце повести чувствуется несамостоятельность автора: «Из десяти небольших рассказов, составляющих сборник, — писал Богданович о сборнике рассказов Куприна, — трудно сказать, который лучше. Исключение составляет самый большой из них — «Молох»... Несмотря на отдельные превосходные места, например, описание общей картины завода, в рассказе, скорее повести, чувствуется какая-то связанность, словно художник работает под чуждым влиянием» («Мир божий», 1903, № 4, апрель, А. Б., «Критические заметки», отдел второй, стр. 7).

После напечатания повести в журнале Куприн продолжал работать над нею. Подготавливая текст для сборника «Рассказы» (1903), он усилил в девятой главе резкую характеристику Квашнина, введя абзац, в котором Квашнин говорит Шелковникову, что рабочим можно обещать все что угодно и обещаниями потушить любую «бурную народную сцену» (стр. 64). Снял слова Боброва, с которыми он обращается сначала к котлам, затем к воображаемому Квашнину: «Ага. Вот мы посмотрим сейчас, вот посмотрим, рыжее, прожорливое чудовище!.. Побольше огня, немного холодной воды, и вместо ненасытного чрева —

тысячи осколков... А! Ты ехал сегодня в своей колеснице, а вокруг теснились твои жалкие рабы... А! Ты любишь почет. К тебе подходят не иначе, как ползком... Тебе стоит только шевельнуть пальцем, и матери приносят на твой грязный престол своих невинных дочерей... Молох, Молох!.. Но вот сейчас мы посмотрим!» («Русское богатство», 1896, № 12, стр. 167). По-видимому, писатель удалил этот отрывок потому, что он был связан с прежними планами окончания повести (взрыв котлов). Но, удалив этот кусок повести, Куприн вставил небольшой отрывок с описанием бунта, отсутствующий в тексте «Русского богатства», от слов: «Красное зарево пожара» и до слов: «сжатой на узком пространстве человеческой массы» (стр. 82).

В первой редакции отсутствовали заключающие седьмую главу слова доктора Гольдберга: «Подождите, доиграются они!..»

В восьмой главе в тексте «Русского богатства» был небольшой отрывок, посвященный матери Боброва: «Ласка и нежность с детства обходили Боброва. Отца он не помнил. Мать его была суровая и раздражительная женщина, почти помешанная на странствующих монашенках. Пять лет тому назад ею совершенно овладело религиозное помешательство (вообще в ее роду сумасшествие было явлением наследственным)...»

В 1912 году, готовя повесть для первого тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн, кроме мелких стилистических поправок, ввел в одиннадцатую главу слова кучера Митрофана: «Барин! Подожгли!», подчеркнув этим, что пожар возник не случайно.

Стр. 20. *«Мы будем с тобой молчали-ивы...»* — из романса П. И. Чайковского «Молчание» на слова Морица Гартмана (1821—1872), в переводе А. Н. Плещеева (1825—1893).

Стр. 21. *«И эта глупая луна на этом глупом небосклоне»* — неточная цитата из третьей главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Стр. 22. *«Свежо предание, а верится с трудом...»* — слова Чацкого из II действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

«Средь шумного бала, случайно...» — романс П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого (1817—1875).

Стр. 29. *...в истории Иловайского...* — *Иловайский* Дмитрий Иванович (1832—1920) — реакционный историк, автор учебников всеобщей и русской истории.

Стр. 30. *Молох и Дагон.* — *Молох* — бог солнца в древней Финикии; существовал обычай приносить в жертву Молоху детей. *Дагон* — божество плодородия у филистимлян.

Стр. 73. *«Выпьем, что ли, Ваня, с холода да с горя?»* — из романса А. А. Алябьева (1787—1851) «Кабак» на слова Н. П. Огарева (1813—1877).

ЧАРЫ

Впервые — в газете «Жизнь и искусство», 1897, приложение № 3 (дата ценз. разреш. — 14 февраля), за подписью: А. Поспелов.

С незначительной правкой вошел в восьмой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

ПЕРВЕНЕЦ

Впервые — в газете «Жизнь и искусство», 1897, приложение № 5 (дата ценз. разреш. — 6 марта), за подписью: А. К. С незначительными стилистическими изменениями вошел в восьмой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

В рассказе отражена история опубликования первого произведения Куприна «Последний дебют» в 1889 году в «Русском сатирическом листке». В образе Ивана Лиодоровича Венкова Куприн вывел реально существовавшее лицо — русского поэта-демократа Лиодора Ивановича Пальмина (1841—1891), автора известной революционной песни «Не плачьте над трупами павших борцов», который действительно помог юному Куприну опубликовать первое его произведение.

Критик А. Измайлов в заметке «А. И. Куприн», опубликованной к 25-летнему юбилею литературной деятельности Куприна в газете «Русское слово» (1914, № 278, 3(16) декабря), писал, вспоминая литературный дебют писателя в связи с его рассказом «Первенец»: «В этот декабрьский день двадцать пять лет назад было положено начало тому литературному событию, которое теперь означают словом — Куприн. Кто же мог тогда видеть, что это событие, и как винить того ротного командира, который на глазах юного юнкера разорвал по всей длине номер «Сатирического листка» с первым его «произведением» и, сажая юношу в карцер, пригрозил ему: «Смотрите, чтобы впредь не было подобных глупостей!..»...

В «Первенце» все это записано Куприным именно так, как было. Но надо слышать, как рассказывает это он сам, поддаваясь ласковому воспоминанию о прекраснейшем дне своей жизни, хоть и законченном в карцере.

Так «нарушением порядка» началось поприще Куприна и в этих тонах пошло дальше».

При жизни писателя «Последний дебют» не перепечатывался. Текст его см. в Приложении.

ВИКТОРИЯ

Впервые — под названием «Нарцисс» в газете «Жизнь и искусство», 1897, приложение № 6 (дата ценз. разреш. — 24 марта). С некоторыми стилистическими изменениями рассказ вошел в восьмой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс. В 1913 году под новым названием «Виктория», но в той же редакции был напечатан в первом выпуске «Летучих альманахов».

Стр. 100. *Сервантес говорит: «Толстый — следовательно добрый человек»* — из второй главы «Дон-Кихота».

Стр. 106. *Пентефрия* — по библейскому преданию, жена египетского царедворца, пытавшаяся соблазнить целомудренного Иосифа Прекрасного.

ПРАПОРЩИК АРМЕЙСКИЙ

Впервые — под названием «Кэт» в газете «Жизнь и искусство», 1897, № 113, 25 апреля, № 116, 28 апреля, № 121, 3 мая, № 123, 5 мая, № 126, 8 мая, № 127, 9 мая, № 128, 10 мая. С небольшими изменениями под названием «Барышня» повесть была напечатана в 1906 году в журнале «Север» (№№ 1—7). В новой редакции под названием «Прапорщик армейский» вошла в 1908 году в четвертый том собрания сочинений Куприна, изд. «Московского книгоиздательства», а затем в 1912 году с небольшими стилистическими поправками в четвертый том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

В газетном и журнальном тексте действие повести происходило в графском имении, Обольянинов всюду именовался графом.

В 1908 году, редактируя повесть, Куприн снял следующее место в характеристике ротного Василия Акинфиевича (после слов «на службе я его не терплю»): «Тут он проявляет прямо дореформенную грубость и неумолимый, фанатичный педантизм. Я помню, как он крикнул, когда однажды во время ротного учения я сбился с ноги: «Черт знает, что за безобразие! Вся рота никуда не годится! Вся рота не в ногу идет! Один только поручик и идет в ногу!» В этом же издании было исключено из текста повести место, где говорилось о том, что Василий Акинфиевич не любит природу: «В этом отношении о нем в полку ходит интересный рассказ. Однажды в весеннюю прекрасную ночь Василий Акинфиевич сидел у открытого окна и писал ротную отчетность. За окном благоухала сирень и белая акация и на темном небе горели звезды... Но вот где-то очень близко в кустах начинает петь соловей... Капитан нетерпеливо морщится. Соловей поет все громче и страстнее. Тогда капитан не выдерживает и кричит денщику: «Сидоренко, пойди в сад и прогони камнем эту птицу. Она мне мешает заниматься». Даже денщик окаменел от изумления перед таким вандализмом Василия Акинфиевича». Исправления были вызваны, по-видимому, тем, что Куприн счел нужным использовать эти характеристики в повести «Поединок» для портрета капитана Сливы (т. 3).

В более поздней редакции был изменен и конец повести. В первоначальном тексте после слов «первым движением его было» шли слова: «закрыть руками написанное. Однако я так настойчиво потребовала дневник, что Ланшин (в газетном тексте герой именовался Ланшиным. — *И. П.*) должен был покориться, не дописав даже фразы до конца.

Дневник его несколько интереснее, чем он сам. Я не возвращу ему этих листков, хотя и обещала это сделать. Иногда ведь маленький обман спасает от больших неприятностей. Когда ты будешь в Петербурге (ах, как я по нем соскучилась), мы прочтем с тобою вместе дневник «моего офицера». Только ты не предавай уничтожению моих писем. Вместе с дневником они составят смешное целое.

До свиданья, Лидочка. Тоскую по тебе страшно и целую тебя несчетное число раз.

Твоя шалунья Кэт».

В позднюю редакцию повести была введена песенка «Юный прапорщик армейский», которая и дала новое название произведению.

Стр. 107. *...и Эмин ...и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского.* — *Эмин* Федор Александрович (ок. 1735—1770) — русский писатель и журналист, автор романов «Письма Эрнеста и Доравры», «Непостоянная фортуна, или Приключения Мирамонда» и др.; *«Оракул Соломона»* — гадательная книга, изданная в 1774 г. в Петербурге; *письмовник Курганова* — своеобразная энциклопедия XVIII в., составитель ее, Курганов Н. Г. (1726—1796), ввел в свой труд сведения по грамматике, свод русских пословиц, переводные повести, шутки, загадки, стихи, словарь иностранных слов и т. п.; *«Иван Выжигин»* — роман реакционного писателя Ф. В. Булгарина (1789—1859); *Марлинский* А. А. (Бестужев) (1797—1837) — писатель-декабрист, автор широко популярных в 30-х годах XIX в. романтических повестей: «Лейтенант Белозор», «Аммалат Бек» и др.

Стр. 111. *Балагула* — экипаж *(евр.)*.

Стр. 114. *...похож на того Фальстафа.* — *Фальстаф* — персонаж из пьес Шекспира «Король Генрих IV» и «Виндзорские кумушки» — плут и обжора.

Стр. 119. *Герман Гоппе.* — *Гоппе* Г. Д. (1836—1885) — издатель журнала «Моды и новости», в котором печатались правила хорошего тона.

Стр. 123. *...кажется, что в «Разведчике»...* — *«Разведчик»* — военно-литературный еженедельный журнал, выходил в конце XIX в. в Петербурге.

Стр. 128. *...как говорит Прево...* — *Прево* д'Экзиль Антуан Франсуа (1697—1763) — французский писатель, автор повести «История кавалера де Грие и Манон Леско».

Стр. 142. *...картина во вкусе Шпильгагена.* — *Шпильгаген* Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, произведения которого отличались сентиментальностью.

Стр. 143. *«Счастье, призрак ли счастья?.. Не все ли равно?»* — из стихотворения С. Я. Надсона (1862—1887) «Счастье, призрак ли счастья, — не все ли равно...»

БАРБОС И ЖУЛЬКА

Впервые — в газете «Жизнь и искусство», 1897, приложение № 9 (ценз. разреш. — 17 мая).

ДЕТСКИЙ САД

Впервые — в газете «Волынь», 1897, № 147, 24 августа, за подписью: А. К.

ALLEZ!

Впервые — в газете «Волынь», 1897, № 173, 28 сентября. В том же году был напечатан в сборнике «Миниатюры».

Первая редакция рассказа подверглась значительной переработке в 1902 году, когда Куприн готовил его для сборника «Рассказы», изд. «Знание». В архиве А. М. Горького хранится несколько страниц рассказа из сборника «Миниатюры» с нанесенной на них большой авторской правкой. Куприн предполагал дать рассказу другое название. Вместо «Allez!» он написал «Мишура», затем «Мишура» тоже была зачеркнута, перечеркнуты и два других предполагавшихся названия: «В цирке» и «Гимнастка». Рассказ был послан в «Знание» под названием «Акробатка». 23 ноября 1902 года Куприн писал Пятницкому: «...заглавие никак не могу придумать. Остановился на заголовке «Акробатка...» (Архив Горького). Однако рассказ в сборник по каким-то причинам не вошел и выправленный текст опубликован не был. Больше Куприн к нему не возвращался, так как он, очевидно, остался у Пятницкого. В 1905 году рассказ был напечатан в «Нижегородском сборнике», изд. «Знание», в первой редакции, под названием «Вперед!..» (причем в тексте слово «Allez!» тоже было всюду заменено словом «Вперед!»). В третьем томе рассказов, изд. «Мир божий», 1906, рассказ был напечатан под первоначальным названием с небольшими сокращениями. Этот текст вошел и в Полное собрание сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Известно высказывание Л. Н. Толстого о рассказе.

29 декабря 1906 года П. А. Сергеенко записал: «Вечером вышел Лев Николаевич к чаю оживленный и заговорил о Куприне, которого прочитал почти всю книжку. Был доволен Куприным.

— Особенно хороши два маленьких рассказа: «Allez!» и «Поздний гость»... «Allez!» — прелестный рассказ. Хотите послушать?

Сухотин начал читать и прочел очень хорошо. Лев Николаевич все время восхищался и делал сочувственные реплики: «Гм!», после чтения сказал:

— Как все у него сжато. И прекрасно. И как он не забывает, что и мостовая блестела и все подробности. А главное, как это

наглядно сдернута вся фальшивая позолота цивилизации и ложного христианства.

Я обратил внимание на особую затруднительность выдержать правдивость, подгоняя эпизоды под «allez».

— Да, да, интересно было бы знать, какое первое «allez» дало ему тему.

Одно только «allez» показалось ему искусственным — когда Минота ведет девушку в кабинет.

— Тут можно сказать «entrez» (войдите. — *И. П.*) или что-нибудь другое.

Мы с Сухотиным сказали, что тут «allez» у Миноты наиболее характерно, как циническая шутка.

Лев Николаевич согласился и опять с нежностью и теплотой заговорил о Куприне:

— Кланяйтесь ему от меня и скажите, чтобы он, ради бога, не слушался критиков. У него настоящий, прекрасный, настоящий талант. Удержался бы только на должном месте» («Литературное наследство», № 37—38, стр. 563).

БРЕГЕТ

Впервые — в газете «Волынь», 1897, № 178, 5 октября. С небольшими стилистическими изменениями рассказ вошел в шестой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Стр. 169. *«Северная пчела»* — петербургская газета реакционного направления, издавалась с 1825 по 1864 г.

Стр. 170—171. *...с самим Денисом был на ты, а с Бурцовым пил и дебоширил...* — *Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — герой Отечественной войны 1812 г., поэт и военный писатель. *Бурцов* А. П. (ум. в 1813 г.) — друг и однополчанин Дениса Давыдова, был известен как гуляка и дебошир. Давыдов посвятил ему стихи.

Стр. 172. *Где гусары прежних лет?*
Где гусары удалые? — неточная цитата из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара».

ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ

Впервые — в газете «Жизнь и искусство», 1897, № 298, 28 октября, и № 299, 29 октября, за подписью: А. К

ПУТАНИЦА

Впервые — под названием «Недоразумение» в газете «Жизнь и искусство», 1897, № 356, 25 декабря, за подписью: А. К—рин.

В 1900 году Куприн на эту же тему написал новый рассказ «Ошибка». Опубликованный в этом году в газете «Одесские новости» (№ 5155, 13 декабря), рассказ более нигде не перепечатывался (текст см. в Приложении). В 1907 году Куприн снова вернулся к рассказу «Недоразумение» и напечатал его с исправлениями и под новым названием «Путаница» в газете «Речь», № 304, 25 декабря. В этой же редакции с небольшими стилистическими изменениями рассказ вошел в шестой том собрания сочинений «Московского книгоиздательства».

Подготавливая «Путаницу» к опубликованию в рождественском номере «Речи», Куприн изменил мотивировку отъезда героя рассказа с завода. В первоначальной редакции техник Пчеловодов объяснял свой отъезд тем, что «отпросился на неделю в отпуск, чтобы провести рождественские праздники и встретить Новый год в городе, в кругу близких родственников». Изменены были также и слова доктора, с которыми он обращался к студентам.

В 1895 году Куприн посетил киевскую лечебницу для душевнобольных. Об этом посещении он рассказал в большом очерке «Киевский Бедлам», опубликованном в газете «Киевское слово» (1895, № 2799 и № 2802). Возможно, что именно во время этого посещения писатель услышал рассказ о происшествии, который впоследствии лег в основу «Путаницы» и «Ошибки».

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

Впервые — в газете «Киевское слово», 1897, № 3578, 25 декабря, с подзаголовком «Истинное происшествие», за подписью: А. К. С незначительными стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник Куприна «Детские рассказы» («Освобождение», 1908).

Стр. 207. *«По рецепту профессора Пирогова».* — *Пирогов* Н. И. — см. т. 1, стр. 577.

ОДИНОЧЕСТВО

Впервые — в газете «Жизнь и искусство», 1898, № 30, 30 января, и № 31, 31 января, с подзаголовком «Эскиз», за подписью:

А. К. В измененной редакции под названием «На реке» рассказ был опубликован в 1901 году в «Журнале для всех», № 8. В той же редакции, но под старым названием рассказ вошел в сборник «Рассказов» Куприна, изданный книгоиздательством «Знание» в 1903 году, а затем и в первый том собрания сочинений «Московского книгоиздательства». В 1910 году рассказ был перепечатан в журнале «Нива золотая» (№ 7, 1 апреля) в отделе «Избранные сочинения писателей, одобренные графом Л. Н. Толстым», со сноской: «Граф говорит: «Вот кого я считаю самым талантливым из молодых, это — Куприна. Прекрасная школа, полный объэктизм (так в тексте. — *И. П.*), очень хороши его картины казарменной жизни, а маленькие рассказы доставляли мне большое удовольствие. Мы их вслух читали».

Подготавливая в 1901 году рассказ к опубликованию в «Журнале для всех», писатель подверг его стилистической правке. Многие иностранные слова заменены русскими («балюстрада» — «перила», «комфортабельная обстановка» — «барская обстановка» и т. п.). Слова Покромцева о флирте в имении Широковых в газетном тексте звучали так: «Флиртовали... Я тебе скажу, такой флирт у нас процветал, что просто ужас. Старый князь флиртовал с француженкой, кажется, специально для него и выписанной, княгиня с землемером, молодые князья со всеми окрестными поповнами». Более натуралистичным был в газетном тексте и рассказ Покромцева о княжне Бэтси (так именовали княжну в первой редакции рассказа). Исключен был также большой отрывок после слов «тянуло его рассказывать дальше», в котором повествовалось об интимных отношениях Покромцева с княжной.

В газетном и журнальном тексте была сноска, объясняющая выражение «под табак» (стр. 213): «Термин «под табак» обозначает, что глубина превосходит длину рейки. Восклицание это осталось от бурлацкого обихода: у них оно означало, что вода доходит до подмышек, куда прятался кисет с табаком».

Критикой рассказ «Одиночество» был встречен сдержанно. В рецензии, помещенной в журнале «Вестник знания» (1903, № 8), критик Ю. Веселовский упрекал Куприна за несколько искусственную ситуацию: Покромцевы проезжают как раз против того имения, где протекал «довольно пошлый» роман мужа. Но в то же время критик признавал, что «душевное состояние молодой женщины после разговора с мужем передано в рассказе весьма недурно».

Стр. 219. *«Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными Эос...»* — из «Одиссеи», эпической поэмы Гомера, в переводе В. А. Жуковского.

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

Впервые — в «Русском богатстве», 1898, № 9, под названием «В лесной глуши», с подзаголовком «I. Досвиток». Под названием «Лесная глушь», без подзаголовка и с небольшими стилистическими изменениями рассказ вошел в сборник «Рассказы» (1903).

Подзаголовок в журнальном тексте указывает на то, что Куприн предполагал, очевидно, опубликовать в «Русском богатстве» серию полесских рассказов. По всей вероятности, вторым произведением этого цикла должна была быть повесть «Олеся». В недатированном письме Куприна к А. И. Иванчину-Писареву, секретарю редакции «Русского богатства», содержится вопрос о том, пойдет ли «Олеся» в журнале (ИРЛИ). Однако повесть по каким-то причинам была отвергнута «Русским богатством», и рассказ «В лесной глуши» явился единственным произведением этого цикла, опубликованным в журнале.

Подготавливая в 1903 году рассказ для своего сборника в книгоиздательстве «Знание», Куприн внес в него небольшие изменения. «Фантастический фон» изменил на «страшный и грозный фон», «страшное, гипнотическое очарование» на «непонятное, тихое очарование» и т. п. После слов: «Свирьга и Талимон сильно привязаны друг к другу» — был снят следующий абзац: «По крайней мере, когда однажды прошлой зимой Свирьга сбежала со двора и пропадала где-то три дня, Талимон, всегда спокойный и тихий в своем доме, наделал на этот раз целую бурю и за время отсутствия Свирьги даже исхудал...» Характеристика крестьян: «Вообще крестьяне всем новым «байкам» предпочитают старинные, давно им привычные, уже осиленные и усвоенные их тугим, коротким воображением», стала в новой редакции характеристикой сотского. В тексте «Русского богатства» к имени Талимон была дана сноска: «Его настоящее имя Пантелеймон, но Полесье весьма своеобразно коверкает все христианские имена: изменяя в них *о* на *у*, отбрасывая начальные слоги и т. п. Так, Софрон у полещуков — Софрун, Матвей — Мацько, Ермолай — Ярмоло и т. д.».

Кроме того, в журнальном тексте, в специальных сносках, давался перевод местных слов: «Пыка — лицо, в том же смысле,

как на севере говорят «рожа» или «морда» (см. стр. 223), «суша — засуха» (см. стр. 229), «ривчак — ручеек» (см. стр. 229), «став — пруд» (см. стр. 229), «трапляется — случается» (см. стр. 233), «окоче — когда» (см. стр. 234), «завше — всегда» (см. стр. 234), «хустка — платок» (см. стр. 234), «шворный — проворный» (см. стр. 235), «опушний — последний» (см. стр. 235), «каже — говорит» (см. стр. 235), «жменями — горстями» (см. стр. 236), «жартовал — шутил» (см. стр. 237), «частуют — угощают» (см. стр. 237), «затрусился — задрожал» (см. стр. 237), «злякался — испугался» (см. стр. 237), «шлях — большая дорога» (см. стр. 238), «захолол — похолодел» (см. стр. 238), «мара — тень, привидение» (см. стр. 238), «ледве — едва» (см. стр. 239), «спидница — юбка», «камизелька — кофта» (см. стр. 242), «за комир — за шиворот» (см. стр. 243), «секира — топор» (см. стр. 248).

«Лесная глушь» Куприна, по словам критика Ю. Веселовского, кажется «...отдаленным и значительно ослабленным отголоском тургеневских «Записок охотника» («Вестник знания», 1903, № 8).

Стр. 221. *...был под Плевной... — Плевен* — город в Болгарии. Во время русско-турецкой войны (1877—1878) был превращен турками в укрепленную крепость, под которой происходили ожесточенные бои союзных войск (русских, болгарских и румынских) против турецких. Осенью 1877 г. Плевен был освобожден от турецкого владычества.

Стр. 229. *...и бузько, и кныга, и шуляк, и крук...* — и аист, и чайка, и коршун, и ворон *(укр.)*.

Стр. 231. *Мишурес* — посредник, человек для поручений *(евр.)*.

ОЛЕСЯ

Впервые — в газете «Киевлянин», 1898, № 300, 30 октября, № 301, 31 октября, № 304, 3 ноября, № 305, 4 ноября, № 306, 5 ноября, № 307, 6 ноября, № 308, 7 ноября, № 312, 11 ноября, № 313, 12 ноября, № 314, 13 ноября, № 315, 14 ноября, № 318, 17 ноября, под названием «Олеся», с подзаголовком «Из воспоминаний о Волыни». В 1905 году повесть вышла в исправленной редакции отдельным изданием в «Библиотеке русских и иностранных писателей», вып. 18 и 19, СПб., изд. т-ва М. О. Вольф. С не-

большими стилистическими исправлениями вошла в пятый том собрания сочинений «Московского книгоиздательства».

Подготавливая повесть для отдельного издания 1905 года, Куприн снял вступление, которым начинался газетный текст:

«Целыми днями мы бродили по болотам, то увязая по пояс в тине, то перепрыгивая с кочки на кочки, то пробираясь сквозь густую чащу аира и лозняка. «Господа, да идемте же домой, — говорил время от времени кто-нибудь из нас. — Ведь нельзя же, ей-богу, до ночи в болоте торчать». Мы соглашались уже с этим голосом благоразумия, но тут, как назло, чья-нибудь собака нападала на след бекаса, или подымался невдалеке целый утиный выводок... И опять нами овладевал неугасаемый охотничий пыл.

В усадьбу мы возвращались обыкновенно после солнечного заката, едва держась на ногах от усталости, той хорошей, веселой усталости, которую дает только целый день, проведенный на охоте, нагулянный аппетит и ощущение полного ягдташа, оттягивающего плечо. Часто нас довозил до дому попутный мазур, возвращавшийся порожняком со своей пашни. Собаки наши еле тянулись за волами, свесив набок длинные розовые языки и останавливаясь около каждой лужи, чтобы торопливо лакнуть несколько капель грязной воды.

Зато какое наслаждение было, надев сухое белье и заменив болотные сапоги теплыми мягкими валенками, сидеть после обеда в ярко освещенной столовой перед рюмкой домашней наливки, крепкой и густой, как самый лучший ликер. Какую прелесть получали тогда все мелочные события этого дня! Их повторяли бесконечно, и все-таки каждый раз они вызывали снова: и веселый смех, и удивление, и досаду... у одного ружье затянуло: щелкнул сначала только пистон, а потом вдруг — бах! — и весь заряд полетел в небо... Другой великолепнейшим дуплетом убил пару уток. Третий... впрочем, кому же из охотников не знакомы эти волнующие, всегда немного неправдоподобные воспоминания?..

В один из таких вечеров наш милейший хозяин Иван Тимофеевич Порошин, лежа, по-своему обыкновению, на широком турецком диване, рассказал нам несколько довольно любопытных местных преданий. Польщенный нашим вниманием, он в конце концов признался, что у него самого «произошел в жизни не совсем обыкновенный эпизод, в котором главную роль играла настоящая полесская колдунья».

— Боюсь я, что вы меня, старика, на смех поднимете, — добродушно прибавил Иван Тимофеевич, — а то бы я вам прочи-

тал эту историю. Если уж говорить откровенно, то ведь и я когда-то пописывал... Вот и этот случай записал... Вышло что-то вроде маленькой повестушки, так, страничек в пятьдесят... Думал я сначала обработать ее, да так, как-то она завалялась. Только вот что, господа... (он поглядел на нас поверх очков с доброю, нерешительной улыбкой). Я должен раньше сказать маленькое и довольно щекотливого свойства предисловие. Дело в том, что я вовсе не хочу поступать подобно тому автору, который, затащив приятеля послушать «маленький рассказец» и угостив его предварительно стаканом жидкого чая, устраивает ему самую коварную ловушку. Он припирает злополучного приятеля, для большей верности, в угол тяжелым письменным столом и затем без отдыха, без пощады, залпом прочитывает ему «рассказец» этак... в пятнадцать печатных листов... Поэтому, господа, убедительно прошу, если кого из вас устрашает перспектива полуторачасового чтения, то идите без стеснений в мой кабинет. Вам туда принесут ваши стаканы. И, уверяю вас, я ни капельки на это не обижусь: у меня никогда не было жилки авторского самолюбия.

Но никто после этого предисловия не тронулся с места; наоборот, все мы единодушно заинтересовались «повестушкой».

Иван Тимофеевич долго рылся в письменном столе и, наконец, вытащил тоненькую тетрадку, в обыкновенную четвертушку форматом, с пожелтевшими страницами и выцветшими чернилами.

Вот что он прочел».

Отбросив это вступление, Куприн как бы приблизил повесть к современности (как следовало из вступления, Иван Тимофеевич был уже стар, и эпизод с Олесей отодвигался тем самым в далекое прошлое). В остальном же текст отдельного издания «Олеси» полностью соответствовал газетному тексту повести.

В 1908 году при подготовке повести для собрания сочинений в «Московском книгоиздательстве» Куприн снял подстрочные примечания, объясняющие местные слова: «грубка — печка» (см. стр. 249), «веселье — свадьба» (см. стр. 255), «вышницы — ворота при въезде в деревню» (см. стр. 256). «Закрутки — по народному суеверию, для того чтобы причинить кому-нибудь зло, надо только сделать у него в хлебе закрутку, то есть известным образом закрутить несколько колосьев» (см. стр. 256). «Зоря, зирька — звезда» (см. стр. 314).

Многие иностранные слова были заменены русскими («сизифова работа» — «тяжкая работа», «мистическая тоска» — «разъедающая тоска», «решительный ресурс» — «решительное средство»

и т. п.). По сравнению с первоначальной редакцией в повести появляются небольшие добавления и уточнения. Так, после слов «порывались целовать у меня руки» появилась фраза: « — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества». К словам: «да она чужая была, из кацапок» — прибавлено: «чи из цыганов».

Повесть первоначально предназначалась Куприным для «Русского богатства» (см. прим. к рассказу «Лесная глушь») и, очевидно, должна была явиться вторым произведением «полесского цикла». Однако «Олеся» была отвергнута «Русским богатством». Можно предположить, что журнал отверг «Олесю» потому, что редакция не была согласна с тем, что Куприн изображал крестьянскую массу озлобленной (самосуд перебродских крестьян над Олесей и т. п.), что противоречило народническому направлению журнала.

Стр. 280. *...отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера.* — *Шарко* Жан Мартен (1825—1893) — выдающийся французский врач-невропатолог; одно время работал главным врачом женской больницы Сальпетриер.

...голова Медузы, — работа уж не помню какого художника. — Картина художника П. А. Сведомского (1845—1904) «Медуза».

Стр. 293. *«...это — язва здешних мест»* — из басни И. А. Крылова (1769—1844) «Кот и повар».

Стр. 304. *Оберон и Титания* — персонажи из оперы «Оберон» немецкого композитора Карла Вебера (1786—1826).

Стр. 307. *Феральное число* — роковое число.

НОЧНАЯ СМЕНА

●

Впервые — в журнале «Мир божий», 1899, № 2, с подзаголовком «Очерк». В несколько измененном виде вошел в сборник «Рассказов» Куприна, изданных книгоиздательством «Знание» в 1903 году.

В статье Ю. Жукова «На западе после войны» (журнал «Октябрь», 1947, № 10) приводится запись воспоминаний И. А. Бунина о Куприне. Бунин, в частности, рассказал Ю. Жукову об обстоятельствах, при которых был создан рассказ «Ночная смена»: «В Одессе, когда он (Куприн. — *И. П.*) только начинал писать и уже заметили его — неплохие вещи были напечатаны, — встречаюсь с ним как-то и замечаю: ходит в рваных туфлях. Зову его

проехаться в город — не идет, говорит, ботинок нет. «Как же так, говорю, батенька?! Ведь вы уже в «Русском богатстве» напечатались, гонорары имеете, неужто ботинок не на что купить?» — «Не на что, говорит, поизрасходовался». — «А ну, давайте-ка, говорю я, сочиним сейчас рассказ, продадим его, и ботинки будут!» — «Нет, говорит, не получится у меня ничего». — «А ну, давайте вместе начнем сочинять, может быть что-то выйдет». Сели, поговорили, зажегся он одной идейкой, пишет. Читаю — совсем неплохо... «Ночная смена» назывался рассказ. Может быть, помните? Ну вот, вот... «Эге, говорю, это рассказ настоящий, его не стоит в Одессе продавать, пошлем в Петербург. Извольте-ка еще сочинять!»

Готовя рассказ для своего сборника в издательстве «Знание», Куприн внес в него некоторые изменения: выражение «мистический ужас» исправил на «темный ужас», «чарующий колорит родной земли» — «чарующий аромат» и т. п.

Кроме того, во фразе: «Со всех сторон раздается одобрительная ругань патриотического характера» — были сняты слова «патриотического характера». Был снят также абзац после слов «серых однообразных ворохов»: «Обойдя вокруг казармы, Меркулов опять подходит к часам и смотрит на них. Теперь обе стрелки совпали вместе. Меркулов пробует сообразить, сколько раз ему надо обойти все нары, чтобы большая стрелка сделала полный оборот. Но вычисление выходит слишком сложным и превосходит математические познания Меркулова».

Рассказ печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, «Суламифь», Париж, 1921, для которого Куприн снова правил его.

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

Впервые — в газете «Приазовский край» (Ростов-на-Дону), 1899, № 309, 25 ноября, под названием «В недрах земных» с посвящением А. Я. К—вой. В несколько измененном виде, без посвящения, под названием «В недрах земли» рассказ вошел в сборник А. Куприна «Детские рассказы» (изд. «Освобождение», 1908). Для Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн снова правил рассказ.

В тексте «Детских рассказов» после описания шахтерской лампочки была вставлена фраза: начиная со слов «Это делается для безопасности» и до «на шахтах погибали сотни человек».

В газетном тексте о сверстниках Леньки говорилось, что они «играют на деньги в карты и хвастаются скверными болезнями»; в «Детских рассказах» эта фраза исправлена на: «играют на деньги в карты и хвастаются этим», а готовя рассказ для седьмого тома Полного собрания сочинений, Куприн снова возвращается к этой фразе и опять правит ее, на этот раз уже окончательно.

Кроме того, в газетном тексте была дана сноска к слову «лава» — «лавой называется очень низкий ход между двумя параллельными галереями, из которых одна расположена выше другой» (стр. 365). В сборнике «Детские рассказы» эти сноски были сняты. В 1921 году, включая рассказ в сборник «Рассказы для детей» (Париж, 1921), Куприн снова стилистически выправил его.

А. И. Куприн хорошо знал жизнь и труд шахтеров. В бытность свою в Донбассе (в 1896 году) писатель сам спускался в каменноугольные шахты. Впечатления, вынесенные отсюда, дали Куприну материал для большого очерка «В главной шахте», который был опубликован в 1899 году в газете «Киевское слово» (№ 3991, 18 февраля, и № 3995, 22 февраля).

Рассказ печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, «Рассказы для детей», Париж, 1921.

СЧАСТЛИВАЯ КАРТА

Впервые — в газете «Киевское слово», 1899, № 4294, 21 декабря, за подписью: А. Послелов. В несколько измененной редакции рассказ был в 1911 году опубликован в «Синем журнале» (№ 28, 1 июля). Авторская правка рассказа заключалась главным образом в уточнении и изменении карточных терминов. В характеристике Сергея Ивановича были прибавлены слова: «этот впоследствии министр с почти неограниченной властью».

ПОГИБШАЯ СИЛА

Впервые — в газете «Донская речь» (Ростов-на-Дону), 1900, № 41, 13 февраля, и № 42, 14 февраля. С незначительными стилистическими изменениями вошел в седьмой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс. Картина Ильина в газетном тексте называлась «Воскрешение дочери Иаира», а в более поздней редакции — «Праздник у Степана Разина».

Стр. 387. *«Как дошла ты до жизни такой?»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная».

Этого сочинителя, что сказал, будто гений может озарять голову безумца, гуляки праздного... — Имеются в виду слова Сальери из драмы А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери»:

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

НА ПЕРЕЛОМЕ (КАДЕТЫ)

Впервые — в газете «Жизнь и искусство», 1900, № 55, 24 февраля, № 56, 25 февраля, № 62, 2 марта, № 63, 3 марта, № 64, 4 марта, № 67, 7 марта, № 68, 8 марта, № 70, 10 марта, № 71, 11 марта и № 74, 14 марта под названием «На первых порах», с подзаголовком «Очерки военно-гимназического быта». Под названием «Кадеты» с незначительными изменениями повесть была опубликована в 1906 году в журнале «Нива» (№ 49, 9 декабря, № 50, 16 декабря, № 51, 23 декабря, № 52, 30 декабря). В расширенной редакции под названием «На переломе (Кадеты)» вошла в пятый том собрания сочинений Куприна в изд. «Московского книгоиздательства».

В газете и в «Ниве» повесть была напечатана со следующими примечаниями автора: «Вся гимназия делилась на три возраста: младший — I, II классы, средний — III, IV, V, и старший — VI—VII»; «Курило» — так назывался воспитанник, уже умеющий при курении затягиваться и держащий при себе собственный табак». В тексте «Жизни и искусства» в повести было шесть глав; заканчивалась VI глава словами: «Говорят, что в теперешних корпусах нравы смягчились, но смягчились в ущерб хотя и дикому, но все-таки товарищескому духу. Насколько это хорошо или дурно — господь ведает». В «Ниве» VI глава заканчивалась по-другому: «Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная родственная связь. Так это или не так — это покажет будущее. Настоящее ничего не показало».

Подготавливая повесть для пятого тома собрания сочинений «Московского книгоиздательства», Куприн ввел в III главу отрывок, посвященный настоятелю гимназической церкви отцу Ми-

хаилу; в конце V главы появляется описание «силачей» (в прежней редакции о силачах говорилось только: «Впрочем, о них в своем месте и подробнее»). Кроме того, была дописана новая, VII глава.

Повесть автобиографична. Об этом говорил и сам писатель в своей беседе с сотрудником «Комсомольской правды» в 1937 году: «В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести — Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...» («Москва родная», «Комсомольская правда», 1937, № 235, 11 октября).

Характеристику нравов, царивших во втором Московском кадетском корпусе во время пребывания в нем Куприна, мы находим в воспоминаниях Л. А. Лимонтова об А. Н. Скрябине (будущий композитор учился в корпусе одновременно с Куприным). «Я был тогда, — пишет Л. Лимонтов, — таким же «закалой», грубым и диким, как и все мои товарищи кадеты. Сила и ловкость были нашим идеалом. Первый силач в роте, в классе, в отделении — пользовался всевозможными привилегиями: первая прибавка «второго» за обедом, лишнее «третье», даже стакан молока, назначенный врачом «слабосильному» кадету, нередко передавался первому силачу. Про нашего первого силача, Гришу Калмыкова, другой наш товарищ, А. И. Куприн, будущий писатель, а в ту пору невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик, сочинил:

Наш Калмыков, в науках скромный,
Был атлетически сложен,
Как удивительный — огромный
И сногсшибательный Парфен [1].
Он глуп, как Жданов первой роты,
Силен и ловок, как Танти [2].
Везде во всем имеет льготы
И всюду может он пройти».

(Сборник «Александр Николаевич Скрябин. К 25-летию со дня смерти». М. — Л. 1940, стр. 24.)

---

[1] Повар-квасник в нашем корпусе. Очень большой и сильный мужчина. *(Прим. Л. Лимонтова.)*

[2] Клоун в цирке Соломонского. *(Прим. Л. Лимонтова.)*

Стр. 422. *...будущим Скобелевым...* — *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882) — видный русский военный деятель, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Стр. 432. *...томами Брема...* — *Брем* Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог и путешественник, автор труда «Жизнь животных».

Стр. 450. *...путешествия со Стенли.* — *Стенли* Генри Мортон (1841—1904) — известный путешественник, исследователь Центральной Африки.

...во время блокады Парижа. — Имеется в виду осада Парижа прусскими войсками осенью 1870 г., во время франко-прусской войны.

Стр. 451. *...друг Гамбетта...* — *Гамбетта* Леон Мишель (1838—1882) — французский буржуазный политический деятель.

Стр. 460. *...время столкновения гуманного милютинского штатского начала с суровым солдатским режимом.* — *Милютин* Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — русский военный и государственный деятель. По инициативе Милютина были созданы военные гимназии и военные училища, в которых преподавали штатские педагоги, в частности такие прогрессивные русские учителя, как Ушинский, Стоюнин, Острогорский. В 1882 г., с наступлением реакции, на смену «гуманному милютинскому штатскому началу», как пишет Куприн, приходят снова военные корпуса николаевского типа. Общеобразовательные предметы, которым уделялось много внимания в военных гимназиях, сокращаются, вводится суровый солдатский режим.

ТАПЕР

Впервые — в газете «Одесские новости», 1900, № 5167, 25 декабря.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

Впервые — в газете «Одесские новости», 1901, № 5195, 26 января, под названием «Больничный цветок», с подзаголовком «Из женских писем». В незначительно измененной редакции под названием «Сентиментальный роман» и без подзаголовка рассказ был опубликован в журнале «Родная нива», 1905, № 15, 9 апреля.

В газетном тексте рассказу был предпослан эпиграф:

И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
А. С. Пушкин.

Подготавливая рассказ в 1905 году для журнала «Родная нива», Куприн снял эпиграф, заменил в тексте рассказа некоторые слова («стал моим «credo» — «стал мне теперь особенно понятен»; «истинные «gourmés» — «истинные лакомки»; «модный флирт» — «модное ухаживание»), а также несколько изменил конец рассказа. В газетном тексте рассказ заканчивался так: «Голова так тихо и приятно круж...»

Письмо это было найдено доктором К. на письменном столе одной скоропостижно умершей пациентки. На приготовленном конверте не было адреса».

Стр. 482. *...из «Песни песней» царя Соломона...* — Памятник библейской литературы, приписывается царю Иудеи Соломону (X в. до н. э.).

Стр. 486. *«Отметки резкие ногтей...»* — неточная цитата из VII главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК

Впервые — в газете «Одесские новости», 1901, № 5230, 4 марта, под названием «Обсротень (Полесская легенда)». Почти без изменений рассказ вошел в восьмой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс. В 1931 году под названием «Серебряный волк», с подзаголовком «Рождественский рассказ» был опубликован в газете «Возрождение», Париж, № 2045, 7 января. В настоящем томе публикуется текст «Возрождения», который был значительно выправлен автором: изменено название станции (в первой редакции она именовалась Березной), по-иному написано вступление к рассказу возчика; в тексте Полного собрания сочинений рассказ начинался так: «И он рассказал мне одну из странных полесских легенд, которые так свежи, фантастичны и наивны, что кажется, будто их создал не бедный, загнанный, молчаливый и суеверный народ, а сумрак векового бора, с его непролазными трущобами, куда не ступала даже звериная лапа, с его ядовитыми туманами, висящими над ржавыми болотами, с его бездонными трясинами. Мне никогда не забыть тех сильных, жутких ощущений, которые я испытывал,

слушая этот рассказ, в то время как сани бесшумно скользили по мягкому снегу, а наверху в узком мутном просвете стремительно неслись прозрачные обрывки облаков, а лес точно замер и прислушивался, не шевелясь, к далекому заунывному пению волка. В эту ночь я также был склонен верить в злых духов и в оборотней, как и Трофим, говоривший с непоколебимой верой и с благоговейным почтением к преданиям отцов...» Снята фраза после слов «поднявши острые морды кверху»: «И видно сразу, что белый над ними самый главный, потому что как только он к какому-нибудь волку подойдет, так тот сейчас на спину опрокинется и хвостом замашет». В первой редакции рассказа был другой конец: «А второй был купец, и ехал он на ярмарку с товаром за своим барышом... Толстый был купец, жирный, откормленный, как добрый кабан... — И захохотал Стецько во все горло так, что даже в лесу отозвалось, а зубы у него на месяце так и засверкали.

Всмотрелся Омельчук в лицо оборотня, — а ночь светлая такая была, — всмотрелся и видит, что у Стецька на усах и вокруг рта красная кровь запеклась. Загорелось у старика сердце. Размахнулся он изо всей силы палкой, — хвать! — а перед ним уже нет Стецька и только в лесу кто-то хохочет, заливается.

Так и пропал Стецько без вести; никто не видал его с тех пор, и никто не слыхал о нем. Бегает он, одержимый страшною силой, по лесным чащам и трубит волком, наводя ужас на добрых людей...»

Мы подъезжаем к селу. Занесенное снегом, без огней в окошках, оно казалось холодным и мертвым в бледном полусвете февральской ночи. Потянулись плетни, залаяли собаки... На душе у меня было тревожно и тоскливо».

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Впервые — в газете «Одесские новости», 1901, № 5239, 13 марта, под названием «Астры», с подзаголовком «Из женских писем». В незначительно измененной редакции под названием «Осенние цветы» рассказ был опубликован в журнале «Родная нива», 1906, № 1, и в журнале «Жизнь», 1907, № 4. В «Родной ниве», очевидно по небрежности редакции, были перепутаны абзацы в начале рассказа. В таком искаженном виде рассказ был перепечатан и «Жизнью». В 1908 году в исправленной редакции рассказ вошел в четвертый том собрания сочинений «Московского книгоиздательства».

К теме этого рассказа Куприн обращался дважды. В 1899 году он опубликовал в газете «Киевлянин» (№ 248, 8 сентября) рассказ под тем же названием: «Осенние цветы (Из женских писем)». Текст см. в Приложении.

Стр. 500. *...говорит у Шекспира Меркуцио.* — *Меркуцио* — персонаж из драмы Шекспира «Ромео и Джульетта».

Стр. 506. *...мелодии вальдтейфелевского вальса.* — *Вальдтейфель* Эмиль (1837—1915) — французский композитор.

Стр. 508. *«Цветы осенние милей...»* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Цветы последние милей».

ПО ЗАКАЗУ

Впервые — в газете «Одесские новости», 1901, № 5257, 1 апреля, под названием «Таинственный незнакомец». Рассказ был ошибочно подписан: С. Куприн. Почти без изменений, но под другим названием «По заказу» вошел в восьмой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Стр. 509. *...с бюстом сурового Шопенгауэра.* — *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

...под псевдонимом «графа Альмавивы». — *Граф Альмавива* — персонаж из комедии Бомарше (1732—1799) «Свадьба Фигаро».

Стр. 520. *...изречение Сакья-Муни.* — *Сакья-Муни* — одно из имен Будды, мифического основателя буддийского религиозного учения.

ПОХОД

Впервые — в «Журнале для всех», 1901, № 7, под названием «В походе». С незначительными стилистическими изменениями под названием «Поход» вошел в 1903 г. в сборник рассказов Куприна в книгоиздательстве «Знание».

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Иванович Куприн
Собр. соч., т. 2

Редактор *М. Сергиевская*
Худож. редактор *И. Жихарев*
Техн. редактор *М. Позднякова*
Корректоры *В. Брагина* и *Л. Коншина*

Подписано к печати с матриц 23/XII 1957 г. Бумага 84 × 108 1/32 — 18,5 печ. л. = 30,3 усл. печ. л. 28,5 уч.-изд. л. Тираж 550 000 (150 001—550 000) экз. Заказ № 1136. Цена 12 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.